

МАРГЕРИТ ЮРСЕНАР

Северные
архивы



Дарья
Хомич

«Северные архивы» — вторая часть трилогии известной французской писательницы Маргерит Юрсенар (1903—1987) под общим названием «Лабиринт мира». В этот семейный триптих входят еще книга «На молитвенную память» (1974) и «Что? Вечность...» (1988), в названии которой автор вспоминает строку из любимого поэта А. Рембо. М. Юрсенар, первой женщине, взошедшей под купол Французской академии, достаточно взять в руки деревянную ложку, как ее творческая мысль тут же восходит к тому дереву, от которого она произошла. Ей довольно письма, написанного прадедом, фотографии отца или матери, чтобы по характеру почерка, по рисунку бровей или носа узнать черты, жизнь далеких предков. Так современная женщина проникает в тайны веков и возрождает для нас во плоти само Время.





Marguerite Yourcenar

de l'Académie française

Archives du Mord

© Éditions Gallimard, 1977

Маргерит Юрсенар

Северные архивы

Перевод с французского
Светланы Ломидзе



Москва
Издательская группа «Прогресс»
«Литера»
1992

ББК 84.4 Фр
Ю64

Автор предисловия и комментариев *С. Ю. Завадовская*
Художник *В. А. Пузанков*
Редактор *Е. К. Солоухина*

Это издание осуществлено
при участии Министерства иностранных дел Франции
и Французского посольства в Москве

Юрсенар М.

Северные архивы: Пер. с фр. Светланы Ломидзе / Авт. предисл. и коммент. С. Ю. Завадовская. — М.: Изд. группа «Прогресс» — «Литера», 1992. — 432 с.

«Северные архивы»(1977) — вторая часть мемуарной трилогии известной французской писательницы Маргерит Юрсенар(1903—1987), классика французской литературы, перу которой принадлежит ряд произведений, получивших мировое признание.

Мемуары вводят читателя в сокровенный мир человеческой души. В центре повествования — личность самой писательницы, которая делает попытку приоткрыть завесу тайны над многими вечными загадками человеческого бытия.

Рекомендуется широкому кругу читателей.

Ю $\frac{4703010400-174}{006(01)-92}$ КБ—35—86—92

ББК 84.4 Фр.

ISBN 5-01-003659-2

© Предисловие, комментарии, перевод на русский язык и художественное оформление издательская группа «Прогресс», 1992.

ГЛЯДЯ НА МИР ОТКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ

Творческому методу Маргерит Юрсенар присущ постоянный ход мысли: стоит ей взять в руки, к примеру, деревянную ложку, как сразу в ее воображении возникает дерево, из которого она была сделана. Когда же ей попадается старая пожелтевшая фотография, тем более если она знает, что на ней изображен кто-то из близких или далеких родных, всевозможных рассуждений о связях прошлого с настоящим, о прочности и непрочности семейных уз рождается столько и они так причудливо вытекают одно из другого, что по самым непредвиденным ходам уводят ее в «лабиринт мира». Образ лабиринта накладывается на образ генеалогического древа, это одна и та же сеть бесконечных хитросплетений.

«Лабиринт мира» постепенно разросся и вылился в целую трилогию. В нее вошли книги: «На молитвенную память» (1974), «Северные архивы» (1977) и опубликованная посмертно последняя часть «Что? Вечность...» (1988), которая так и осталась незаконченной. Писательнице было около

шестидесяти лет, когда она решилась, по ее словам, «заглянуть вглубь».

В беседе с журналистом Матьё Галле она рассуждала по этому поводу: «Меня удивляет бедность «генеалогического» воображения людей. Вы мне скажете, что у большинства нет материалов... обычно генеалогию возводят по линии «от сына к отцу», да и то, если есть чем гордиться. У меня другая задача. Миллионам бессловесных существ, таящихся в нас (подумать только: у нас двое родителей, четверо дедов и бабок, восемь прадедов и прабабок, шестнадцать прапрародителей, тридцать два прапродителя в четвертом поколении!), всей этой безымянной толпе, из которой вышли мы сами, надо дать слово. Бессловесные человеческие молекулы, живущие в нас, начиная от сотворения земли, должны заговорить».

В этих предках, с ее точки зрения, следует различать, с одной стороны, то, что составляет «общий знаменатель», что дает эпоха, воспитание, а с другой — «внутреннюю динамику рода», способность к противостоянию общим веяниям, к прорыву в неизведанное, то, что на плодотворной почве ряда поколений может взрастить незаурядную личность.

Настоящее имя Маргерит Юрсенар — Маргерит де Креанкур. Псевдоним, которым она решила воспользоваться для опубликования своего первого литературного труда, составлен в виде анаграммы, перестановки букв фамилии ее отца. Она родилась 8 июня 1903 года в Брюсселе. Мать ее,

Фернанда Картье де Маршьенн, — бельгийка, отец — француз. Ее отцу Мишелю де Креанкуру было около пятидесяти лет, когда у него родилась дочь от второго брака. К несчастью, Фернанда умирает десять дней спустя от последствий родов, и Маргерит вырастает без матери. Она открывает для себя мир постепенно и так же постепенно отдает себе отчет в том, что ее отец, этот элегантный и прекрасно воспитанный аристократ, который позволяет ей читать уже в возрасте тринадцати лет Романа Роллана, Гюисманса, Д'Аннунцио, Толстого, чем немало возмущает родственный клан, — прежде всего страстный игрок и неисправимый любитель прекрасного пола. С отцом они живут зимой в Париже, летом в Бельгии, в Вестенде, на берегу моря, где у него имеется вилла, купленная на деньги, оставшиеся от продажи родового поместья Мон-Нуар. Финансовые проблемы вечно преследуют его, но он не унывает.

События первой мировой войны застают их летом 1914 года в Вестенде. Мишель де Креанкур едет с дочерью в Англию; этот год незабываем для Маргерит. Дружба между ней и отцом становится все более тесной. Он водит ее по музеям, открывает мир античного искусства, преподает ей английский язык и латынь, они вместе читают тексты классиков. В 1915 году, вернувшись в Париж, Маргерит начинает заниматься древнегреческим с преподавателем и итальянским языком самостоятельно.

Однако финансовое положение отца на грани краха. В ноябре 1917 года они вынуждены посе-

литься на юге Франции: сначала в Ментоне, потом в Монте-Карло, куда отца неумолимо влечет близость знаменитой рулетки.

Маргерит шестнадцать лет. Она уже свободно читает Вергилия и Гомера в оригинале, увлекается Достоевским и Толстым, знает наизусть чуть ли не всего Шекспира. В виде первой пробы пера она пишет драму в стихах «Икар», изданную впоследствии под названием «Сад Химер». В ее стихах еще много литературных штампов, что неизбежно. «Ребенок слишком много читал», — вспоминает она.

В 1922 году, получив гонорар за кое-какие публикации, Маргерит Юрсенар совершает свое первое путешествие по Италии. Венеция, Милан, Верона производят на нее неизгладимое впечатление. Исторические события врываются внезапно в ход идиллического процесса ее погружения в разнообразные пласты культурного прошлого Италии. Она становится свидетельницей первых проявлений фашизма, знаменитого «похода на Рим» под предводительством Бенито Муссолини. По свежим следам она пишет новеллу, которую много лет спустя, доведя фабулу и стиль до совершенства, издаст под несколько таинственным названием «Динарий сновидения» (1959). Желание переписать эту новеллу заново писательница объясняла тем, что в первом варианте протест против всего увиденного был выражен несколько формально. «Я тогда еще не осознавала всей глубины отвращения, которое вызывал у меня фашизм». Подобного рода «переписи» станут нередкими на ее творческом пути. На протяжении всей жизни возвраща-

ясь к написанному, тщательно шлифуя язык и стиль, добиваясь внутренней когезии и исключительной гармонии текста, Юрсенар сумела из набросков и замыслов, сделанных в двадцатилетнем возрасте, создать удивительно цельное творчество, придать ему завершенность и монолитность, свойственные классическим образцам искусства прошлого, оставаясь при этом человеком вполне современным, глубоко переживающим все трагедии своего века.

Только одна новелла получает сразу лапидарную форму и в переиздании остается почти без изменений. Это «Алекси, или Трактат о напрасной борьбе», который выходит в свет в 1929 году, в год смерти Мишеля де Креанкура, принося некоторую известность молодой писательнице в парижских литературных кругах. Отец успевает прочитать его и дать высокую оценку литературному дарованию дочери. Влияние Андре Жида единодушно признается всеми критиками. Однако оно не столь существенно, как им кажется поначалу. Вскоре творчество Маргерит Юрсенар окончательно приобретает свойственную только ей одной неповторимую интонацию доверительной беседы с читателем. Впервые этот «голос» проявляется в полной мере и слышится на протяжении всей книги мемуаров императора Адриана, которые она начинает писать в том же 1929 году. Спокойный, плавный рассказ о событиях прошлого. Речь императора так проста и прозрачна, что картины его жизни возникают перед нашим внутренним взором сами собой, а когда он размышляет над бренно-

стью жизни, глядя в звездное небо, образ говорящего исчезает совсем, и мы сами шепчем в смущении и страхе, желая хоть как-то выразить чувство священного трепета каждого человека перед великой тайной мироздания. «Я жалею тех, кто не испытал хоть раз в жизни священный трепет перед лицом великого Неведомого и великого Сокрытого, что окружает нас».

Тридцатые годы проходят под знаком Греции. Благодаря знакомству с Константином Димарасом, французом греческого происхождения, М. Юрсенар открывает для себя творчество поэта Константина Кавафиса (1863—1933), которого переводит вместе с ним на французский язык стихами в прозе. Она много путешествует, прежде всего по Греции. Плавает по Дунаю, знакомится с Австрией, Балканами. «Восточные новеллы» (1938) — отголосок этих странствий, а также живое отражение все возрастающего круга ее интересов. Увлечение Японией и Китаем начинается именно в это время. Параллельно идет изучение скандинавской литературы, более глубокое знакомство с русскими писателями, любовь к которым привил ей отец. Как и путешествия, чтение является для нее трудом и творчеством: оно дает пищу ее размышлениям, стимулирует воображение. «Фантазия рождает фантазию», — пишет она в эссе о Пиранези. В произведениях, написанных в довоенное время на темы античности, особенно в стиле ее ранних драматургических произведений, заметно влияние Жана Жироду. В античности она видит «пол-

день человечества», эпоху гармонии человека с окружающей его природой. Последующие эпохи, и тем более современная, представляются ей как «полночь», мир тьмы. Она видит признаки анархии повсюду. В области религии это прежде всего потеря чувства священного трепета. Вседозволенность, трансгрессия великих законов природы и общества.

Постепенно М. Юрсенар знакомится с литературными кругами Парижа. Критик Эдмон Жалу, возглавлявший «Нувель литерер», охотно предоставляет ей страницы своего журнала. В его редакции она встречается с Полем Мораном и некоторыми другими писателями.

Что касается современных ей католических писателей и поэтов, таких, как Пеги или Клодель, то они ей глубоко чужды. В их религиозности слишком много агрессивного. Ей ближе космизм Гюго. Вспоминая слова Будды, Юрсенар сравнивает жизнь с огнем костра: «Мир в огне, о братья мои! Огонь невежества, огонь ненависти, огонь зависти, огонь мести...» А огонь любви? Да, его пламя живительно, но этот костер гаснет быстрее других или пожирает вас целиком слишком уж беспощадно.

«Костры» (1936), сборник лирических стихов, как нельзя лучше отражает эти размышления, — отголосок страстного чувства, испытанного ею в молодости, которое чуть не спалило нарождающийся в ней талант. Недаром впоследствии два архетипа человеческих ипостасей будут неразрывно следовать один за другим на страницах ее произ-

ведений — это *эрос* и *танатос*, чувственная любовь и неизменно сопутствующее ей влечение к смерти. А с годами *эросу* Юрсенар противопоставит христианское *агапэ*, любовь-симпатию.

Агапэ играет существенную роль в процессе ее творчества. Воображение питается симпатией; если нет симпатии, то «воображение не работает», считает она. И еще она сожалеет о том, что в современном мире совершенно исчез один вид любви, который существовал в библейские времена и в виде редкого исключения встречался вплоть до конца XIX века. Это любовь жертвенная. Испытывая ее, эту высшую форму любви, человек отдает всего себя без остатка, ничего не требуя взамен.

Может быть, такого рода редкое чувство питала к ней американка Грейс Фрик, которая сыграла немаловажную роль в судьбе писательницы. Познакомившись в 1937 году, они вместе совершают большое путешествие в США (1937—1938); затем, перед самой войной, в 1939 году, Юрсенар опять уезжает в США и не возвращается в Европу в течение двенадцати лет. Наступает самый мрачный период в жизни писательницы. Европа объята пламенем войны, она во власти «коллективного безумия человечества». Чтобы заработать на жизнь, Юрсенар приходится преподавать в американском колледже французский и итальянский языки; денег не хватает, и остальное время она работает классной надзирательницей. Тяжелее всего то, что некогда писать. Да и кому в Америке нужны творения, написанные на французском языке, да еще на темы, мало интересующие американцев? На по-

мощь приходит жертвенная Грейс Фрик. В конце сороковых годов они вместе находят свой «остров» и становятся «робинзонками». Это остров Маунт-Дезерт на северо-востоке от берегов США. Здесь они покупают себе старый деревянный дом с множеством небольших комнат, где уютно размещаются книги и предметы, связанные с прошлым или путешествиями. В летнее время и до поздней осени, которая в этих краях удивительно красивая и теплая («бабье лето» называется в Америке «индейским летом»), Маргерит Юрсенар может сидеть и писать в саду, охотно прерывая работу, чтобы побеседовать с соседями, проводить взглядом стаю перелетных птиц, полюбоваться красотой заката. Свою виллу они назвали «Петит плезанс», что в переводе означает «маленькое удовольствие». В этом доме они проживут до самой старости, до смерти, которая для Грейс Фрик наступит после отчаянной почти двадцатилетней борьбы с раковой болезнью.

В 1947 году Маргерит получает американское гражданство под фамилией Юрсенар. В это же время, в конце сороковых годов, происходит одно событие, внешне неприметное, но повлекшее за собой цепь непредвиденных последствий. Она наконец получает из Франции старый сундук, который долго плыл по морям и волнам в трюме трансатлантического теплохода. Открыв его, она сначала даже не может понять, кому именно адресовано письмо, начинающееся словами «Мой дорогой Марк». Письмо же было адресовано Марку Аврелию, и пожелтевшие листки были не чем

иным, как началом рукописи ее книги об императоре Адриане. Это было так давно, в прошлой жизни, что писательница даже не узнала собственный почерк. Тем не менее она с огромным интересом вчитывается в эти строки. В них император Адриан дает наставления молодому Марку Аврелию. Ей кажется, что она слышит его голос. Желание дописать книгу возвращается к ней. «Воспоминания Адриана» выходят в свет в 1951 году в Париже. Успех книги превосходит все ожидания.

Отныне Маргерит Юрсенар, продолжая жизнь островитянки, не изолирована более от мира: весь мир приезжает к ней. Да и она сама возобновляет свои путешествия. В уже упоминаемом эссе о Пиранези, вспоминая рисунки его воображаемых темниц, писательница не раз сравнивает свою тягу к путешествиям с любопытством узника, который хочет осмотреть до мельчайших подробностей место своего заключения, с тем чтобы попытаться силой воображения раздвинуть эти стены до пределов мироздания.

Она работает над следующим романом, «Философский камень», который выйдет в 1968 году. Для его написания ей необходимо совершить путешествия в Норвегию, Исландию, Финляндию. Кстати, после Финляндии она ненадолго заезжает в Ленинград, чтобы посмотреть шедевры Эрмитажа (1962 г.). В этих путешествиях ее прежде всего интересуют страницы прошлого каждой страны.

Однако ни в одном из своих так называемых «исторических» романов она не занимается, подо-

бно Вальтеру Скотту, романтической реконструкцией прошлого. К прошлому, как и к настоящему, у нее критический подход. Прошлое интересует ее постольку, поскольку в нем мы можем познать самих себя и отчасти предугадать свое будущее. Воображение должно быть основано на документе, картине, факте, но при этом стать проекцией нашего подсознания; в опасной ситуации оно поможет нам найти тот выход, который уже неоднократно находили до нас в подобных ситуациях предшествующие нам поколения. Вновь Маргерит Юрсенар обращается к тем историческим эпохам, в которых происходит крушение старых форм, а новые еще не зародились, или, во всяком случае, слишком слабы, чтобы устояться.

Годы правления императора Адриана — это время, когда язычество еще не совсем распалось, а христианство еще не полностью завоевало мир. Но император Адриан — предтеча нового человека. Он острее, чем другие, ощущает гибель античных богов, конец эволюции мифов. Он одним из первых понимает, что они теперь служат другим целям — передаче эмоций, то есть стали предметом эстетического восприятия мира. Он украшает свою виллу мраморными изваяниями, на которые смотрит уже как наш современник. Как ни странно, у Маргерит Юрсенар есть много общего с Андре Мальро в области теории эстетического восприятия мира. Им обоим близка идея «воображаемого музея». Многие персонажи М. Юрсенар взяты прямо или косвенно из того «музея», который несет в себе человек культуры. Она, так же

как и Мальро, выдвигает гипотезу о «метаморфозе богов», то есть предполагает, что с гибелью чувства священного боги превращаются в определенные эмоциональные образы, которые помогают человеческому сознанию бороться с силами иррационального в мире.

Карл Густав Юнг и его концепция коллективного подсознания близки М. Юрсенар. Ведь коллективное подсознание есть не что иное, как наследование возможности образного восприятия окружающей действительности, и не в индивидуальной, а в общечеловеческой форме. Отсюда вся мифология может быть представлена как проекция коллективного подсознания. Образы, будучи типическими для всех, образуют архетипы.

Время Зенона Лигра, главного действующего лица романа «Философский камень», нелегкое: эпоха распада, «трансмутации материи». Мрачное средневековье довлеет над личностью. Идеи гуманизма, которые он олицетворяет, слишком преждевременны. В этом трагедия Зенона.

Во время своих путешествий, размышляя над судьбами и культурами различных народов, Маргерит Юрсенар различает два типа коллективного народного мышления: народы-мифотворцы и народы вероисповедальные. К последним принадлежат те многочисленные северные народы (фламандцы, валлоны, бельгийцы), к которым относится она сама. Так, например, у мифотворцев, в отличие от вероисповедальных народов, особенно в античности, нет строгого противопоставления полов. Оно пришло в эпоху христианства вместе с идеей гре-

ховности всякого нарушения оппозиции полов. Так андрогины появляются на страницах книг Юрсенар, например юноша Антиной из «Воспоминаний Адриана».

В «Северных архивах» подспудно тоже прослеживается тема нарушения полярности между мужским и женским началом; здесь и упоминание о шевалье Д'Эоне и о шевалье де Туш, о рисунках Леонардо да Винчи, о мужеподобном характере ее бабки Нозми и многие другие детали, которые, безусловно, не ускользнут от внимания пытливого читателя. Создается впечатление, что писательницу коробит отношение к отклонениям от общепринятой христианской нормы как к греху. Ей хотелось бы, чтобы, как в античные времена, стихи Сапфо или мраморная статуя Гермафродита воспринимались как ценности эстетические, вне зависимости от категорий этических, чтобы к так называемым «противоестественным» влечениям относились как к чему-то естественному, входящему в круг известных явлений, издревле наблюдаемых матерью-природой, той богиней Кали, которая может быть и белой и черной, с равно величавым спокойствием даря нам и жизнь, и смерть, и прочие муки. Не следует роптать на судьбу, а воспринимать все данное от природы как рок, ананке.

Кстати, интересно вспомнить, что древние различали две формы рока: ананке и мойру, противопоставляя их друг другу. Для современной французской литературы это различие существенно. Так, в романе Жюльена Грина «Мойра» (1950)

мы видим диаметрально противоположное юрсенаровскому понимание судьбы или рока. Мойра карает юношу-богослова за пренебрежение великим законом природы, повелевающим ему не протривиться притяжению полов, невзирая на религиозные запреты. Рок для Юрсенар находится в другой ипостаси. Идея кары отвергается, остается спокойное и безропотное притрие того, что «на роду написано» (ананке). Здесь сразу же придется сделать оговорку. Рок, судьба (в том смысле, в котором она употребляет античный архетип) предопределяет жизненный путь далеко не каждого человека, а лишь определенного типа людей, достигших в своем развитии достаточного уровня накопления духовной энергии. Тип человека предшествует его рождению, он принадлежит роду. Аристократизм Юрсенар выводит из понятий породы, рода, крови. Но с кровью передаются не только добродетели и доблестные качества души, пороки тела и плоти тоже передаются через кровь. От них нельзя отказываться, и их нельзя отвергать, так же как нельзя отвергать своих предков. Вот почему писательнице чуждо чувство гордыни. Она не «кичится своим происхождением», наоборот, смиренно принимает все, что перешло к ней от них. В то же время ей глубоко чужд «культ личности», свойственный большинству французских писателей, над которым она добродушно посмеивается в дружеской беседе. «Я, мне, мой, мои, мною...», — пародирует она фразы некоторых из своих собратьев по перу. «Мы все во всем, и не стоит об этом говорить!» Юрсенар интересуется ее сопричастностью миру, и это для нее

главное. И когда к ней пришла всемирная слава, она восприняла ее как должное и с еще большей самоотдачей углубилась в историю своего рода.

Почести буквально сыплются на голову писательницы как из рога изобилия. Это прежде всего премия Фемина, которой был удостоен в 1968 году ее роман «Философский камень». Несмотря на бурные политические события во Франции, роман сразу обрел широкий круг читателей и был распродан мгновенно.

В марте 1971 года она становится членом Бельгийской королевской академии. Но наибольшую славу приносит ей принятие 22 января 1981 года во Французскую академию в присутствии президента Валери Жискар д'Эстена — событие поистине историческое. Ведь эта почтенная академия еще ни разу не принимала в свой состав женщин. Для того чтобы свершилось избрание Маргерит Юрсенар, в старом, закостенелом институте Французской академии пришлось произвести некий дворцовый переворот. Немалое содействие оказал этому академик Жан д'Ормсон.

Наступает третий и последний период жизни писательницы. Слава дает ей возможность путешествовать, а страсть к путешествиям у нее от отца. После смерти Грейс Фрик (1979 г.) она много ездит, может быть, даже слишком много, учитывая состояние ее здоровья и оставшиеся силы. Здесь поездка в Италию, в Египет и осуществление давнишней мечты о поездке в Японию (1982 г.). Ведь в 1980 году она написала эссе о японском писателе

Юкио Мисима, который своим творчеством и актом совершения харакири по древнейшему ритуалу сеппуку произвел на нее неизгладимое впечатление. Надо сказать, что во всех путешествиях ее неизменным спутником и помощником был молодой американец Джерри Вильсон.

В 1984 году во время путешествия по Кении Юрсенар попадает в автомобильную катастрофу. Вильсон и она чудом уцелели.

В 1985 году во время путешествия в Индию она попадает в госпиталь, где переносит серьезную операцию на сердце.

В 1986 году от СПИДа умирает Джерри Вильсон.

Всех этих роковых событий, уготованных ей судьбой, более чем достаточно для одной жизни. 17 декабря 1987 года в возрасте 84 лет она умирает от инсульта в американской больнице Бар-Харбор. Трилогия «Лабиринт мира» так и осталась незаконченной.

Читателю дана возможность ознакомиться со второй частью этой трилогии. «Северные архивы» родились из «возврата во Фландрию в момент написания Зенона», поясняла Юрсенар. «Когда я листала архивы, мне бросилась в глаза одна деталь: относительная стабильность тех географических мест, где в прошлом проживали мои предки». М. Юрсенар замечает, что пять или шесть поколений ее предков располагались примерно в тех же местах. Это, по отцовской линии, Северная Фландрия — Антверпен, Кассель, Байёль и близлежащие окрестности. Такая относительная стабильность в

течение длительного исторического периода наблюдается, несмотря на непрерывные завоевания, политические потрясения и многочисленные бедствия. В нашу эпоху подобное постоянство уже невозможно.

Писательница ставит целью не столько описание истории ее собственного рода, сколько наблюдения за формированием этого понятия; затем она прослеживает судьбу рода в течение нескольких поколений и в последних частях останавливается на моменте распада и разъединения всего того, что формировало род. Недаром в «Философском камне» алхимика Зенона интересуется прежде всего наблюдение за фазой выделения субстанции и ее распада.

Мемуары Маргерит Юрсенар, если можно их назвать мемуарами, а не философскими эссе, составлены весьма своеобразно. «Северные архивы» начинаются не только от Адама, но еще раньше: от сотворения мира и всемирного потопа. Сама Маргерит Юрсенар появляется лишь в конце книги, и читателю на миг удастся заглянуть в ее колыбель, где лежит нечто бесформенное и сморщенное. Так встречаются детство и старость.

История же состоит из отдельных судеб. Большинство из них так и остается в тени. Только начиная с XVI века из общей магмы судеб выделяется первый персонаж, принадлежащий роду Кленверков. На столь далеком по времени расстоянии он кажется еще ничтожно малым. Однако именно от этого Кленверка начнутся развет-

вления семейных отношений, то есть того, что Юрсенар обозначит емким термином «сеть».

Еще в первой части трилогии Юрсенар вскользь упомянула о том, что сеть представляет собой координаты «между христианской эрой и Европой XX века». Но, по сути, то, что она называет «сетью», состоит не столько из генетических связей, сколько из культурных связей вообще. Эта сеть объединит примерно около трех десятков семей. На протяжении всех столетий они будут смешиваться в браках друг с другом, противостоять набегам завоевателей, ценить превыше всего стабильность семейных уз. Так возникнет род Креанкуров. Род, в котором, как в тигле алхимиков, собирается квинтэссенция отличительных черт людей, веками живших на этой земле: любовь к жизни, уважение к деньгам, пренебрежение к властям. Один из предков Креанкуров женится на Клер Фаурмент, племяннице жены Рубенса. Архивы скупы: они почти ничего не сообщают о его жизни, кроме даты крещения и смерти. Но благодаря полотнам гения писательница дополняет черты этого персонажа картиной, взятой из своего воображаемого музея. Творения Рубенса позволили ей легко восстановить эпоху, детали, малейшие оттенки чувств не только своего предка, но и безвестной Клер Фаурмент.

С приближением во времени задача Юрсенар облегчается. Ведь она пишет не только как эссеист, но и как историк, а уже грядет эпоха Великой французской революции. Одна из ветвей рода Креанкуров вынуждена эмигрировать в Пруссию, а за-

тем в Вестфалию. Другая останется на месте и сохранит наивысшую ценность — землю.

В третьей части книги тон повествования меняется: наступила эпоха Наполеоновской империи. Вместе с историческими свидетелями у писательницы появляются уже личные воспоминания, передаваемые из уст в уста, от поколения к поколению. Архивные данные, генеалогия уступают место семейным рассказам, показу небольших забавных сценок, которые сохранило семейное предание.

Так перед нами появляется Мишель Шарль, студент факультета права в Париже. Он молод, лицо его еще не успело приобрести черты индивидуальности; в нем заметна одна лишь порода. Чтобы воссоздать атмосферу его жизни, характер, все то, что сформирует его впоследствии, автор прибегает ко всевозможным косвенным формам воображения. Она представляет себе, каков должен был быть круг его чтения, предметы быта, которыми он пользовался, дает нам послушать даже шум парижских улиц той эпохи.

В следующей сцене мы видим его 8 мая 1842 года. Он несколько возмужал и возвращается в поезде из Версаля после веселой загородной поездки в компании очаровательных барышень, портрет которых автор набрасывает небрежной кистью по сходству со скромными гризетками той поры. И вдруг катастрофа: поезд терпит крушение. Мишель Шарль чудом остается в живых, выскочив в последнюю минуту из объятых пламенем вагона. Значение этой сцены двойное.

Для индивидуальной судьбы Мишеля Шарля это точка отсчета. С этого дня он окончательно становится зрелым человеком, то есть вполне отдает себе отчет, что каждый день в нашей жизни может стать последним, а смерть — настичь нас где угодно. Для судьбы рода это тоже поворотный пункт. На нем, по воле его величества случая, мог прекратиться род Креанкуров. Однако этого не случилось, род продолжился, было много еще других непредвиденных обстоятельств, результатом которых стало рождение самой Маргерит.

Чтобы «развяться», как говорили тогда, Мишель Шарль едет путешествовать по Италии. Сорок лет спустя он напишет воспоминания об этом путешествии и тем самым навсегда передаст своей внучке непреодолимую тягу к странствиям, не говоря уже о любви ко всему тому, чем располагает Италия в области культуры.

Затем следует ряд событий, имеющих опять-таки двоякое значение в зависимости от того, имеют ли они отношение к общей судьбе рода или к отдельным его представителям. Мишель Шарль женится на Ноэми Дюфрен, богатой, но не родовитой. Их дочь гибнет от несчастного случая. Остается сын, Мишель, будущий отец Маргерит.

Мишель является настоящим героем данной хроники. Он описан во все периоды своей многогранной и разнообразной жизни. Поначалу это ангелочек Фукс, затем не подающий особых надежд школьник. Позже — юный романтический герой, блестящий офицер, затянутый в безупречный мундир. Все этапы, вплоть до самой старости, когда

он становится похожим на старика-нищего, давно покинувшего праздник жизни, представляются нам в виде четких светло-коричневых дагеротипов из семейного альбома. Иной раз этот мужчина средних лет с нафабранными усами и в английском рединготе держит под руку какую-нибудь даму в белом платье, с грустными глазами, глядящими на нас из-под соломенной шляпки или кружевного чепца. Именно в нем писательница увидела античного героя, олицетворяющего борьбу человека с силами рока, судьбы. Во всем, что ни делает Мишель, чувствуется бунтарь. За несколько лет он проматывает десять тысяч гектаров земель с лесами и угодьями. Именно тех земель, которые так долго накапливали предшествующие поколения. Теперь он гол как сокол. Ему нечего оставить в наследство дочери, кроме фамильных черт и любви к свободе.

Семья, весь родственный клан неоднократно пытаются вернуть его в общепринятое русло, но их усилия тщетны. Всякий раз ему удается вырваться: то он бежит в Англию, где, найдя приют у одной замужней пары, лихо уводит жену своего хозяина и уезжает с ней в деревню, то дезертирует из армии, то плывет в Америку.

Женитьба на Берте, казалось, должна была привести его корабль к тихой пристани. Но не тут-то было. Берта и ее сестра Габриель, которая неразлучно следует за ней повсюду, испытывают, как и сам Мишель, непреодолимое влечение к богеме. В течение пятнадцати лет их лихая троица посещает скачки, игорные дома, плавает под наду-

тыми парусами на различных прогулочных яхтах и катерах, кружится в вихре вальса. О том, как они жили, скажут нам лучше не чинные дагеротипы, а полотна Мане, Дега или Тулуз-Лотрека. Промотав все, что было возможно, неразлучное трио добирается до Украины. Неисповедимыми путями они оказываются в труппе бродячего цирка, где исполняют верховые трюки. Двум прекрасным амазонкам не суждено было прожить долгую жизнь. Таинственным образом они обе погибают в Остенде. Одной было тридцать восемь, другой — всего тридцать три года.

Юрсенар с уважением относится к любой тайне и не желает ее раскрывать, оставляя читателя в полном неведении. Ведь это не роман; жанр романа, с ее точки зрения, находится в кризисе, он стал слишком «всепоглощающим» в наше время. Ему она противопоставляет эссе, которое, беря начало от «Опытов» Монтеня, дает наибольшую свободу искусству писателя. Картина горя и отчаяния Мишеля дана скупо. Он бессилен противостоять натиску семейного клана. Они вновь забирают его, женив на Фердинанде Картье де Маршенн, помещице из Эно, будущей матери Маргерит де Креанкур, которую ей никогда не доведется увидеть.

Борьба отдельной личности за свободу, отказ от подчинения центристремительной воле родового спрута — снова все возвращается на круги своя, и никто при этом ни прав, ни виноват. Ролевые функции членов клана незаметно оказываются сильнее индивидуальных порывов его отдельных представителей. Быть дедом, племянником, дядей, тетуш-

кой, прародительницей в недрах семейного круга, спянного аристократическими традициями, важнее, нежели каждому из этих персонажей в отдельности стать государственным деятелем, церковнослужителем, представителем богемы или поэтом.

Природа и звери вовлечены в магический круг родовых отношений. Писательница вспоминает легенду о Лесном царе, для нее особенно важно, что, согласно древним германским преданиям, деревья олицетворяют души предков. Животным, как полноправным членам семейной хроники, отведена особая роль. Попадаясь то тут, то там на страницах «Северных архивов», каждое из них дает нам своеобразный урок жизни. Корова дает молоко человечности, как у Шекспира: «The milk of human tenderness». Спаниель, бесстрашно перебегая границу между Францией и Бельгией, чтобы вернуться к своему хозяину, учит верности. И наконец, свинья, которая предупреждает нас о бережном отношении ко всему живому. Мы можем убить ее, но только ради еды и принося ей как можно меньше страданий.

Как-то М.Юрсенар попросили ответить на вопросы, которые Марсель Пруст предлагал задавать писателям, чтобы определить их кредо. Она проделала это с полной ответственностью и искренностью, как и все то, за что бралась. Приведем, хотя бы вкратце, некоторые из ее ответов, они помогут нам лучше понять ее произведения.

Что является для вас пределом несчастья?

Чувство, что я не могу помочь ничем или в ничтожно малой степени миру с его страданиями и растерянностью.

Где бы вы хотели жить?

В стране, где царили бы разум, простота, доброта, справедливость.

Кто ваши любимые герои романов?

Никогда не задумывалась над этим. Может быть, Пьер Безухов из «Войны и мира» или старец Зосима в «Братьях Карамазовых», может быть, даже Дон Кихот.

Кого из исторических деятелей вы цените превыше всего? Кого предпочитаете в жизни?

Всех, кто старался или старается улучшить условия человеческого существования: от Сакия Муни до Толстого, от Ганди до Иоанна XXIII, если говорить о сфере духовной. В светском плане всех, кто близок по духу Сократу или Монтеню и, конечно, Вольтеру. Духовная и светская сферы не столь отличны, как это кажется на первый взгляд...

Какое качество вы цените превыше всего в мужчине?

Ум, простоту, доброту, справедливость.

Какое качество вы цените превыше всего в женщине?

Ум, простоту, доброту, справедливость.

Что вы ненавидите больше всего?

Глупость, самодовольство, злобу, несправедливость.

Как бы вы хотели умереть?

Спокойно, со страстной сосредоточенностью.

Человек вообще должен подходить с большой ответственностью ко всему тому, что он создает. Ведь в некотором смысле он может стать рабом своих созданий. Размышляя над этой проблемой, писательница не раз вспоминала каббалистическое предание о Големе. На определенном этапе своего существования Адам, первородный человек, представлял собой всего лишь глиняного Голема, он был лишен божественного духовного начала. В Каббале, мистической книге древних иудеев, оказавшей существенное влияние на средневековых алхимиков, рассказывается, что можно сотворить из красной глины подобие человека — Голем величиной с десятилетнего ребенка, написать на его лбу слово «жизнь» — и он послушно станет исполнять волю каббалиста. Беда только в том, что Голем очень быстро растет, тогда достаточно написать на его лбу слово «смерть» — и он рассыплется в прах. Деятельность Голема можно направить как на добро, так и на зло; но беда тому

каббалисту, который позволит своему Голему достичь гигантских размеров. Когда он захочет его уничтожить, Голем может раздавить его под тяжестью собственных обломков.

Писатель дает жизнь своим героям, он сам попадает в зависимость от них. Так было с императором Адрианом, с Зеноном Лигром...

А в более широком плане вся культура для М. Юрсенар — своеобразный Голем. Книги, картины, памятники дают человеку возможность «проложить путь к собственному спасению», испытать те чувства, которые он не успеет познать в действительности, так как день его слишком короток и слишком тесны стены его темницы. Один лишь Пиранези мог раздвинуть их на листе бумаги, полетом своей фантазии протаранить каменную стену воздушным подвесным мостом, ведущим прямо в небо.

От размышлений над жизнью и смертью форм искусства Юрсенар переходит к ответственности человека перед природой вообще. Ее волнуют все аспекты того, что сейчас принято называть проблемой экологии. Чтобы личность что-то значила, необходимо ограничить производство всего того, что засоряет планету. В ее рассуждениях никакой назидательности, ведь она пишет, как поэт, создает свою картину мира, *imago mundi*.

Поначалу читателю покажется, что мир писательницы далек от нас, от наших повседневных забот. Нам ли до отплытия, например, на остров Киферу в изящных одеяниях, едва намеченных прозрачными красками Ватто? Однако по мере

чтения судьбы людей, той вереницы поколений, принадлежавших одному роду (понятие, несколько отдаленное от нас, равно как и племя), сменявших друг друга на протяжении двух тысячелетий (наших тысячелетий) на одном и том же куске земли, который был поочередно и Францией, и Бельгией, и Нидерландами, который завоевывали то римляне, то испанцы, то немцы, а «род» все выживал, гены переходили от отца к сыну, от матери к дочери, сходство передавалось самым причудливым образом, перескакивая через одно или два поколения, — все это биение пульса жизни зримо возникает перед нами, становится осязаемым в нас самих.

А может, и у нас есть род и племя? В какую землю уходит корнями наше древо? Не в ту ли, что веками терзали то одни, то другие завоеватели?

Чего в нас больше, индивидуальных черт, отличающих от других «нашу» личность, или того, что характеризует «породу», переданную нам предками? Мы рассуждаем вместе с писательницей и охотно соглашаемся с ее точкой зрения: личностные черты проявляются в нас со временем, в начале же жизни семья, быт, культура — все предопределяет вне нас самих нашу форму поведения. Ведь наш облик не только отражается в зеркале, куда мы заглянули. Наш облик прежде всего — в глазах тех, кто смотрит на нас с тревогой, надеждой и любовью, видя в нас продолжение самих себя.

С. Ю. Завадовская

— Τυδείδῃ, μεγάθυμε, τίη γενεῆν ἐρεΐνεις;
Οἷη περ φύλλων γευεῖ, τοίη δὲ καὶ ἀνδρῶν.

Илиада, VI, 145 — 146

— Сын благородный Тидея,
почто вопрошаешь о роде?
Листьям в дубравах древесных
подобны сыны человеков.

Перевод Н. Гнедича

Часть первая

НОЧЬ ВРЕМЕН

В книге, которая вместе с этой должна составить своеобразный диптих, я попыталась воскресить супружескую пару начала нынешнего века, моих отца и мать, затем проникнуть в глубь веков, к предкам со стороны матери, обосновавшимся в Бельгии в XIX веке, и, наконец, довести повествование до Льежа эпохи рококо *, а то и средних веков, хотя все больше пробелов, а силуэты все расплывчатее. Раз или два усилием воображения, освободившись от пут связывавшей меня семейной хроники, я попыталась дойти до Древнего Рима и даже более ранних времен. В этой же книге я бы хотела проделать обратный путь: отправившись из неизведанного далека, добраться, сужая угол зре-

ния, но вглядываясь пристальнее в человеческие характеры, до Лилля XIX века, чтобы поведать о весьма достойной, но разобщенной супружеской чете крупного буржуа и состоятельной буржуазки времен Второй империи, наконец, о моем отце, вечно пребывавшем в бегах, о маленькой девочке, постигавшей жизнь на холмах французской Фландрии в 1903—1912 годах. Если мне будут отпущены время и силы, возможно, я продолжу рассказ до 1914-го, до 1939 года, до тех пор, пока перо не выпадет из моих рук. Там будет видно.

На эту семью, а точнее, семьи, переплетение которых и образует моих предков по отцовской линии, я попытаюсь взглянуть со стороны, найти их место — весьма скромное — в необозримости времени. Оставим эти человеческие песчинки, этих людей, которых давно уже нет на свете, и перенесемся во времена, когда их еще не было и в помине. Сменим и декорации: оставим позади Вокзальную площадь, крепость Лилля, башни Байёля, улицу «аристократического вида», замок и парк — такими, как запечатлели их старые открытки с местными видами и достопримечательностями. Поднимемся ввысь из этого уголка департамента Нор, который прежде был частью испанских Нидерландов *, а еще раньше кусочком Бургундского герцогства, Фландрского графства, Нейстрийского королевства и бельгийской Галлии. Пролетим над ним в ту эпоху, когда он не был еще заселен и не имел названия.

«До сотворенья мира!» — высокопарно вещает в своей комической речи расиновский Интима *.

«Пора бы перейти к потопу!» — восклицает судья, подавляя зевок. Речь и в самом деле пойдет о потопе. Но не о том мифическом, поглотившем земной шар, и даже не о простом наводнении, оставившем след в памяти перепуганного населения, а о тех приливах, что с незапамятных времен на протяжении веков то заливали, то обнажали берег Северного моря от мыса Гри-Не до островов Зеландии. Самое раннее из этих вторжений произошло задолго до появления человека. Длинная полоса намытых дюн, свернув на восток, не раз разрушалась — сперва в доисторические времена, а затем к концу существования Римской империи. Если идти по равнине, пролегающей между Аррасом и Ипром, а затем вытянувшейся, невзирая на границы, в сторону Гента и Брюгге, кажется, что шагаешь по обнажившемуся морскому дну, откуда море только что отхлынуло и куда, возможно, вернется не сегодня-завтра. Возле Лилля, Анзена и Ланса, под землей, выскобленной горными разработками, полным-полно окаменелостей — геологических остатков другой эпохи, еще более далекой, когда на земле происходила смена климата и времен года. От Мало-ле-Бен до Л'Экюза легла волной полоса дюн, насыпанных морем и ветром. В наши дни они обезображены кокетливыми виллами, прибыльными казино, шикарными или третьесортными лавками, военными полигонами, но через десять тысяч лет весь этот хлам ничем не будет отличаться от органических и неорганических останков, которые море медленно перемалывает в песок.

Горы, которые в другом месте назвали бы холмами, изогнувшись, окружают эту низменность. Гора Кассель, переходящая на севере в цепь Фландрских гор, Мон-де-Ка, гора Кеммель, Монруж и Мон-Нуар — ее я знаю лучше других, ведь именно здесь прошло мое детство. Образующие их песчаник, мелкий песок и глина — сами осадочные породы, превратившиеся постепенно в сушу. Новые набеги волн постепенно размывали землю вокруг них, их скромные гребни — тому свидетельство. Возникновение этих гор восходит к тем временам, когда бассейн Темзы тянулся до Голландии, когда не была еще перерезана пуповина, соединявшая континент и то, что стало потом Англией. Свидетельствуют они и о другом. Окружавшая их равнина была безжалостно раскорчевана монахами и крестьянами в средние века, но вершины, менее доступные для земледелия, еще сохраняют растительность. Гора Кассель была оголена, конечно, давно, племена устраивали там укрепленные лагеря, чтобы укрываться от нападения соседей, а позже и солдат Цезаря*. Войны, как некогда морские приливы и отливы, периодически подтачивали ее основание. Леса на других вершинах сохранились лучше, в них при случае укрывались изгнанники. Мон-Нуар, в частности, обязана своим именем темным елям, покрывавшим ее до того, как они стали пустяковой жертвой войны 1914 года¹. Снаряды изменили ее

¹ Мон-Нуар (Mont-Noir) в переводе с французского «Черная гора». — *Ред.*

внешний вид куда сильнее, нежели облик замка, построенного моим прапрадедом в 1824 году. Деревья мало-помалу выросли снова, но, как обычно бывает в таких случаях, на смену одной породе пришли другие: черные ели, подобные тем, что видны на заднем плане немецких пейзажей Ренессанса, больше не преобладают. Бесполезно пытаться представить себе, какими будут последующие вырубки и посадки леса.

Но мы слишком торопливы: помимо воли мы понеслись стремглав по склону, ведущему в настоящее. Погрузимся лучше в созерцание мира, еще не обремененного нашим присутствием, полюбуемся лесами, перерезанными ландами и тянущимися непрерывно от Португалии до Норвегии, от дюн до будущих русских степей. Воссоздадим в себе этот зеленый океан, представим его не застывшим, каким обычно видится нам прошлое, а подвижным, изменчивым, меняющим свой облик с каждым часом, днем, временем года, текущими свободно и не исчисленными нашими календарями и часами. Посмотрим, как осенью покрываются рыжей подпалиной листья на деревьях, как весной ели выбрасывают новехонькие иголки, еще покрытые тонкой коричневой облаткой. Окунемся в почти девственную тишину, не потревоженную звуками человеческого голоса и шумом орудий труда, в ней слышны только пение птиц или их предупреждающий зов, когда приближается враг — ласка или белка, слышно, как пищат тучи мошек — они одновременно и хищник, и жертва, — как ворчит медведь, ищущий в расщелине ствола со-

ты, которые с жужжанием защищают пчелы, как хрипит олень, задираемый рысью.

В досыта напоенных водой болотах ныряет утка, лебедь взмывает в небо с таким шумом, словно развернулись паруса; ужи неслышно скользят во мху или шуршат опавшей листвой; жесткая трава на вершинах дюн дрожит под напором ветра, дующего с моря, еще не загрязненного дымом топок и масляными пятнами горючего, по нему не дерзнул проплыть пока еще ни один корабль. Порою на глубине кит выбрасывает мощный фонтан воды; весело прыгают морские свиньи: такими я их и видела, стоя на носу корабля, до отказа нагруженного женщинами, детьми, домашней утварью и наспех прихваченными перинами, когда плыла с родными в сентябре 1914 года, пробираясь морским путем во Францию, не захваченную врагом. Одиннадцатилетний ребенок уже чувствовал, что животные с их радостью принадлежат к миру более чистому и совершенному, нежели тот, где люди заставляют страдать людей.

Снова мы сбиваемся на истории из жизни человеческой. Опомнимся, совершив вращение вместе с Землей, которая делает это не задумываясь, прекрасная планета на небесном своде. Солнце нагревает тоненькую живую корочку, заставляет лопаться почки и бродить гниль, вытягивает из земли, а затем разгоняет поднимающийся от нее пар. Густые слои облаков смягчают краски, приглушают звуки, покрывают равнины и морскую гладь одним плотным серым покрывалом. Забарабанив по листьям, начинается дождь, его влагу

пьет земля, всасывают корни. Ветер гнет молодые деревья, ломает старые стволы, разметает все со страшным шумом. Наконец вновь устанавливается тишина, на неподвижном снежном пространстве — никаких отметин, кроме отпечатков копыт, лап, или когтей, или звездчатых следов, оставленных птицами. Лунные ночи, играют блики света, и нет нужды, чтобы поэт или художник любовались ими, чтобы какой-нибудь пророк предсказал, что однажды подобия насекомых, облачившись в грубые доспехи, рискнут забраться туда, наверх, в пыль этого мертвого шара. Когда их не затмевает сияние луны, мерцают звезды, они расположены почти так же, как сегодня, но еще не соединены нами в воображаемые квадраты, многоугольники, треугольники, еще не получили имен богов и чудовищ, к которым не имеют никакого отношения.

* * *

Но уже почти повсюду — человек. Племя человеческое пока немногочисленно, живет скрываясь, отступая под последним натиском совсем близких ледников, оно почти не оставило следов на земле, где нет еще пещер и скал. Царь-грабитель, вырубщик животных и убийца деревьев, охотник, прилаживающий силки, в которых задыхаются птицы, и устраивающий западни, где на кол напарывается пушное зверье; загонщик, подстерегающий животных во время сезонных миграций, чтобы обеспечить себя на зиму сушеным мясом; строитель убежищ из веток и бревен, че-

ловек-волк, человек-лиса, человек-бобер, соединивший в себе хитроумие и ловкость животных. Это о нем в преданиях раввинов говорится, что при сотворении его земля отказала Богу в горсти грязи, а арабские сказки уверяют *, что животные содрогнулись, увидев сего голого червя. Человек, имеющий силу и власть, которые, как их ни оценивай, представляют собой аномалию в устройстве мира, человек, наделенный опасным даром заходить в добре и зле много дальше, чем все известные нам живые существа, обладающий чудовищной и высокой возможностью выбора.

В комиксах и научно-популярной литературе этот Адам, не снискавший себе славы, предстает перед нами как волосатая зверюга, потрясающая палицей: образ, весьма далекий от иудейско-христианской легенды, согласно которой первобытный человек мирно бродит в тенистых кустах, еще дальше он от микеланджеловского Адама *, пробуждающегося в своем совершенстве при соприкосновении с перстом Божьим. Разумеется, он был зверем, человек, разбивавший камни и умевший обрабатывать их, потому что та же звериная сущность сидит и в нас, но эти свирепые Прометеи изобрели огонь, стали варить пищу, догадались окунуть в смолу палку, чтобы рассеять ночной мрак. Они лучше нас умели отличать питательные растения от ядовитых, от тех, что не кормят, а вызывают странные сновидения. Они заметили, что летнее солнце при заходе смещается к северу, что некоторые звезды вращаются вокруг зенита или точно перемещаются вдоль Зодиака, тогда как дру-

гие, напротив, капризны в своем движении и повинуются смене лунных месяцев или времен года; они использовали эти знания в ночных и дневных путешествиях. Эти звери, без сомнения, придумали пение, сопровождавшее работу, развлечения и горе вплоть до нашего времени, когда человек почти разучился петь. Рассматривая их фрески, чувствуешь заключенный в них ритм, и кажется, можно угадать монотонность их молитв или заклинаний. Анализ почвы в погребениях указывает на то, что они хоронили мертвых, положив их на ковер из цветов, разложенных в сложном порядке, и, быть может, так же поступали старухи во времена моего детства, раскладывая цветы на пути религиозных процессий. Эти первобытные Пизанелло и Дега испытали странную, непреодолимую потребность художника отобразить реальный, копошащийся мир в образных формах, родившихся в их воображении, зрении, под их рукой.

Наши этнологи работают всего в течение века, но нам уже известно, что существовали первобытные мистика и мудрость и что шаманы отваживались пускаться в ночной путь по тем же дорогам, что и гомеровский Одиссей или Данте. С высокомерием мы отказываем людям прошлого в восприятии, подобном нашему, с пренебрежением видим в пещерных фресках лишь продукт магии, имеющий сугубо утилитарный характер: взаимоотношения между человеком и животным, с одной стороны, между человеком и искусством — с другой, на самом деле гораздо сложнее и глубже. С той же надменностью мы склонны относиться и к

постройке соборов, умаляя их истинную ценность, воспринимая их либо как результат чудовищного торга с Господом Богом, либо как тяжкую повинность перед алчными попами-тиранами. Оставим подобные упрощения для Омэ *. Ничто не мешает предположить, что колдун в доисторические времена перед изображением бизона, пронзенного стрелами, испытывал в определенные моменты то же волнение и то же рвение, что и христианин перед принесенным в жертву агнцем.

Их, искусников, умельцев неолита, отделяют от нас всего каких-нибудь три сотни поколений, за ними по пятам пойдут технократы эпохи меди и железа, они были мастерами, ловко производя жесты, бесчисленное количество раз повторявшиеся человеком вплоть до предшествовавшего нам поколения; они строили хижины на сваях и складывали каменные стены; выдалбливали стволы деревьев, превращая их в лодки или гробы; делали горшки и корзины; жили в деревьях, где на задних дворах бегали собаки, стояли ульи и мельничные жернова; они пасли стада, заключив с животными, ставшими домашними, договор, который всякий раз расторгала смерть; для них лошадь и колесо появились вчера вечером или появятся завтра утром. Голод, поражения, страсть к приключениям, ветры, которые будут дуть с востока на запад и через пятьдесят столетий, во времена нашествий варваров, занесли их сюда, как это было или будет с их предшественниками и преемниками. Тонкая веревочка то и дело свивается из ос-

татков рас вдоль этого побережья подобно тому, как после бури на дюнах остается бахрома водорослей, ракушек и обломков деревьев, выброшенных морем. Эти люди похожи на нас: встав с ними лицом к лицу, мы узнали бы присущие нам черты — глупость и гениальность, уродство и красоту. У мумифицированного человека из Толлунда *, жившего на территории Дании в железном веке и найденного с веревкой на шее в болоте, куда, по всей видимости, благонамеренные граждане той эпохи бросали предателей, истинных или мнимых, дезертиров, вырожденцев, принося их в жертву неведомому божеству, — одно из самых умных лиц, какое только можно представить: этот казненный, должно быть, свысока судил о тех, кто осудил его.

Потом вдруг слышатся голоса, говорящие на языке, от которого остались кое-где отдельные слова, звуки, корни; почти как мы, они выговаривали слово «дюна», слово «отруби», слово «росток», слово «жернов». Горлопаны, хвастуны, искатели ссор и удачи, головорезы и вояки: кельты в шерстяных капюшонах, в блузах, похожих на те, что когда-то носили наши крестьяне, в спортивных шортах и просторных штанах, которые войдут в моду у санкюлотов во времена Революции. Кельты, иначе называемые галлами (античные писатели не делали различия между двумя этими названиями), которых шовинисты-эрудиты тянули всяк в свою сторону, братья — недруги германцев, кельты, чьи семейные распри не прекращались на протяжении двадцати пяти веков.

Здоровые парни, любители роскоши и оборванцы, помешанные на красивых браслетах, красивых лошадях, красивых женщинах и красивых пажах, они обменивали пленных на кувшины с итальянским или греческим вином. Согласно древней легенде, во время одного из своих первых появлений на берегах Северного моря эти безумцы, вооружившись, напали на прилив, угрожавший их стоянке. Эта кучка людей, бросивших вызов морским волнам, напомнила мне, с каким неистовым упоением мы в детстве, на том же берегу, под тем же серым небом, держались до последнего в наших песчаных крепостях, которые коварно заливала вода, мы размахивали нашими дешевенькими флагами, тотемами разных национальностей, которые через несколько недель в Великой войне покрыли себя кровавой славой. Школьные учебники твердили нам, что великодушные галлы ничего не боялись, разве только того, что небо упадет на землю. Более мужественные или более отчаявшиеся, чем они, после 1945 года мы свыклись с мыслью о том, что небо того и гляди рухнет вниз.

История всегда пишется с позиций настоящего времени. Книги по истории Франции в начале XX века неизбежно начинались с картинки, изображавшей усатых воинов в сопровождении друида в белых одеждах. Они казались нам шайкой туземцев, конечно же, величественных, но заранее обреченных на поражение, против воли подталкиваемых по пути прогресса тяжеловатой рукой великой державы, осуществлявшей свою

цивилизаторскую миссию. Задушенный Верцингеториг и казненная при выходе из подземелья Эпонина были не в счет. Школьник, с трудом одолевавший «Комментарии», немного удивлялся, что победа над этими милыми дикарями добавила столько лавров в венок, прикрывший лысину Цезаря. Пятьдесят тысяч человек, собранных моринами из Теруана, двадцать тысяч, мобилизованных менапиями из Касселя *, показывают, однако, что значило, даже в этом глухом уголке Галлии, столкновение между военной машиной, сравнимой с современной, и миром, более уязвимым, но и более гибким, также обладавшим тысячелетними традициями, но остановившимся примерно на той же стадии развития, что Греция и Рим времен Геракла и Эвандра *. Эти места с их бездорожьем, где увязали легионы, служили прибежищем не для каких-нибудь убогих дикарей, а для плодovitой расы, которая в течение предыдущих веков не раз прорывалась к Риму и на средиземноморский Восток. Мы чувствуем, что за четыре века римского господства под прекрасными каменными арками утечет немало воды и средние века доисторического периода незаметно сомкнутся с нашим средневековьем: мы узнаем башни с балками и сваями, стоящие в лесу, и саманные деревенские дома под соломенными крышами. В нестроевых частях галло-римской армии, расквартированных в дальних пограничных гарнизонах, служат сыновья галльских наемников, искавших удачи в Египте времен Птолемея *, и галатов, хлынувших в Малую Азию; они также станут отцами будущих крестоносцев.

Отшельники заменят под дубами друидов, готовящихся к вечным скитаниям. В древности с бабушкиных уст стекали легенды о красавицах, за которыми гнались по лесу и которых вместе с их младенцами вскормила лань; потихоньку рассказывали о детишках, съеденных людоедом или украденных русалками, о ткачихах Смерти и загробных кавалькадах.

Но здесь есть уже все: при отблеске пожаров, уничтожающих деревни, подожженные Цезарем (хороший тактик, он скоро откажется от подобных фейерверков, ибо огонь и дым указывают врагу на местоположение его войск), вырисовываются далекие лица предков Бисвалей, Дюфренов, Бартов де Невиль, Кленверков или Креанкуров, чьим потомком я являюсь. Я смутно вижу тех, кто сказал «да»: хитрецов, знающих, что завоевания многократно умножат экспорт в Римскую империю; там любят копченые окорока и гусей, их посылают туда залитых жиром или живьем, и тогда они переваливаются с боку на бок под надзором маленького пастуха, которому некуда спешить. Там любят красивые шерстяные ткани, вытканые в мастерских атребатов *; там ценят хорошо выделанную кожу для ремней и седел. Я слышу также «да», сказанное просвещенными умами, они предпочли римские школы риторики премудрости друидов и стараются изо всех сил заучить латинский алфавит. Я слышу «да» крупных собственников, горящих желанием сменить свое кельтское имя на тройное, принятое у римских граждан, и мечтающих, если не для себя, то для своих детей, о се-

наторской тоге; и «да» тонких политиков, уже взвешивающих преимущества римского мира, который действительно даст три века безопасного существования стране, где ужасы войны почти постоянно жили в памяти человеческой.

Но и тех, кто сказал «нет», было не меньше: они предвосхитили судьбу своих единоверцев, истребленных в средние века французскими солдатами, изгнанников и казненных во времена Реформы, подобно Мартину Кленверку, который не то был, не то не был одним из моих родных, ему отрубили голову близ Байёля, на Вороньей горе; они заставляют вспомнить об эмигрантах 1793 года *, сохранивших верность Бурбонам подобно тому, как их предки на 100 лет раньше были верны Габсбургам; о робких буржуа-либералах XIX века, которые, как брат моей бабушки, скрывали, словно порок, свои республиканские симпатии; о неуживчивых упряמצах, как мой предок Бисваль, который в XVII веке воспротивился тому, чтобы герб его был занесен в «Гербовник» Д'Озье, ибо регистр этот казался ему еще одной уловкой короля Франции, придуманной для того, чтобы выудить у подданных несколько золотых монет. Лица вольных стрелков, охотников, оборванцев, строптивых парламентариев и вечных изгнанников... Во времена Цезаря они укроются в Бретани вместе с Коммом, атребатским вождем, начав или, быть может, продолжив вечные скитания между бельгийским побережьем и Англией, Позже они примкнут к восстанию батава Клавдия Цивилиса *, докатившемуся до этих мест. Мы ви-

дим их такими, как изобразил их Рембрандт, — в какой-нибудь подземной зале, освещенной неверным светом фонаря; слегка подвыпив, они провозглашают гибель Риму или, что было сделать проще, собственную смерть, высоко поднимают красивые стеклянные кубки, сделанные в александрийском вкусе и привезенные с Рейна; увешанные варварскими украшениями, они вкушают одновременно грубую роскошь и опасность.

Мы уже можем отметить некоторые особенности этой расы, и рассудительной, и неуступчивой: неумение объединиться, разве что в самом крайнем случае, — это подарок злых кельтских фей, отказ подчиняться всякой власти, что в какой-то мере объясняет историю Фландрии, правда, эти их черты частенько побеждала прочная привязанность к деньгам и жизненным благам, заставлявшая принимать любой *status quo*¹, любовь к красивым словам и сальным шуткам, ненасытная чувственность, основательный вкус к жизни, передававшийся из поколения в поколение и составлявший единственное неотчуждаемое наследство. Марк Антоний, обосновавшийся здесь во главе легионов в невыносимо дождливую зиму, в то время как хозяин вернулся в Италию*, чтобы заняться политикой, должно быть, попользовался, как и все остальные, красивыми и пышными девицами, у которых английские офицеры в 1914 году с удивлением, смешанным с легкой тревогой,

¹ Существующий порядок (*лат.*).

отмечали темперамент неистовых вакханок. В этом краю пиршества плоти прибегать к насилию, как говаривал один из них, не было нужды.

* * *

Узнать как следует народ можно, только изучив его богов. Кельтские божества едва видны из своего далека. Мы смутно различаем Тевтата, Беленосу *, галльских или германских богинь, этаких добрых Парок, Бога-Луну, водителя душ, приравненного к Меркурию, Нагалению, мать-благодетельницу, к ней взывали при отплытии и благодарили при возвращении в зеландские порты, особенно ее, должно быть, почитали на южном побережье, вспомним, наконец, Эпону, царицу лошадей и пони, которые зовутся ее именем, смиренно сидящую в женском седле и упирающуюся ногами в узкую дощечку. Но дошедшие до нас изображения — греко-римского происхождения, в других случаях они сработаны довольно грубо. Изображения весьма дурного вкуса, найденные в Баве, перед которыми наверняка молились мои предки, ничем не отличаются от тех, что находят при раскопках почти повсюду на территории бывшей империи: галльского ремесленника выдает то здесь, то там прежде всего его неумелость. Когда думаешь о своеобразном гении, проявившемся при чеканке первых кельтских монет — при этом использовалась иная, чем в Греции, техника, — когда вспоминаешь о даре изображать животных поч-

ти живыми или об умении придавать растениям удлинённую форму, сплетая их между собой, которое мы наблюдаем у художников и скульпторов в христианскую эру, можно не сомневаться, что эти люди, если бы захотели, сумели бы изобразить и своих богов. Быть может, они предпочитали, чтобы те были почти невидимы и, едва выходя из камня, уходили в него вновь, являясь частью хаоса, в котором смешивались бесформенная земля, облака, ветер. Отчасти этой особенностью предков можно, вероятно, объяснить века спустя ярость тех, кто разбивал изображения святых. «Не должно быть лица у Господа Бога», — сказал как-то фермер во Фландрии, зайдя со мной в церковь и с неудовольствием глядя на очередное изображение Всевышнего.

В этом краю, который Цезарь и много позже него святой Иероним считали глухоманью, следы друидов очень редки, впрочем, как и повсюду, с тех пор как мы узнали, что благородные камни Карнака и монолитные портики Стонхенджа*, творение первобытного Ле Корбюзье*, относятся к более ранней эпохе. Эти священники, собиратели омелы, обосновываясь в существовавших до них святых местах, заставляют вспомнить о протестантах, использовавших затем ими же оголенные соборы, или о христианах, приспособивших для своих нужд римские храмы. Во всяком случае, город карнутов, то есть Шартр, где собирались друиды, находился слишком близко от бельгийской Галлии,

чтобы влияние их не распространилось на эту землю низин и дюн. Подобно тому как преподобные отцы и аббаты, мои предки по отцовской линии, поедут пополнять свое образование в Лувен, Париж, а то и в Рим, юные менапии, которых не слишком-то прельщала жестокая судьба, уготованная мужчинам их племени, должно быть, порою отправлялись, по обычаю кельтов с континента, в какую-нибудь друидическую семинарию на остров Британия. Они выучивали наизусть большие поэмы на космогонические и генеалогические сюжеты, являвшиеся хранилищем знаний; их учили приемам метампсихозы, которая прельщала умы именно потому, что внешне была совершенно абсурдна, впрочем, не более, нежели другие реалии органической жизни, такие, как глотание, пищеварение, совокупление, роды, странность которых нам мешает увидеть только привычка; метампсихоза является великолепной метафорой наших отношений с окружающими. Их учили, как пользоваться целебными свойствами растений и как совершать ордалии*, поддельные или нет, ибо суд Божий был вначале судом богов. В праздничные дни они видели, как с большой пышностью в плетеных клетках сжигали животных и людей, подобно тому как под иными предлогами, скрывающими ту же звериную жестокость, на протяжении всей христианской эпохи, вплоть до XVII века, будут тысячами сжигать живьем мужчин и женщин, объявленных грешниками, и животных, якобы приносящих несчастье. Воз-

можно, их немного учили греческому, ибо жрецы, с нашей точки зрения, затерявшиеся в глубине веков, вели переписку именно на этом языке. Галльский друид Дивициакус, которого привез в Рим Цезарь и который спорил с Цицероном на философские темы, кажется прототипом прелата, обедающего в городе.

Хотелось бы точно узнать, когда именно эта раса сменила своих исконных богов на Спасителя, явившегося из Палестины, когда именно домохозяйка, предшественница всех Валентин, Рен, Жозефин и Андриенн, от которых я происхожу, позволила мужу или сыну, более развитым, чем она сама, отнести к переплавщику маленькие бронзовые Лары *, из которых потом, кажется, ковали кастрюли или сковородки. Бывало даже — и тому есть немало примеров, — что бородатых и одетых в мантии богов переделывали в святых апостолов. Другие ренегаты (ибо всякий новообращенный всегда ренегат), с большим уважением относившиеся к поверженным идолам, благоговейно закапывали их в уголке сада или погребка: там мы их и находим, покрытых ярью-медянкой. По правде говоря, уже не впервые божества, осененные обаянием экзотизма, попадали в эти края: итальянские торговцы всяким хламом завезли сюда Изид * и Гарпократов *; ветераны привозили с собой маленьких Митр *. Эти боги были удобнее, они не предъявляли монопольных прав. Можно даже заподозрить, что язычество, слишком старая добрая религия, чтобы отказаться от нее, сохранялось в деревнях до VI, до VII веков. Следовало бы

научиться отделять тех, кто обратился в новую веру очень рано, когда подобный поступок считался еще героическим, от стада, принявшего христианство, когда оно уже было одобрено сверху государством.

История знала, пожалуй, два по-настоящему революционных момента. Первый — когда аскетиндус, поняв, что человек, освобожденный от всех заблуждений, становится хозяином своей судьбы, удалился от мира, а если и остался в нем, то лишь для того, чтобы служить прочим земным творениям, став при этом даже выше богов. Второй — когда несколько евреев, более или менее подверженных греческому влиянию, признали в своем раввине бога, добровольно принявшего на себя жизнь и муки человеческие, осужденного как гражданскими, так и религиозными властями и казненного местной полицией в присутствии армии, готовой поддержать порядок. Отложим разговор о буддистской мудрости, которая привлечет меня, когда мне исполнится двадцать лет. Что касается еще одного небывалого события, страстей Христовых, величием своим бросившего вызов всем человеческим установлениям, то в наше время влияние его на христиан столь незначительно, что с трудом верится, чтобы оно глубоко подействовало на галло-римских новообращенных. Несколько чистых душ, конечно же, прониклись возвышенной Нагорной проповедью *: в жизни мне встретились два-три подобных случая. Немало беспокойных сердец опьянилось надеждой на загробное спасение, которую в свое время поддер-

живал и языческий культ. Большинство, однако, задалось тем же непристойным вопросом, что и Паскаль: а что мы от этого выиграем? Несмотря на птиц и бычков, принесенных в жертву, Галлиена Тацита * по-прежнему страдает желудочными коликами, а Аврелиан Кауракус Гальба * не попал в последний список тех, кого должны были повысить по службе. Варваров, врагов Рима и, хуже того, его союзников, было полным-полно не только на дальних границах, но и в областях, соседствовавших с Неметоценной, то есть Аррасом, и Багакумом, то есть Баве. Вскоре из монастыря, находящегося на Востоке, донесется крик святого Иеронима, ужаснувшегося развалу западных границ империи: «Поток квадов, вандалов, сарматов, аланов, гепидов, герулов, саксов, бургундов и алеманнов (ах, несчастная родина!) хлынул с Рейна и Северного моря и движется к Аквитании: вся Галлия в огне и крови». Новый бог никого не спас, как не спасли бы никого и старые боги. Не помогла бы и богиня Рима, рухнувшая в свое курульное кресло*.

Богачам, нагруженным драгоценными вещами, которые они тащили с собой, перерезали глотку на дорогах вместе с небольшой кучкой оставшихся верными им слуг. Рабы бежали, вдруг перейдя в разряд свободных людей, или же примкнули к варварам. Дымились развалины, храня под обломками обычное число неопознанных лиц. Женщины, отдавшиеся добровольно или взятые силой, умерли от надругательств, холода, одиночества или произвели на свет плоды победы. Кости крестьян, уби-

тых при защите своих полей и скота, белели под дождем, смешавшись с останками животных. Потом люди начали восстанавливать разрушенное и строить заново. Не в последний раз.

СЕТЬ

Примерно в начале XVI века начинает вырисовываться персонаж по имени Кленверк, он едва различим на таком расстоянии, подобно фигуркам, которые Босх, Брейгель или Патинир * помещали на дорогах на заднем плане своих картин, чтобы те служили масштабом для пейзажей. Об этом человеке, потомком которого в тринадцатом колене я являюсь, мне не известно почти ничего. Полагаю, что он прожил в довольстве на принадлежащих ему землях (нищие редко оставляют следы в истории) и в назначенный час был похоронен в своем приходе под звуки торжественной мессы. Известно, что он удачно женил двух сыновей — в кругу буржуа-патрициев и мелкой знати, к которому мой предок, видимо, принадлежал, это означало — без мезальянса как для жениха, так и для невесты. Известно также, что родом он был из Кастра, местечка, расположенного между Касселем и Байёлем, нынче это всего лишь жалкий городишка, но в чудное утро Возрождения Кастр принимал участие в активной жизни небольших городов испанской Фландрии: в нем было отделение Мальтийского ордена *, одна или несколько приходских церквей, собственное «правосудие»,

украшившее пейзаж виселицей, сохранились там, безусловно, и остатки римского поселения, давшего название местности. Была в Кастре и Камера Риторов, члены которой собирались вместе и рифмовали баллады или рондо, готовили «праздничные выходы» важных персон, сопровождавшиеся стихотворными комплиментами, ставили пьесы из Священной истории или фарсы. Позже, в Байёле, один из моих предков станет «принцем, юным сердцем» местной Камеры Риторов. Кленверк в 10-х годах XVI века, должно быть, тоже участвовал в забавах буржуазии, которая еще умела веселиться сама, тогда как ее потомки развлекаются тем, что смотрят, как движутся на экране заранее изготовленные тени.

Имена невесток порою уточняют положение или особенности этих прочных и незнатных семей. Старший из сыновей упомянутого Кленверка, Никола, как и отец, женился на Маргарите де Бернаст, я потомок именно этой семьи. Младший взял в жены Екатерину Ван Кастр, из ее семейства, кажется, пошла ветвь, обосновавшаяся в Турне, позже она дала Жаклину Ван Кастр де Рубенс *, в безвкусном, затканном золотом наряде она угрюмо смотрит на нас с посмертного портрета. От второго брака мужа этой самой Жаклины, Мишеля де Корда, который исполнял важные обязанности при эрцгерцогах, происходят предки первой жены моего отца. Сын Никола-старшего в свою очередь женился на некоей Маргарите Ван Кастр. Я привожу эти факты для того, чтобы с самого начала показать, как сложно переплетались

имена, кровь и имущество, как три десятка семей, в течение трех веков пережившиеся между собой, соткали густую человеческую сеть.

Потомки первого Никола вступили в брак кто с Пьером де Виком, шталмейстером, кто с Екатериной Дамман из старинной судейской семьи, кто с Жаком Ван дер Валле, казначеем города Дюнкерка, выходцем из обширного рода, чье имя переводится на французский как Де Голль, кто с Филиппом Бургундским, шталмейстером, кто с Жаком де Бавелар де Биренхоф, «благородного происхождения», а кто с Жанеттой Фоконье, с Жаком Ван Белле, с Праделем Ван Пальмартом, их имена я вольно раздала героям «Философского камня» *. Мой предок Мишель — он первым носил имя, которое затем непременно давали в семье старшему сыну, — в 1601 году взял в жены Маргариту де Варнейс. Их отпрыск, Матьё, балы в Кастре, сочетался браком с Полиной Лаурейнс де Годсвельде, дочерью Жозины Ван Дикеле. Следующий Мишель, тоже балы в Кастре, женился на Марианне Ле Ге де Робек, владелице Форестеля, дочери королевского советника и дамы Байенгем из Вирквейна, чей отец был королевским наместником в окружном суде в Сент-Омере. Остановимся на этом. В этих незнакомцах привлекает только поэтичность их фламандских имен, кое-где пересыпанных французскими фамилиями. Когда я перечисляю их, мне кажется, я провожу рукой по равнинам, ложбинам и холмам страны, которая часто меняла господ, но где прочность человеческих уз, по крайней мере до сума-

тохи двух великих войн нашего века, удивляет современного наблюдателя.

Кто были эти Кленверки? Фамилия их, которую они удлинили только в начале XVIII века, значит либо «маленькая работа» в смысле «маленького заработка», либо «не утруждай себя», что более живописно. Английская фамилия Дулитл, которую Бернард Шоу в «Пигмалионе» дал мусорщику, произведенному в философы, является почти точным ее эквивалентом, не существующим во французском языке. Так что я могу представить, как в эпоху, когда фамилии стали входить в обиход, то есть в XII или XIII веках, мои предки упорно трудились на маленькой ферме, прилежно занимались каким-нибудь ремеслом или скромной торговлей, быть может, даже торговали вразнос, бродя из деревни в деревню, подобно прелестному маленькому продавцу из стихотворения Карла Орлеанского («Маленький галантерейщик с маленькой корзинкой, я собираю грошик к грошу; Мне далеко до венецианских богачей») *, поправляя плечом корзину за спиной и порой страдая от нападения сторожевых собак. Или же, если мне захочется, я могу представить себе красивых парней, осушающих кружки пива в увитой зеленью беседке и твердо решивших не убиваться на работе.

В то время, когда мы встречаемся с Кленверками, они, кажется, принадлежат к весьма многочисленному во Фландрии классу *Neegen*¹, мелких

¹ Господа (*флам.*).

земельных владельцев, потихоньку прирезающих себе старинные феодальные владения и захватывающих крестьянские надель. Современные историки считают, что эти Неетен были преуспевшими купцами, так оно и было в некоторых городах, которые станут затем бельгийскими, — Антверпене, Генте или Брюгге. Это справедливо также в отношении Арраса, где импортеры вина и кожевники издавна пополняли патрициат. Но в Касселе не было ни процветающих банков, ни крупной торговли. Среди моих предков я нахожу только одного богатого торговца, Даниеля Фаурмента, купца с княжескими замашками, но он был выходцем из торгового Антверпена. Я бы предположила скорее, что крупный достаток Кленверков создавался постепенно, шаг за шагом, благодаря покупке земель и ссудам, которые выдавались ими через подставных лиц, подобно тому, как во Франции для благородного Монлюка этим занимались еврей-посредники. Управление собственностью церкви или крупных сеньоров в то время тоже было способом обогатиться, и порою даже честно. Следует также помнить о долговых обязательствах городов, об участии в прибылях сельских фабрик или о спекуляции на больших ярмарках, об аренде городских домов, из всего этого складывались доходы крупной буржуазии эпохи уже весьма беспощадного капитализма Ренессанса.

Байёль, где обосновались мои предки, в средние века имел представительство в Лондоне вместе с восемнадцатью другими городами фламандской ган-

зы: его корабли, торгуя полотнами, добирались до Новгорода. Возможно, что Кленверки извлекали выгоду из выращивания льна и выделки льняных тканей в мастерских, где работали крестьяне, производя тонкое или грубое полотно, шедшее на рубашки для богачей и бедняков, на простыни, служившие сну и любовным утехам, наконец, на саваны. В наше время, когда белье делается из синтетики, культура льна становится все более редкой: я с наслаждением вспоминаю, как несколько лет назад шагала по полю, голубому, словно небо и море, в окрестностях какой-то андалузской деревушки, теперь мне это кажется скорее сном, чем реальностью. Мне было бы приятно, если бы не слишком поэтичным Кленверкам первые эю принес бы лен в цвету, лен, замоченный в каналах Фландрии, белоснежный лен, явившийся на свет из бурой клейкой оболочки.

У всех, о ком я рассказываю, был герб, порой пожалованный каким-нибудь фламандским графом или бургундским герцогом. Позже испанские короли не скупались на дворянские грамоты и гербы тем, кто поспешествовал правому делу, то есть своим сторонникам. Убийца Вильгельма Оранского * получил дворянство посмертно. Однако в большинстве своем гербы присваивались самочинно, как о том свидетельствуют геральдические трактаты того времени. Малоизвестно и то, что правовой порядок в геральдике был наведен гораздо позже и что в конце средних веков во Фландрии, пожалуй, чаще, чем где бы то ни было, каждое мало-мальски значительное семейство придумывало себе гербы

и украшало их по своему вкусу с тем же удовольствием, с каким ныне президент какого-нибудь концерна составляет всевозможные аббревиатуры.

Именно в конце XV века тоска по уходящему средневековью овладевает теми, кто обладал хоть сколько-нибудь живым воображением, породив такие шедевры исторического романтизма, как турниры, рыцарские романы, миниатюры «Сердца, охваченного любовью», кульминация же ее приходится на следующий век — то были героические безумства Дон Кихота. Она порождает также увлечение геральдикой. Гербы фамилий, о которых у нас сейчас идет речь, так часто соединяют свои цвета, знаки, фигуры и предметы, что невольно возникает предположение, что между ними существовали альянсы куда более давние, чем известные нам. В детстве старые родственницы уверяли меня, что дрозды, символ перелетных птиц, означали паломничества и крестовые походы, а звезды — об этом я узнала с огорчением — были совсем не те, что мы наблюдаем на небе, они обозначали шпоры предполагаемых воинственных родственников.

Паломничества совершали так часто, что у любого из нас, несомненно, есть предки, отправлявшиеся в Рим или Компостелу*, отчасти из набожности, отчасти чтобы посмотреть мир и затем по возвращении рассказать, привирая, о пережитых приключениях. Что до крестовых походов, то вслед за господами по дорогам рассеялось столько пеших и конных, столько распутников, набожных вдов и заблудших де-

виц, что все мы можем похвалиться тем, что наши предки участвовали в этих замечательных вылазках. Паломники видели волнующиеся поля пшеницы вдоль дорог в Венгрии, страдали от ветра и волков в каменистых ущельях Балкан, столкнулись с теснотой и торгашеством в портах Прованса, стали свидетелями того, как под шквальным морским ветром, словно языки пламени, трепетали княжеские орифламы, посетили золотой Константинополь, истекающий драгоценными камнями и выколотыми глазами. Увидав святые места хотя бы раз и издали, человек чувствовал себя спасенным, и если ему удавалось вернуться домой, он мог вспоминать о своем путешествии на смертном одре. Паломники познали темноволосых дев, отдававшихся добровольно или взятых силою, поживились добычей, захваченной у неверных турок или греков-раскольников, отведали сладко-горьких апельсинов и лимонов, столь же неизвестных в их родных краях, как райские яблоки, испытали, что такое бубоны, раскрашивающие кожу фиолетовыми пятнами, и дизентерия, изнуряющая тело, они корчились в агонии, покинутые всеми, видя и слыша, как вдали толпа продолжает свой путь, поет, молится, богохульствует, и им казалось, что вся сладость и чистота мира заключены в недоступном глотке воды. Мы не первыми увидели летнюю пыль Малой Азии, ее раскаленные добела камни, острова, пахнущие солью и пряностями, нестерпимо синие небо и море. Все уже было испытано и опробовано тысячу раз,

часто об этом просто не говорили, или же сказанные слова не дошли до нас, а дойдя — стали невнятными и перестали волновать. Подобно облакам в чистом небе, мы возникаем и рассеиваемся в глубине забвения.

* * *

Из-за существующей традиции передавать имя от отца к сыну нам ошибочно кажется, что с прошлым нас связывает только тонкий стебель, на который в каждом поколении прививаются имена жен. Считается, что они представляют второстепенный интерес, разве когда столь блестящи, что ими можно покичиться. Слова «происходить от кого-то по женской линии», особенно во Франции, где правил салический закон *, воспринимались почти как шутка. Кто — за редким исключением — знает имя деда по материнской линии отцовской прабабки? Однако человек, носивший это имя, столь же значим в образующем нас сплаве, как и предок, чье имя мы унаследовали. С отцовской стороны — а именно она интересует меня в данном случае — у меня были четыре прадеда в 1850 году, шестнадцать прапрадедов во II году *, пятьсот двенадцать в эпоху юности Людовика XIV, четыре тысячи девяносто шесть — при Франциске I, около миллиона по смерти святого Людовика. Эти цифры можно оспорить, учитывая переименование родов, часто один и тот же предок находился на пересечении разных линий, подобно тому как от одного узла может отходить множество нитей. Вообще же мы

наследники целой страны, целого мира. Лучи угла, в вершине которого мы находимся, раскрываются в бесконечность. Если взглянуть на генеалогию с этой точки зрения, то оказывается, что наука, так часто служившая человеческому тщеславию, сперва воспитывает смирение благодаря осознанию нашей малости в сравнении с множеством, с массой, а затем вызывает головокружение.

Я говорю здесь только о кровных узлах. Если же иметь в виду передачу признаков, не поддающихся анализу, то мы — единственные наследники всей земли. Греческий поэт или скульптор, римский моралист, родившийся в Испании, художник, происходящий от флорентийского нотариуса и служанки гостиницы в апеннинской деревушке, эссеист из Перигора, мать которого была еврейкой, русский романист или скандинавский драматург, индийский или китайский мудрец, возможно, повлияли на наше формирование сильнее, нежели мужчины и женщины, чьими вероятными потомками мы являемся, будучи одним ростком из миллиарда зародышей, погибающих без толку в пещерах тела или в супружеских простынях.

Я не стану тратить время на то, чтобы проследить из поколения в поколение за Кленверками, постепенно ставшими Креанкурами. Семья как таковая интересует меня меньше, чем род, род меньше, чем группа, совокупность индивидов, живших в одном и том же месте в одно и то же время. Я хотела бы отметить аналогии, повторы, совпадения и, напротив, расхождения в судьбах

известных мне потомков Кленверков, хотела бы воспользоваться безвестностью и заурядностью большинства моих героев, чтобы обнаружить действие некоторых законов, обычно скрытых от нас, когда на авансцене истории находятся слишком значительные действующие лица. Терпение! Чересчур быстро добираемся мы до тех, кто во времени совсем от нас близко, нам кажется, что о них нам почти все известно; слишком быстро добираемся мы до самих себя.

Прежде всего следует поставить крест на большинстве альянсов с испанцами, это всего лишь легенда, прочно бытующая во многих семьях на севере Франции. Из всех изученных мною лишь два брака оказались подлинными, но они не касаются меня напрямую, подобные союзы заключались главным образом в среде высшей аристократии, усердно посещавшей Мехелен, Вальядолид, Мадрид, Вену и их дворы. Не приходится также особенно рассчитывать ни на адюльтерные похождения арагонских или кастильских капитанов-соблазнитель, ни на более грубые забавы солдат герцога Альба или Александра Фарнезе: в их армиях было столько же, если не больше, тевтонов, албанцев, венгров и итальянцев, что и обладателей *sangre azul*¹. То же справедливо и в отношении латинской крови, которой наивно-мелкое тщеславие наделяло всякого француза, по крайней мере в те времена, когда политический флюгер смотрел на юг:

¹ Голубая кровь (*исп.*).

римские солдаты, защищавшие от варваров Кастр или Баве, чаще всего сами были варварами. Следовало бы проверить и другие экзотические родственные связи. У Бисвалей бытовали на этот счет две противоречащие друг другу легенды: согласно одной, они происходили от дворянина — торговца стеклом из Богемии, поселившегося во Фландрии; по другой версии, сообщенной моему деду непосредственно его матерью Рен Бисваль де Бриард, их предок был швейцарским офицером на французской службе и, стало быть, мог сражаться при Мариньяне или Серизоле, ибо Бисвали обосновались в Байэле уже в конце XVI века. Ван Эльсланды считали, что происходят от венгерского рейтара, который предпочел фламандский уют маршам и контрмаршам императорских армий, но доказательств этому нет. Среди моих предков была некая Маргарита Франета, итальянское, испанское или португальское звучание ее имени погружает меня в мечты, но о ее близких я ничего не знаю.

Другие союзы, напротив, не вызывают ни малейшего сомнения. В 1643 году мой предок Франсуа Адриансен берет в супруги женщину с именем, вызывающим в памяти роскошные формы, запечатленные на фоне мифологического или буржуазного декора, — жительницу Антверпена Клер Фаурмент. Дальняя родственница выходит замуж за Гийома Вердегана, как говорят, потомка угрюмого Роджера Мортимера, убийцы короля, упомянутого в драме Марло *. Это, разумеется, легенда, но кажется, что изгнанники во время войны Двух Роз порою укрывались во Фландрии, и

прежде всего в Брюгге, подобно тому как это было с английскими беглецами в XVII веке. Кстати, уверенности в том, что они пустили здесь свои корни, нет. Среди моих предков — дочь бургомистра Брюгге в 1596 году, но он стал им четверть века спустя после событий в «Философском камне», и было уже слишком поздно, чтобы прийти на помощь Зенону * или обвинить его. Порою, подобно тому как факелы кортежа, проходящего по тихой улочке, бросают отсветы на окна уснувшего дома и стекла дрожат от грохота барабанов и дудок, так и история вдруг выхватывает из тьмы и высвечивает ничем не примечательное семейство.

Из записей секретаря суда, к сожалению неполных, я узнаю не только о брачных договорах. В 1603 году моему предку Никола Кленверку, магистрату в Касселе, пришлось судить своего брата Жосса, изобличенного в убийстве и содержавшегося в предварительном заключении во францисканском монастыре. То, что вместо общей тюрьмы он оказался в монастыре, уже воспринимается как милость. Но наши сведения этим и ограничиваются. Романист, каковым в данном случае я не являюсь, мог бы вообразить судью в духе корнелевских трагедий (еще до Корнеля), применившего закон со всей суровостью и не поддавшегося братским чувствам, или, напротив, представить судью мягкосердечного, помогающего бежать обвиняемому, или же создать персонаж в бальзаковском духе — негодяя, состряпавшего все это дельце, чтобы избавиться от младшего брата и самому завладеть наследством. Эти разно-

образные и рискованные предположения едва ли приведут нас к истине, ибо нам неизвестны мотивы и обстоятельства преступления. Самое большее — мы можем предположить, что этот Жосс был горячей головой.

Я уже говорила, что в семье было мало военных. Матерью Мари де Байенгем была некая Занкен, происходившая от отважного торговца рыбой из Вёрне, разгромленного во главе своих единоверцев французскими рыцарями под стенами Касселя: богачи, готовые выложить монетами церковные стены, порою происходили от взбунтовавшихся оборванцев. Жан Мас, один из моих предков, пал от руки герцога Лотарингского при Муртене, защищая знамена Карла Смелого. Его сын погиб двумя годами раньше в битве при Ваттендамме. Уже упоминавшийся мною Франсуа Адриансен, вступивший добровольцем в армию Филиппа IV, короля Испании, и купивший на свои средства двух лошадей, участвовал в обороне Лувена, грабеже Эра, осаде Эдена. Его сын тоже был военным. Пять воинов, трое из которых погибли, — это мало в такой стране за пять веков.

Вопреки тому, что можно было бы предположить, немного среди моей родни и церковников. Преподобный отец Франсуа Матьё Бисваль смотрит на меня умными темными глазами. У него тонкие, чуть вяловатые черты лица. Красивые, как и у большинства служителей церкви того времени, руки. Внутренняя жизнь редко отражается на лицах: этот молодой еще человек производит впечатление владеющего собой, умеющего

обуздать свои мечты и чувства, он достаточно благоразумен, чтобы молчать и не говорить всего. Но у преподобного отца не было недостатка в энергии. Управляющий делами своего ордена, ректор поочередно в Халле, Ипре, Дюнкерке и Байёле, Франсуа Матьё заново отстроил в Байёле коллеж, сожженный войсками Людовика XIV, и заставил местные власти взять расходы на себя. Дважды его посылали в Париж, чтобы «вести переговоры о делах края, находившихся в безнадежном положении», при этом он, как говорят, выказал немало ловкости и умения. Интендант французского короля созвал ректоров различных коллежей и семинарий Фландрии, чтобы запретить им всякие сношения с главой ордена и обязать их впредь обращаться только к французскому управляющему провинцией. В тот же вечер Франсуа Матьё отправил тайного посланца на территорию империи, чтобы сообщить новость своему руководству, которому удалось добиться от короля Франции более мягкого решения. Этот священник, проявив немало сметки в делах своего века, умер двадцать лет спустя в Антверпене, решив окончить свои дни в провинциях, оставшихся испанскими, и, разумеется, сохранив верность тому, что принято называть старым режимом.

Не много было среди моих родных и монахинь, до нас не дошло ни одного их изображения, возможно, благочестивые дамы считали непристойным позировать художнику. Тайственный портрет, где модель изображена в монашеской одежде, — это

портрет девушки, умершей в 16 лет и не принявшей еще обета. Моя двоюродная прабабка, маленькая Изабелла Адриансен, дважды изображена во весь рост в традиционном одеянии монашеского ордена, куда поместили сироту: ее большое зеленое бархатное платье с жесткими складками, украшенное огненными лентами, кажется более старинным, чем эпоха, в которую жила его владелица: можно подумать, что портрет написан при Людовике XIII, а не Людовике Любимом *. У нее нежное круглое лицо с неопределившимися детскими чертами; губы не научились улыбаться. Бледная бледность и роза, которую она держит в руке, напоминают веласкесовских инфант, хотя прекрасный провинциальный художник, запечатлевший воздушный силуэт Изабеллы, разумеется, никогда их не видел.

Не могу я похвалиться и мучениками. Я просмотрела списки казненных и изгнанных в Смутные времена. В них, кажется, можно найти все фамилии этой истерзанной страны. Мне встретилось несколько имен, имеющих ко мне отношение, но ни одно из них я не могу вновь посадить на нужное место в генеалогическую грядку, откуда его, должно быть, выволокли со всей тщательностью. Несколько братьев Жерома де Байенгема в конце XVI века уехали из Сент-Омера в Англию, возможно, по религиозным соображениям: мы потеряли их из виду. В целом Кленверки, их родные и близкие — за порядок на улицах и в церкви. Убийства священников, высадка англичан-проте-

стантов, готовых помочь изгнанникам и подозрительным личностям, укрывшимся не только в лесах Мон-де-Ка, но и на совсем близкой Мон-Нуар, — все это их беспокоит и возмущает. Мятежники же, подобно кельтам, эмигрировавшим с вождем атребатов Коммом, подобно шуанам или участникам Сопrotивления в наши дни, своим героизмом бросают вызов местным врагам или заморским тиранам, покидают, если нужно, родину и возвращаются при поддержке иностранных союзников. Буржуа, пьющие за здоровье герцога Альба, видят в этих бунтарях только подонков и мерзавцев, сбившихся с пути молодых людей, распутных монахов-расстриг, соблазненных дураков-крестьян и нескольких заблудших дворян, подкупленных золотом Елизаветы Тюдор *. Эшевены Байёля, действующие заодно с трибуналом в Брюсселе, порой краснеют от того, что их обвиняют в недостаточном рвении при расправе с мятежниками. Эти католики, прилежно посещавшие мессу, не задавались вопросом, не является ли церковная роскошь оскорбительной для нищих и убогих, не задумывались над тем, не нуждаются ли монастыри, откуда монахи удирают под любым предлогом, чтобы бродить по свету, если не в Реформе, то хотя бы в реформах.

Примерно в 1870 году Эдмон де Кусмакер, кузен одной из моих Прабабок, в своей ученой книге изобразил эту горстку еретиков как достойный презрения сброд, отрицая мужество казненных и красоту псалмов, отважно распеваемых протестантами в ночи при выходе из церкви. Не

смущает его и запах гари от сожженных ферм, пристанищ мятежников. Не он один вот так затыкает себе нос. Для оправдания бесчинств, допущенных партией, к которой ты принадлежишь, применяется очень простая техника, и состоит она в следующем: с одной стороны, шельмование жертв, с другой — уверения, что казни были необходимы для поддержания порядка, что их было, кстати, меньше, чем говорят, и что они были вполне в духе времени. В нашем случае это значит, что во внимание не принимаются ни Себастьян Кастельон, ни Монтень. Подобная апологетика использовалась не только для оправдания преступлений папистов или гугенотов: и в наши дни фанатики и спекулянты от идеологии лгут точно так же.

Мартин Кленверк, эшевен-простолюдin из Мерриса, близ Байёля, не фигурирует в семейных архивах, да если бы у него и было право попасть туда, имя его, разумеется, вычеркнули бы. Надо сказать, что эта фамилия-прозвище была весьма распространена во Фландрии: Кленверки из Кастра, Байёля или Метерена могли слыхом не слыхивать о Кленверках из Мерриса или же относиться к ним с высокомерием. Что до меня, то я бы охотно предположила, что у всех этих «себя-не-утруждавателей», проживающих друг от друга в радиусе десяти лье, был общий предок. Но это неважно. Не разделяя взглядов Мартина на культ Девы Марии или малое число избранных (хотя, бросив взгляд на нынешнее состояние мира, мы поймем, что в этом, последнем случае он прав), я

считаю бесстрашного протестанта своим кузеном. Однажды жарким июньским днем по пыльной дороге, обсаженной, однако, зеленым хмелем, ветви которого отбрасывают некое подобие тени, Мартин отправляется пешком из тюрьмы в Байёле на Воронью гору, место казни, где ему должны отрубить голову. Там он, несомненно, найдет останки многих своих единоверцев, зарубленных до него. Ему, кстати, повезет: только благодаря должности эшевена он, мужлан и деревенщина, избежит худшего. С ним не поступят, как с мятежником Жаком Визежем, буржуа из Байёля, которого сначала высекут на каждом углу Большой площади, а затем, израненного, бросят в горящий в центре костер. Мартин умрет достойно и, как он надеется, от одного удара. Он не замешан ни в каком убийстве, он не разбивал ничьих статуй: преступление его состоит в том, что он ходил из дома в дом, с фермы на ферму, прося о взносах, чтобы собрать положенную ему часть суммы в три миллиона ливров. С помощью этих денег его единоверцы надеются добиться от короля Филиппа свободы вероисповедания. Простак Мартин поверил в эти рассказы.

Вероятно, на смертном пути на нем, как всегда, большая фетровая шляпа и голубые гетры, которые он носил во время поездок по деревням, это был отличительный знак, принятый между его сторонниками. Ему хочется пить: по дороге, ведущей на Воронью гору, крестьяне порой предлагают осужденным стакан воды или даже пива, но, быть может, для еретика они этого не сделают. Из-под его

шляпы струится пот, капли мочи прочертили на штанах дорожку, это признак телесной муки, справиться с которой полностью не может даже мужественный человек. Самая беда в том, что государство конфисковало его имущество, оцененное в пятьсот двадцать ливров. Его казнь, согласно подсчетам, старательно занесенным в официальный реестр, обойдется казне в десять ливров и десять денье: как видим, государство не останется внакладе. Сожжение обошлось бы дороже: девятнадцать ливров и тринадцать су ушло на еретика и разбойника, казненного недавно, и еще казначей не засчитал девятнадцать су за факел, принесенный палачом, ссылаясь на то, что можно прекрасно разжечь костер с помощью углей. Это немножко дольше, и только. Умрет ли Мартин утешенный верой в Кальвинова Бога, воодушевленный праведным гневом против глупости судей или же распрощается с жизнью разбитый и сломленный, не заботясь больше о том, что станет с женой и детьми, оставшимися без скота, без полей, без гумна? Мы никогда об этом не узнаем. Пусть продолжает он свой путь в окружении надсмотрщиков.

* * *

Примерно двенадцать семей делят между собой власть в Байёле. Государственные мужи — в том смысле, что Жан де Витт был премьер-министром Голландии, поверенные, то есть адвокаты, стоящие во главе городского совета, усмирители — имеются в виду судьи, которым поручено

поддержание порядка, и порою весьма жесткими методами, эшеваны, то есть одновременно муниципальные советники и судьи по гражданским и уголовным делам, — эти господа, разумеется, предпочитают, подобно Цезарю, быть первыми в маленьком городке, нежели вторыми или сотыми в Риме. Все они богаты, особенно казначей, город рассчитывает, что в случае дефицита он ссудит казну деньгами. Положение примерно одинаково в Булони, Дюнкерке, Ипре, где Адриансены являются благородными эшеванами. Чтобы отыскать отца и сына, советников герцогов Бургундских, то есть занимающих должности не на городском, а на государственном уровне, надо добраться до позднего средневековья. Позже, при французах *, эти господа, став советниками парламента, не выбираются из своей провинциальной глуши. Отсюда — несколько тяжеловатая уверенность в себе, почти крестьянская неспособность стать другим или представить себя в другом месте, но одновременно, быть может, независимость или по крайней мере скептицизм по отношению к меняющимся правителям, воспринимаемым как иностранцы, а также полное и весьма приятное отсутствие спеси. Надо пожить в маленьком городке, чтобы понять, как там обнажены все пружины происходящего, до какой степени драмы и фарсы общественной и личной жизни выставлены на всеобщее обозрение. Результатом этого является любопытная смесь непреклонной честности и цинизма. Эти люди, чувствующие себя владыками там, куда достигает тень от их дозорных башен и

где простираются их зеленые поля, показались бы Сен-Симону * ничтожествами, случись ему заговорить о них. Напротив, в их глазах вельможи, торчащие в покоях короля при его пробуждении, выглядели бы слугами.

Как бы ни был человек привязан к определенному уголку земли, ему приходится испытывать на себе последствия махинаций деяг, называемых большой политикой, и безумств сильных мира сего, называемых войной. Гийом Ван дер Валле, предок моих предков, в 1582 году отправляется к осажденному Турне, чтобы умолить герцога Пармского пощадить Байёль. Он умер, вероятно, от какой-нибудь лихорадки во время своего посольства, и просьба его услышана не была: в том же году Байёль был на три четверти разрушен солдафонами Александра Фарнезе *. Частично отстроенный жителями, город вновь был разграблен и сожжен в 1589 году. Следом за войной идет голод, город насчитывает погибшими или уехавшими две трети обитателей. В перерыве, то есть в 1585 году, Шарль Бисваль подписывает мирное соглашение между Байёлем и королем Филиппом II. Годом раньше он подписал также грамоты, сопровождавшие посланную Фарнезе взятку в размере восьми тысяч ливров, чтобы добиться для города, лишенного средств, возможности возобновить торговлю с протестантскими Нидерландами. XVII век был не лучше, Фландрия страдает от последствий Тридцатилетней войны. Байёль снова горит в 1657 году, подожженный солдатами Конде. Пожары сменяются чумой. Еще один Шарль Бисваль, сын пре-

дыдущего, казначей, эшевен и поверенный в Байёле, умирает во время эпидемии в 1647 году вместе с двумя детьми, которые были у него от Жаклины де Кусмакер; она сама погибнет в 1681 году во время пожара, затеянного мимоходом французскими войсками.

В 1671 году Никола Бисваль, первый эшевен, и Жан Кленверк, поверенный в Байёле, ждут во главе городской магистратуры прибытия короля Франции, который должен вступить во владение вновь завоеванными землями. Никола Бисваль в строгом коричневом одеянии, в простом парике выглядит величественно: жесткий рот и орлиный нос принадлежат человеку, который не уступит своих позиций. Портрет Жана Кленверка не сохранился. На лицах обоих магистров — ни тени улыбки. Казалось бы, фламандцам должно было смертельно надоеть испанское владычество, но давняя преданность, порожденная от верности бургундскому дому, привязывает их к Габсбургам *. Карл V *, уничтоживший защитников Теруанна и стерший город с лица земли с виртуозностью и методичностью современного завоевателя, кажется, не возмутил добрых жителей соседних поселений: никто не воспринял как горькую иронию то, что исключение было сделано лишь для особо почитаемого распятия, надлежащим образом перенесенного в церковь в Сент-Омере. Изображение человека, объявившего своим последователям, что кроткие наследуют землю, видало и не такое. Жестокости герцога Альба отнюдь не смутили этих любителей порядка, а бесчинства рейтаров Александра Фар-

незе почти что стерлись из памяти. Воспоминания о солдатах Конде, напротив, обжигали по-прежнему. Тонкие политики, местные жители чувствуют, что, несмотря на радостный перезвон колоколов, встречающий прибытие Людовика, беды и горести еще не кончились. Прежде всего они чувствуют, что на их старинные привилегии почти вольного города покушаются королевские интенданты.

Так оно и происходит. Военная свистопляска продолжается. По Нимвегенскому договору этот кусок земли окончательно отходит к Франции, но шествие полков под разудалую музыку Люлли *, грабежи и пожары продолжают до заключения Утрехтского мира *, то есть в течение тридцати пяти лет. Они превращают фламандских крестьян еще в большей мере, чем всех остальных, в несчастных животных, описанных Лабрюйером * в эпоху, когда, по словам одного поэта XIX века, заходящее солнце Великого Короля, «столь прекрасное, золотило своими лучами жизнь». В то время, когда даже добряк Фенелон *, отвечая офицеру, замученному угрызениями совести, довольствовался тем, что советовал тому умерить по возможности аппетиты его подчиненных, ибо грабеж считался необходимым подспорьем в солдатской кормежке, в то время доходы землевладельцев в натуральном виде сильно сократились, а похлебка стала еще жиже. Городской патрициат реагирует на вторжение французского интендантства тем, что скупает наследственные гражданские должности, пущенные в продажу новой администрацией. Это сопряжено с расходами, но таким образом удастся остаться в

своим кругу. Я говорила уже о приказе зарегистрировать у Д'Озье семейные гербы, это новое постановление, распространившееся, кстати, на всю Францию, было предназначено для того, чтобы хоть как-то пополнить королевскую казну. Бисва-ли, между прочим, отказались подчиниться: быть может, они не верили в прочность французского режима. Интендант мог сколько угодно поднимать на смех несчастных горемык, не способных заплатить долги, все было напрасно. Другие семьи, например Кленверки, более послушные, повиновались скрепя сердце и кошелек. Это было также время, когда король, оказавшись без гроша в кармане, пустил в продажу пятьсот дворянских грамот по шестьсот ливров за штуку. На эту приманку, если можно так выразиться, клюнул только один фламандец.

Земля выздоравливает быстро во времена, когда человечество еще не в состоянии разрушать и загрязнять ее в больших масштабах. Люди сплачиваются и вновь берутся за дело с усердием насекомых, которое не то вызывает восхищение, не то является признаком глупости. Кажется, что второе определение — более подходящее, ибо уроки, извлеченные из опыта, обычно ничему не служат. Несмотря на несколько тысяч плутов в военной форме, пущенных в расход под командованием Вильруа, Мальбрука или Фридриха II, что позволило избавить мир от их, как бы сказал Панглосс *, надоедливого присутствия, XVIII век — одна из самых сладостных и отрадных для жизни эпох. Но древняя Фландрия пошла в ногу со вре-

менем: прежние красновато-коричневые с золотом тона уступили место французской гризайли. Старый патрициат превращается в дворянство мантии. Прежние обильные застолья и народные гулянья сменяются праздниками, на которых улице нет места. Байёль переходит в разряд почтенного провинциального захолустья, во все времена дорогого сердцу французских романистов, где более или менее титулованные магистраты и мелкая знать, предпочитая городской комфорт неудобствам своих владений, играют в трик-трак при свете свечей в серебряных канделябрах. Народная жизнь сохраняется прежде всего в предместье Амбахт, где трактиры дешевле, чем в городе, где пивовары варят пиво, ткачи ткут на дому, а кружевницы, склонившись над подушечками, выписывают пальцами утомительные танцы. Амбахт поставляет также некоторый элемент неприличия или, попросту говоря, чуточку вульгарные удовольствия, этакую шантрапистую закваску, необходимую для всякого порядочного города. В 1700 году отец и сын знатного происхождения убиты в гостинице, виновные повешены, жертв отпевают в Сен-Васте, и Никола Бисваль аккуратно заносит в записную книжку три ливра, полученные им за хоругвь и покров на гроб при похоронах по первому разряду, этот сбор позволял казначею отчасти возмещать свои расходы по финансированию общественной казны.

Именно тогда некоторые из этих господ удлиняют свои имена, и словно по случайности второе имя — почти всегда французское. Кленверки ста-

новятся Кленверками де Креанкур благодаря маленькому виконтату, находящемуся в ведении кассельского суда. Бисвали той ветви, от которой происхожу я, называются теперь Бисваль де Бриард. Барты именуются впредь Барт де Невиль. Французский является языком культуры и свидетельствует об определенном социальном положении, пользоваться им стали задолго до завоевания страны Людовиком XIV. Переписка между Байёлем и нидерландской регентшей в XVI веке почти всегда велась именно на этом языке. Но в XVIII веке в нотариальных актах, дневниках, ведущихся главой семьи, надгробных надписях царствует фламандский. Камеры Риторов, даже в бельгийских провинциях повсюду находящиеся в упадке, вызывают подозрение у французских властей, которые не без основания считают, что в них сохраняют верность прежним господам, но, вероятно, на обоих языках рифмуют столько же дурных стишков, как и прежде. В брачных договорах и описях имущества перечисляются серебряные блюда и кропильницы, золотые кресты и бриллианты, о книгах в них не упоминается, однако толстые тома на французском, латыни и реже на голландском то здесь, то там выстраивают в ряд свои тисненные с позолотой сафьяновые переплеты. Экслибрис Никола Бисваля украшен его гербом, считавшимся незаконным, что не мешает преспокойно выставлять его напоказ. Мишель Донасьен де Креанкур заказывает себе экслибрис в Париже, вокруг герба кудрявятся нимбом купидоны в стиле рококо.

Наиболее старые фамильные портреты также датируются временем присоединения к Франции. Все, относящиеся к предыдущей эпохе, за двумя-тремя исключениями, видимо, погибли в фейерверках войны. О мужчинах речь уже шла или пойдет в соответствующих местах, здесь же уместно вспомнить о некоторых женщинах. Констанция де Бан, одна из моих прапрабабок, поддерживает красивыми руками облако муслина, едва прикрывающего ее полную грудь; лицо, скорее некрасивое, уже не очень молодое, с живыми глазами и большим смеющимся ртом, своеобразно и горделиво. Я представляю себе гостеприимную хозяйку дома, которая пьет и ест наравне с гостями, ни в чем им не уступая, смеется их рискованным шуткам, но при этом Даниэль Альбер Андриансен, ее муж, может не опасаться мимолетных капризов этой порядочной женщины. Изабелла дю Шамбж, дальняя родственница, одета Гебой *; голубая бархотка а-ла Натье * украшает ее прелестную, слегка потемневшую шею. Большой позолоченный кувшин, который она держит в руке, относится к изблюбленным аксессуарам фламандской живописи после Рубенса, будь то пиршество на Олимпе, как в данном случае, брак в Кане галилейской или семейный праздник. Изабелла де ла Бас-Булонь носит имя, которое Мольер мог бы запросто дать одной из своих провинциальных маркиз, но она, отделенная от нас пятью поколениями, чарует, почти тревожит своей красотой. Ее портрет — воспоминание не то о костюмированном бале, не то о сельском празднике: она держит на коленях

лук и колчан, напоминающие об Амуре, но от ее безразличия и бледности веет лунным холодом. Тоненькая, она держится прямо в придворном платье времен Людовика XV и больше похожа на нимф Приматиччо*, чем на изнеженные создания «Отплытия на остров Киферу»*: несколько старомодная манера провинциального художника удаляет ее от нас во времени. Что скрывает это лицо, какие образы запечатлелись в больших светлых, чуть косящих глазах? Не будем пытаться угадать. Нам известно только, что она вышла замуж за Бисваля де Бриарда и умерла в возрасте сорока шести лет.

* * *

Семейное предание гласит, что мой предок Ясент де Гёс и его жена Каролина д'Айи завещали похоронить себя рядом с алтарем в ипрском соборе, причем как можно ближе к центральной плите, на ней стоит только дата, и указывает она могилу епископа Янсена или Янсения. Таким образом, сохраняя анонимность, удалось не нарушить запреты Рима и выразить уважение к высокочтимому прелату. Действительно, люди в своем тщеславии всегда считали центральную часть нефа самым почетным местом для гниения: Ясент де Гёс, пожалуй, этим только и руководствовался. Следует заметить, что в этом крае образованием юношей занимались только иезуиты: их ученики, за исключением нескольких сумасбродов, не слишком-то увлекались янсенизмом*. От драмы изгнания до

мрачного фарса с излечением страдающих конвульсиями посмертная судьба епископа Ипрского связана главным образом с Парижем, хотя громы и молнии против него мечут из Рима. Тем не менее в глазах набожных фландрских и других христиан янсенисты с их суровостью, с презрением к своему веку, с полным, почти агрессивным неприятием компромиссов являлись живым воплощением преследуемого христианства героических времен его истории. В секретном письме, посланном из Брюсселя Жану Расину, Антуан Арно * рекомендует поэту, а точнее, королевскому историографу, другого моего предка, на сей раз по материнской линии, Луи де Картье, «истинного христианина», опасавшегося, как бы его красивый особняк в Льеже и загородный дом возле Ахена не разграбили французские солдаты. Словечко, брошенное Расином маршалу Люксембургскому, могло бы оказаться кстати. Между прочим, де Картье был примерным католиком, послушным сыном церкви, приходский священник превозносил его до небес. Это не мешало ему, как и многим другим, в узком кругу быть янсенистом.

В 1929 году я продала одному парижскому антиквару изображение тонкорукого Христа, доставшееся мне от отца. Серебряное тело Спасителя хранилось на дне шкафа и совсем почернело. Оно едва выделялось на фоне эбенового креста, на котором было распято. «Тебя облапошили, детка моя», — сказал мне сводный брат, узнав цену сделки. Но традиция, кстати, ошибочно связывающая эти фламандские распятия XVII века с янсениз-

мом, превратила для меня эту обычную и одновременно мрачную безделушку в один из тех предметов, от которых хочется поскорее избавиться. Я уже писала раньше, насколько идея предопределения свыше вроде бы согласуется с фактами, которые мы наблюдаем в нашем ограниченном во времени мире: с самого начала противоречия представлениям о справедливости, она становится попросту возмутительной, стоит только связать ее с понятием Бога-Провидения, главным свойством которого должна была бы быть доброта. Как могла бы я принять представление о Боге, умирающем не ради всех людей, когда я не приемлю представления о Боге, который умирает только ради них? Ни жалость, ни любовь не истекали из его чеканных ран. Это распятие было свидетелем только агоний, когда душевный и физический трепет торжествовал над спокойствием.

Но суровые последователи янсенизма в описываемой мною среде всегда были лишь уважаемым меньшинством. Большая часть паствы принадлежала к породе, предъявлявшей к себе не столь высокие требования. Она состояла из многочисленных разновидностей: от непроходимых скептиков, которые засыпают во время проповеди и потихонечку подсмеиваются над святой Кунегундой и святым Кюкюфеном *, но умирают, получив последнее миропомазание, исповедовавшись и причастившись — отчасти чтобы не нарушать обычаев, отчасти чтобы застраховаться на всякий случай, до изнеженного христианина времен Контрреформации, который от звуков церковной

музыки погружается в состояние приятного отупения, по пятницам устраивает замечательные постные обеды и оставляет приходу сумму денег, которой хватит до скончания веков, чтобы праздновать по нему поминальные мессы. Совет, данный антверпенцем Плантенем в его знаменитом сонете, — «Читать молитвы, выращивая сливы» — представлял для богачей идеальное сочетание набожности и благоразумия.

Мне, конечно, известно, что на обтянутых красным бархатом молитвенных скамеечках, случилось, преклоняли колена и настоящие святые. На расстоянии они едва различимы. У «благочестивых девиц», о которых часто говорится в семейных бумагах, не было, как видно, ни должного размаха, ни полета. Мария Тереза Бисваль, особа почтенного возраста, обосновавшаяся в пристройке монастыря иезуитов, в 1759 году оставила святым отцам четыреста флоринов на украшение церкви и двести флоринов — беднякам. Ее исповеднику, и только ему одному, было поручено открыть ящики ее секретера и сжечь все находящиеся там бумаги. Сомнительно, чтобы речь шла о черновых набросках трактата, посвященного молитвам. Скорее, это были старые любовные письма или переписка между двумя подружками, изобиловавшая сплетнями об их маленьком кружке.

* * *

Спустимся немного ниже, то есть ближе к аду. В 1659 году, в середине XVII века, который с

большим правом, чем средневековье, может считаться временем расцвета демонологии, Пьер Бисваль и Жан Кленверк вместе с двадцатью пятью коллегами приговаривают к пытке и выносят смертный приговор одному колдуну. Речь шла о некоем Томасе Лотене, уроженце города Метерен, неподалеку от Мон-Нуар. Этому Томаса обвиняли в том, что он заколдовывал соседскую скотину и убил ребенка с помощью отравленных слив. Преступления самые обычные: кажется, что даже в те времена, когда Асмодей, Вельзевул, Астарот и сам их король Люцифер * были у всех на языке, они оказывались способны на очень малое число злодеяний; к тому же им недоставало фантазии, ибо по части жестокости и разнообразия первенство оставалось за людьми. Несмотря на то что вся деревня выступала свидетелем обвинения, Томас не признавался. Часто воображают, что на процессах по обвинению в колдовстве судьи демонстрировали неслыханное суеверие или цинизм и что смертные приговоры сыпались как из рога изобилия. На самом деле если уж не справедливость, то законность соблюдалась. Следствие длилось два месяца. Подобно тому как в наши дни духи мертвых, вызываемые спиритами, обычно довольствуются тем, что общаются через посредство медиума, так и духи зла, которых простой смертный редко может увидеть, предпочитали совершать преступления с помощью одержимых и колдунов, что вызывало необходимость прибегать к услугам заклинателя или палача. Несмотря на обычный допрос, длившийся всего семь часов, мужлан устоял и продол-

жал молчать. Процесс затянулся бы, когда бы счастливая случайность не привела в Байёль по личным делам палача из Дюнкерка. Этот служитель закона похвалялся, что своею рукою отправил на тот свет шестьсот колдунов и колдуний. Он попросил разрешения навестить заключенного, что ему было тут же дозволено — все были просто счастливы довериться человеку искушенному.

Обследование, проведенное опытным мастером своего дела, незамедлительно выявило на теле Томаса следы сделки с дьяволом — знаменитые нечувствительные зоны, считающиеся в наше время патологией, в них можно с легкостью втыкать иголки, не вызывая у испытуемого ни крика, ни дрожи. Настоятельно возникла необходимость в допросе с пристрастием. Несколько сломанных костей, несколько порванных вен, и Томас признался во всем, чего от него ждали. Он принимал участие в шабаше, беседовал там с дьяволом после того, как по обычаю поцеловал ему задницу — таков был ритуал. От дьявола научился он тайнам колдовства и умению отравлять сливы. У дьявола, присутствовавшего в ту ночь на шабаше, было имя: его звали Арлекин.

Арлекин, Хелькен, Хилькен, Хёдле-Кёниг: j'oiе la mesnie Hielekin, mainte kloquète sonnante...¹ В те времена, когда байёльские судьи допрашивали Томаса, Арлекин на ярмарочных подмостках был всего лишь традиционным персонажем итальянской

¹ Я слышу, как компания Хилькена позвякивает колокольчиками... (*среднефр.*).

комедии, забавляя зевак прыжками, остротами и быстро вращая длинную колотушку. Но некогда его трико в желтых и красных ромбах считалось огненной одеждой, а черная маска — маской князя Тьмы. Этот Арлекин, опозоренный проповедниками, гневно возмущавшимися непристойностями в театре, в языческой Европе был соперником Лесного царя* или далекого Фракийского всадника. Под лай собак и ржанье лошадей, по горам и долам, по равнинам и болотам он мчался во главе дьявольской скачки*, и каждая ночь длилась сто лет. Фольклор еще не изучали, поэтому никто — ни ученые, ни зрители — не узнавал бога, переодетого шутом, но роковая встреча Томаса Лотена с Арлекином в ночь шабаша красноречиво свидетельствует о том, как живучи легенды в темном крестьянском сознании. Дело этого пособника демонов было заслушано. Пьер Бисваль и Жан Кленверк поставили подписи под приговором о смертной казни через сожжение. На Большой площади, уже заполнявшейся народом, соорудили костер. Но подручные, на которых была возложена доставка главного заинтересованного лица, обнаружили его, скорчившегося в углу камеры, с перебитой шеей. Разочарованную публику разогнали. Арлекин в ярости убил своего сообщника за то, что тот открыл его имя, хотя, может, он сделал это из жалости (если душе дьявола доступна жалость), чтобы уберечь его от худшего конца. Тюремщик, проявивший сочувствие или подкупленный семьей негодяя, возможно, сыграл роль демона, хотелось бы верить, что приказ он получил от Пьера Бисваля

или Жана Кленверка. Но магистраты редко вмешиваются в ход правосудия.

В большинстве своем жертвами «Молота ведьм» и других трактатов, составленных чрезмерно возбужденными демонологами и прилежно прочитанных судьями, были, разумеется, несчастные безобидные горемыки, навлекшие на себя неприязнь соседей странным видом или поведением, перепадами настроения, пристрастием к одиночеству или любой другой особенностью, пришедшейся людям не по вкусу. Томас Лотен принадлежал, несомненно, к этой категории. Но надо помнить и тех, кого приводили на шабаш — в действительности или в мечтах — прирожденная злобредность, затаенная озлобленность из-за перенесенных несчастий и притеснений, постыдные пристрастия или неутоленные желания. Проработав целый день на прополке репы в поле или в торфянике, жалкие оборванцы, собравшись вместе небольшой группкой, усаживались на корточки в зарослях вокруг горящих углей, для них эти сборища были то же самое, что наши вновь ставшие первобытными танцы, наша кричащая и скрежещущая музыка, наше курево и снадобья, вызывающие галлюцинации. Они удовлетворяют свое инстинктивное желание скапливаться подобно личинкам, они наслаждаются жаром и близостью тел, наготой, запретной в любом другом месте, вздрагивают и хихикают от непристойностей и недозволенностей. Отблески пламени, играющие на лицах несчастных, не просто предсказывают уготованную им смерть на висели-

це, этот свет идет из глубин их существа, а быть может, и из другого мира.

Тот, кто верит в Бога, может и почти должен верить в дьявола, у того, кто молится святым и ангелам, есть все шансы услышать созвучия ада. Более того, нет ничего противного человеческому разуму и логике в предположении, что может возникнуть взаимодействие, обмен между нами, одинокими островками, и другими, почти невидимыми образованиями, другими, почти неведомыми волеизъявлениями, возникшими или проникшими в нас, способными либо погубить нас, либо направить. Эта гипотеза требует доказательств в том мире, где существующие силы безразличны к человеку. Но пристрастие теологов и судей к так называемым оккультным явлениям извратило проблему: чудовищный образ воплощенного Дьявола ослепил их и не позволил увидеть, что зло более всего вредоносно, скрываясь под обычной человеческой личиной, и не нуждается ни в каком сверхъестественном антураже, сильнее же всего оно вредит, будучи совершенно незаметным или даже уважаемым. Подпись Пьера и Жана под приговором, отправляющим на пытку и казнь, быть может, неповинного невежду, столь же отвратительна, как и отравленные сливы Томаса. Полки великого Конде опустошали фламандские фермы, убивали скот и обрекали людей на чуму и голод куда успешнее, чем это могли бы сделать все подручные мессира Арлекина.

Кажется, нам придется извинить Пьера Бисваля и Жана Кленверка, ибо в те времена любой магист-

рат думал и поступал бы точно так же. Но едва ли стоит поступать и думать, как все, и не всегда это может служить извинением. В любую эпоху есть люди, которые думают не так, как все, то есть думают иначе, чем те, кто не думает вовсе. Монтень хотел бы предложить колдунам отвар морозника, а не смоляные рубашки и пылающую солому. Агриппа фон Неттесхейм *, сам заподозренный в том, что пытался исследовать мир магии, поступая как гуманист, повсюду ищущий законы, объединился с сельским священником, чтобы защитить старую женщину, обвиненную соседями в колдовстве и попавшую в руки инквизиции. Теофраст Ренодо * за десять лет до того, как мои предки подписали приговор, установил, что так называемая одержимость бесами улуденских монахинь не что иное, как истерические припадки, и один из епископов, имевший касательство к этому делу, думал точно так же.

Когда судья из расиновских «Сутяг» предлагает своей будущей невестке в качестве забавы присутствовать на допросе, очаровательная Изабелла поступает точно так же, как она поступила бы в наше время, когда, к сожалению, ей могли бы предложить точно такое же развлечение. «Страданий самый вид я выношу едва. — Так можно скоротать часок, а то и два». Типичный диалог, и чувствуется, что Расин на стороне Изабеллы. Пьер Бисваль и Жан Кленверк, напротив, думали, как все, то есть были больше похожи на судью Дандена, чем на Монтеня. Мы об этом уже догадывались.

Мне бы хотелось иметь предком воображаемого Симона Адриансена из «Философского

камня», судовладельца и банкира, симпатизировавшего анабаптистам, незлобивого рогоносца, умершего в экстазе набожности и всепрощения в мрачном Мюнстере, то бунтующем, то усмирённом. На самом же деле первый из моих предков Адриансенов, следы которого мне удалось найти, жил три четверти века спустя после этого великодушного праведника, и не во Флиссингене, а в Ньивпорте, где в 1606 году в церкви святого Мартина он женился на Екатерине Ван Тун. Это все, что о нем известно, и нет никаких сведений о том, родился ли он в маленьком морском порту, окруженном дюнами, или был уроженцем иных мест. Семья затем обосновалась в Ипре.

Фамилия, означающая «сын Адриана», встречается в Нидерландах довольно часто. Сохранившиеся документы не позволяют мне претендовать на какое-либо родство с братом Корнелиусом Адриансеном, францисканцем, он жил в середине XVI века и был изгнан из Брюгге за то, что с чрезмерной нежностью перевоспитывал кающихся грешниц. Мне случалось вспоминать о его маленькой группе самобичующихся девиц, охотно шедших навстречу его желаниям, когда в моем романе в той же атмосфере изнеженности и опасности действовала тайная секта Ангелов, погубившая Зенона. За неимением доказательств не могу я числить среди моей родни и некоего Анри Адриансена, колдуна, взошедшего на костер в сопровождении дочери Гийемины в Дюнкерке в 1597 году, в возрасте восьмидесяти лет. Не знаю

также, был ли мне родственником пират из Дюнкерка Франсуа Адриансен, находившийся на службе у Филиппа IV и бороздивший моря на маленьком корабле «Черная собака»; умирать он вернулся на сушу. Если все эти люди принадлежали к одному фамильному дереву, образуя то, что я называю сетью, то сыновья их стали почти невидимками. Но все они дышали тем же воздухом, ели тот же хлеб, омывались тем же дождем и морским ветром, что и мои настоящие Адриансены. Они — моя родня в силу самого своего существования.

Франсуа Адриансен, предок подлинный, был крещен в Ньивпорте, в той же церкви, где поженились его отец и мать. Я уже говорила о его карьере офицера на службе у Испании. Для нас она менее важна, чем его женитьба на Клер Фаурмент, вводящая нас в мифологический мир Рубенса.

Фаурменты долго торговали в Антверпене дорогими тканями и восточными коврами — экзотическими сокровищами, ценившимися так высоко, что мы видим, как на картинах Ван Эйка * они разворачивают свои кабалистические узоры под ногами мадонн или же служат для них фоном, будучи натянуты между двумя колоннами среди холодного убранства церквей. Мода на ковры не проходила, ибо те же самые изделия Ширвана украшают интерьеры Голландии XVIII века, драпируя жесткими складками столы, на которые облачиваются женщины Вермера *. Фаурмент-отец жил на площади Старой биржи в доме, называвшемся «У золотого оленя», вероятно, из-за скульп-

птуры, торчавшей на коньке крыши, во фламандских обычаях было тогда украшать крыши реальными или фантастическими животными, бюстами императоров и позолоченными святыми девами. Фаурмент-сын, Даниель, заплатив дорого, купил у испанского короля фьеф Витилит, дававший ему право как разрешать мелкие дела, так и выносить смертные приговоры. Принято считать, что он тем не менее продолжал если не торговать тканями и коврами, то по крайней мере уступать их за деньги друзьям, подобно отцу господина Журдена * в те же годы в Париже.

Даниель Фаурмент женился на Клер Брандт, одной из двух дочерей доктора Брандта, юриста и гуманиста, пользовавшегося хорошей репутацией. Рубенс взял в жены вторую дочь, Изабеллу, и чердак дома доктора был первой мастерской художника. Изабелла Брандт умерла молодой, и Рубенс заменил ее светловолосой Еленой, младшей сестрой все того же Даниеля, таким образом дважды ставшего зятем великого творца форм. Клер Фаурмент, моя дальняя Прародительница, дочь Даниеля и Клер Брандт, была, таким образом, племянницей двух самых избалованных женщин своего века, с которых написано к тому же наибольшее число портретов.

У Рубенса было призвание к счастью, но он познал его не сразу. Родился он в Кёльне, отца изгнали из Антверпена за протестантские симпатии, а затем приговорили к смерти за связь с принцессой. Мать, натура страстная, спасла неверному мужу жизнь. Для художника это прошлое было

словно темным фоном его картин, на котором вскоре сквозь лессировку щедро засверкали краски. Рубенс быстро становится знаменитым и процветающим, ему с юности хорошо знакомы изнеженные дворцы Италии и суровый испанский двор, ему рано поручают деликатные дипломатические миссии, два короля возводят его в дворянство, он говорит и читает на пяти языках, и, значит, как сказал бы Карл V, есть в пять раз больше человек. Прочное счастье не покидает его до самого конца и после смерти живет в его славе. В истории этого почти невероятного успеха Изабелла — первая из женщин Рубенса, ибо нам ничего не известно о прекрасных итальянках, встреченных молодым художником за восемь лет пребывания на полуострове. Рубенс пишет автопортрет с Изабеллой на следующий день после свадьбы, в саду доктора, уже тронутым осенними красками. Ему тридцать два года. Это крепкий, богато одетый в черный бархат и кружева человек, вид у него задумчивый и спокойный. В парче, в нелепой, «по моде», шляпе с высокой тульей, юная новобрачная с девичьей грацией опирается на руку мужа, выбранного ей доктором,

На следующих портретах перед нами как бы крупным планом предстает Изабелла, жена и мать. Низкий корсет подпирает груди, прижавшиеся друг к другу, словно персики в корзине; огромные воловьи глаза освещают милое доброе личико, не блещущее умом. Мягкий, немного скошенный подбородок выдает покорную и пассивную чувственность. Чахотка уже окрашивает в

бело-розовые тона нежную кожу лица, затененного полями знаменитой соломенной шляпы. Рубенс, в отличие от Рембрандта, не стал изображать юную умирающую, сжигаемую лихорадкой: медленная агония не в его духе.

Однако из письма к другу видно, что вдовец охвачен печалью, которую он, кажется, сознательно убрал из картины: «Поскольку единственное лекарство от всех наших бед — это забвение, дитя времени, приходится возложить на него всю мою надежду... Думаю, что путешествие мне помогло бы... Я не претендую на то, чтобы стать стойком... и не могу поверить, чтобы чувства, столь соответствующие их объекту, были недостойны порядочного человека и что можно быть совершенно бесчувственным к превратностям жизни, *sed aliqua esse quae potius sunt extra vitia quam cum virtutibus*¹, и чувства эти мстят за себя нашей душе». опережая свое время, Рубенс понял, что мужество, загоняя боль слишком глубоко, превращает ее в отравляющий нас яд. Человек, написавший эти строки, умел не только ловко орудовать кистью.

Четыре года спустя, вернувшись после поездки и большой работы из-за границы, художник возобновил отношения с семьей покойной жены. Примерно в это время он написал портрет старого

¹ Но есть вещи, которые скорее находятся вне пороков, нежели относятся к добродетелям (*лат.*). Здесь автор письма перефразирует Тацита: «Он (Гальба) скорее не имел пороков, чем обладал добродетелями» («*Magis extra vitia, quam cum virtutibus*»).

доктора Брандта, малиновые щеки ученого заставляют предположить, что он так же хорошо разбирался во французских винах, как и в греческой и латинской грамматиках. В доме Фаурментов Рубенс вновь встретился с обеими Клер, сестрой покойной и ее племянницей, еще ребенком. Прошло время, и маленькая Елена перешагнула границу между детством и юностью. Рубенс женился на ней в декабре 1630 года, когда ей было шестнадцать. 37 лет разницы между мужем и женой в то время никого не удивляли, да, пожалуй, и в иное — тоже, за исключением нашего. На сей раз художник не написал автопортрета с супругой. «Я решил снова жениться, не будучи расположен к суровой холостяцкой жизни. Я подумал, что, если справедливо отдавать предпочтение умерщвлению плоти, мы с благодарностью пользуемся дозволенным наслаждением». Он добавляет, что все советовали ему соединиться с благородной дамой, разумеется, в годах, но ему показалось слишком тяжело «потерять драгоценное сокровище свободы в обмен на поцелуи старухи». Подобно Антею, который вновь обретал силы, коснувшись земли, Рубенс обретает молодость в постели Елены.

В последние десять лет жизнь художника все больше ограничивается его великолепным особняком, Еленой, домашними буднями, которые благодаря мастерской, населенной богами, напрямую соприкасаются с мифологией. День начинается с мессы, она занимает в его жизни то же место, что и картины на религиозные сюжеты в живописи — не больше и не меньше. Затем, пока он работает,

один из учеников читает ему Тацита или Сенеку, а по вечерам, отдыхая, он совершает прогулки верхом вдоль Эско, и этот любитель небес, несомненно, наслаждается красками заходящего в тумане красного солнца. Потом наступает время ужина — обильного, но без излишеств, и бесед с некоторыми обладателями серьезных, чуть тяжеловесных умов, которыми славится город. Заканчивается день почти мифическими страстями в супружеской постели.

Как не разглядеть в этой рутине, где все — порядок, роскошь, покой и сладострастие — острый выбор человека, который хочет, чтобы семейная жизнь обеспечила ему доступ к удовольствиям, узаконивая их, и позволила взору и духу свободно обратиться к главному? В жизни его, однако, было не меньше огня, чем в иных судьбах, насыщенных страстями и тайнами: очаг порою таит в себе пожар. Но конец приближается: последние годы Рубенса заставляют вспомнить о Ренуаре*, другом счастливом художнике. Рука, пораженная ревматизмом, отказывается писать. В 1640 году, в возрасте двадцати шести лет, Елена становится вдовой. Она вновь выйдет замуж за дворянина, аккредитованного, как и ее первый муж, при испанском дворе. Для нас она интересна только как жена Рубенса.

На одном из последних полотен мэтра, «Суд Париса», она одновременно Венера и Юнона, два изображения обнаженной плоти соперничают между собой. На других картинах ее юное чувственное лицо служит моделью для Богоматери и

святых. В парке маленького замка Стен, недавно купленного художником, она предстает перед нами в парадном туалете; перед итальянским павильоном в саду своего городского дома она смотрит, как служанка бросает зерна павлинам. Сидя под аркой, очаровательная, в нарядном платье, она касается широкой юбкой одного из знаменитых семейных ковров. Среди всех этих полотен только одно не дает нам покоя — обнаженная «Елена Фаурмент» из Венского музея, но по причинам скорее художественного, нежели эротического свойства. Многие художники писали своих жен и любовниц нагими, но мифологические сюжет и декор (как это часто бывало у самого Рубенса) делали из них заурядных богинь Олимпа. У мастеров рисунка идеальная линия, замыкая в себе обнаженное тело, тем самым как бы одевала его. На сей раз речь идет не столько о теле, сколько о плоти. Эта женщина с горячей, влажной кожей, кажется, только что вышла из ванной или алькова. Заслышав стук в дверь, она набросила на плечи первую попавшуюся под руку одежду, благодаря мастерству художника в ее жесте отсутствует всякая пошлая или игривая стыдливость. Нужно посмотреть на картину раз двадцать и сыграть в старую игру, состоящую в том, чтобы в каждом произведении искусства отыскивать вечные мотивы, тогда только можно заметить, что положение рук — почти то же самое, что у Венеры Медицейской, но в этом цветущем теле нет ничего мраморно-классического. Мех, в который кутается Елена, не может скрыть ее пышные формы и придает ей

вид мифологической медведицы. Слегка утратившие упругость и похожие на тыквы груди, складки тела, живот, округленный, быть может, начинающейся беременностью, колени в ямочках напоминают набухающее, поднимающееся тесто. Бодлер *, вероятно, думал о ней, когда, вспоминая о рубенсовских женщинах, писал о «страстной подушке бредных нег» и женской плоти, «где кровь, биясь, бежит». Действительно, кажется, что достаточно надавить на кожу пальцем, чтобы на ней осталось розовое пятно. Рубенс никогда не расставался с этим полотном, попавшим в коллекцию Габсбургов только после его смерти, быть может, он испытывал некоторые угрызения совести, ведя себя как царь Кандаул *. Тот показал жену только близкому другу, Елена в Вене принадлежит впредь первому попавшемуся туристу.

Я предпочла бы иметь двоюродной прабабкой Хендрикье Стоффелс, прислугу, натурщицу и сожительницу старого Рембрандта, которая скрасила, как могла, последние годы несчастного великого художника и, к сожалению, умерла раньше него, Хендрикье со слегка опухшими веками рано вставшей служанки, ее усталое нежное тело в сероватых тенях — это «Вирсавия» из Лувра. Хотелось бы привязаться хоть немного к этому человеку, которому не были чужды ни наши горести, ни наши радости. Я вспоминаю, как во время краткого посещения Эрмитажа в 1962 году я видела, как русский крестьянин, приехавший с какой-то группой из глубинки, задержался на мгновение перед Христом Рембрандта, о котором упомянул механи-

ческий голос экскурсовода, и быстро перекрестился. Не думаю, чтобы Иисус Рубенса мог вызвать подобную реакцию. Чувство священного — не его область. Всякое барочное искусство воспевает стремление к могуществу, живопись же Рубенса отвечает прежде всего потребности раззолоченной клики, взирающей на Европу, охваченную Тридцатилетней войной, царствовать, владеть и наслаждаться жизнью. Мифология и эпизоды римской истории служат сюжетами для росписи стен и потолков в княжеских особняках, превращая их в анфилады зеркал-близнецов. Именно в них глядятся разодетые мужчины и женщины, сгибаясь под тяжестью собственной плоти и расшитых жемчугами туалетов, и видят себя богами и героями. Аллегории возносят сильных мира сего на небо, подобно искусным машинам на оперной сцене. Окровавленные мученики и жестокие сцены охоты достойно утоляют их жажду зрелищ и вкус к смертной казни. Речь по-прежнему идет о том, чтобы нравиться толпе зевак, только на сей раз толпа состоит из князей.

Именно благодаря ненасытному стремлению к материальному Рубенс избегает плоской риторики придворных живописцев. Происходит так, словно густые мазки и щедрые брызги красок постепенно увлекают художника-виртуоза от мифологическо-христианской помпезности в мир, где значимой является только субстанция в чистом виде. Пышная плоть становится просто физическим телом, которое вращается подобно тому, как, согласно запрещенным еще теориям Галилея, вращается

земля. Ягодицы «Трех Граций» — это сферы; упитанные пухлые ангелочки плавают, словно облачка в летнем небе; Фаэтон и Икар падают вниз камнем. Рухнувшие наземь лошади и амазонки в «Битве с амазонками» — это остановленные в своем полете метеоры. Все в картинах Рубенса — движущиеся объемы и кипящая материя: той же кровью, что придает розовость женским телам, налиты глаза рыжих коней волхвов. мех, брошенный на плечи Елены, волосы в бородах, перья птиц, убитых Дианой, — разновидности одной и той же субстанции. Пухлые тельца детей, несущих плоды, — это плоды, а восковое, с обвисшей кожей тело Христа, снятое с креста, — это предсмертное состояние плоти. В присутствии этой мощной органической магмы высокопарность и вульгарность, всевозможные декоративные ухищрения становятся не важны. Толстая Мария Медичи подобна пчелиной матке. Три сирены, украшающие мыс корабля, несущего коронованную дурочку, перестают быть дамами Капайо с улицы Вербуа и маленькой Луизой, послужившими для них моделью. Их грузные прелести скорее вызывают в памяти хлопанье волн в борт судна, нежели являются образом женской красоты. Словно любовник в постели, словно Тритон в воде, Рубенс резвится в море форм.

Клер Фаурмент не оставила следов: я не знаю, на кого она была похожа больше — на тетю Изабеллу или тетю Елену. Но сохранился портрет ее сына, Даниеля Альбера Адриансена (Даниелем его назвали в честь династии Фаурментов, Альбе-

ром — в честь любимого эрцгерцога). Он был военным, как и отец, офицером в армии Западной Фландрии, этот всадник в малиновом мундире производит впечатление человека веселого и пылкого: глаза под густыми бровями смеются и говорят. В следующем поколении кровь уже не так горяча: Жозеф Даниель Адриансен выглядит величественно в красном одеянии благородного эшевена, светлые кудри парика времен Регентства волнами ниспадают до самого пояса. Этот магистрат-щеголь умер молодым, оставив своей кухне Марианне Кленверк, дочери покупателя Креанкура, трех дочерей, о первой из них я уже упоминала, это она — маленькая тень в монашеской одежде с розой в руке. Из двух других, оставшихся в живых, одна прибавила свою яичку к сети, выйдя замуж за Бисваля, она умерла бездетной. Вторая, Констанция Адриансен, моя прапрабабка, получив разрешение на брак с кровным родственником, взяла в мужья кузена, Мишеля Донасьена де Креанкура. Она принесла ему, помимо большей части состояния Адриансенов, герб со львами, которыми потомки Мишеля Донасьена украсят свои буржуазные гербы, а также захудалый испанский дворянский титул, передаваемый по женской линии. Позже мы встретимся с постаревшей Констанцией.

Мишель Донасьен, королевский советник, в момент женитьбы в 1753 году мог быть красивым, хорошо сложенным юношей, весело танцующим под звуки свадебной скрипки. В 1789 году, в возрасте пятидесяти семи лет, этот отец семейства по-

хож на ухудшенную копию Людовика XVI. Крупные светлые глаза заволокла дремота, нижняя губа презрительно оттопырена, в расстегнутый ворот видна жирная шея, одна из тех, по которым словно плачет гильотина. Мой прапрадед избежал ее, получив, правда, свою долю неприятностей, которые несет с собой революция. Сохранилось письмо, адресованное ему из Касселя в 1778 году, в котором Мишелю Донасьену дается право называться по имени принадлежащей ему земли, есть и другое, где владелец Креанкура, Дранутра, Ломбардии и других мест именуется попросту гражданином Кленверком, так называемым Крайанкуром. По получении этого письма горестная складка у рта, должно быть, стала глубже.

В мае 1793 года в одном из владений семьи де Гёс, возле Ипра, группа людей беседует вполголоса в грабовой аллее. Мишель Даниель де Креанкур и его жена Тереза — в дорожных костюмах. Их пятеро детей, старшему из которых шесть лет, играют на берегу канала под присмотром гувернантки. Хозяин, Леонард де Гёс, брат Терезы, заключив один из романтических перекрестных браков, типичных для того времени и позволявших к тому же не распылять состояния, женился на сестре Мишеля Даниеля, Сесилии. Среди нескольких семейных портретов, которые мне не удалось идентифицировать, я выбрала лучший; по возрасту и стилю одежды изображенный на нем человек больше всего подходит моему прадеду: Мишель Даниель вполне мог бы быть этим немно-

го нахальным франтом, бледным от пудры, ныне прячущим под изношенным карриком красивый костюм из голубого бархата, в котором его писали. На младшем брате, Шарле, — пальто ломовика, делающее его наполовину неузнаваемым. Их старик отец, Мишель Донасьен, надвинул на лоб парик с косичкой и похож на собственных фермеров. Не знаю, последовал ли он за сыновьями в изгнание, и если да, то сопровождала ли его Констанция, ей было в ту пору шестьдесят лет. Уехала она или осталась, нет сомнений, что Констанция не потеряла голову. Я представляю, как она преспокойно вынимает из кармана серебряную коробочку с эмалью и в самый последний момент подшивает волан на юбке Терезы.

Милый аббат, сопровождающий семью, одет как буржуа. Этот священник — у моего отца еще хранился принадлежавший ему перстень с аметистом — считается капелланом Мишеля Донасьена и воспитателем детей. Но дети еще так малы, что не нуждаются в учителе, и едва ли семья важничала настолько, чтобы иметь собственного капеллана. Аббат, отказавшийся присягнуть революции и похожий повадками и манерами на Берниса *, был, вероятно, дальним родственником или другом людей, с которыми он пустился наудачу по дорогам Германии.

Маленький живой человечек, кузен Бисваль де Бриард, только что проскакавший дальними тропами несколько лье, отделяющих Байёль от Ипра, справляется, какие дороги ведут в Голландию, где он намеревается переждать грозу *. Решено, что в

Генте он сядет в дилижанс, идущий в Роттердам. Леонард де Гёс и Сесилия, будучи австрийскими подданными, могут не эмигрировать. Им в принципе нечего бояться, хотя натиск санкюлотов пугает их, как и всех остальных. В замке все ценные предметы спрятаны в надежном месте. Появление лакея с освежительными напитками прерывает беседу, ибо прислуге больше не доверяют.

Эти дамы и господа забеспокоились далеко не сразу. В 1789 году наказания коммун были весьма умеренными. Затем массовые волнения и преследования духовенства сильно остудили республиканский пыл крестьян. Разумеется, новости из Парижа ужасны, и рокот барабанов под командованием Сантера * заставляет дрожать самых стойких. Но Париж слишком далеко, чтобы чувствовать себя лично в опасности. С тех пор же, как гильотина заработала в Дуэ, все стало ясно: мэ́р Байёля бежал одним из первых. Жозеф Бисваль, полагая, что в смутные времена женщины рискуют меньше, чем мужчины, принял решение оставить в городе жену, изобретательную и энергичную Валентину де Кусмакер, которая с помощью нотариуса сумеет, быть может, перебиться, продавая и фиктивно закладывая земли, или убедит фермеров, чьи расходы возместят позже, на уже потерявшие ценность деньги купить земли и вернуть их затем хозяевам.

Шарль помогает кучеру загрузить экипаж и садится сам, у него фальшивые бумаги на случай, если придется иметь дело с так называемыми пат-

риотами: семья якобы едет на воды в Спа. Тереза держит на коленях еще грудного Шарля Огюстена, гувернантка устраивается со свертками сзади. Как обычно, потерявшийся баул, ребенок, который хочет выйти, чтобы подобрать мяч, или кому приспичило, задерживают отъезд. Смех и нетерпеливые восклицания перемежаются вздохами и слезами расставания. Безутешная Сесилия машет тюлевым шарфом и посылает путешественникам воздушные поцелуи.

Мишель Даниель с семьей провел в эмиграции почти семь лет, вначале в замке Калькар в Пруссии, а затем в замке Ольфтен в Вестфалии. Наряду с эмигрантами, горевшими желанием восстановить порядок во Франции или стремившимися сделать карьеру на службе за границей, были и такие, кого нужда заставила стать преподавателями фехтования, домашними учителями или кондитерами. Менее живописны были изгнанники, у которых осталось достаточно наличных денег, чтобы арендовать поместья и жить там по-крестьянски, тем, что давала земля. Кажется, именно так и поступили мой прадед и его жена. В доме царит экономия. Мишель Даниель сносил свой красивый голубой камзол. Масло для бутербродов строго учитывается, так как большие куски его, завернутые в капустные листья, пользуются спросом на городском рынке. Время от времени визит проезжающих эмигрантов нарушает тяжкую рутину изгнания: с местным приличным обществом семья не общается, ибо незнание

языка является барьером, хотя владение фламандским и помогает кое-как изъясняться по-немецки. Когда приходят священник и доктор (а последний является слишком часто), они беседуют с господами по-латыни.

Как обычно в таких случаях, предметом разговора становятся различия между страной, откуда вы приехали, и страной, где вы живете, — различия в манере одеваться, есть, любить, вести себя, и чужую страну судят сурово. После обеда, сдобренного кисло-сладкими соусами, приготовленными кухаркой-немкой, все переходят в гостиную, где из экономии свечи зажигают очень поздно, и то — одну-две. Хитрый кузен Бисваль, не чувствуя себя в Голландии в полной безопасности, приехал провести несколько дней в Калькаре. Посетив Францию под чужим именем, остановившись в Оснабрюке и Бремене, он привез с собой немало политических новостей, истинных или ложных. Что касается героической Валентины, то она, воспользовавшись недавним законом, внушающим ей ужас, развелась с мужем, чтобы спасти состояние эмигранта. Ей удалось перевести на свое имя по крайней мере какую-то часть его земель. Гражданка Кусмакер, бывшая Бисваль де Бриард, должно быть, получила немало похвал от офицеров Республики за это доказательство своей приверженности новым идеям. Хотя ее поведение одобрил не присягнувший Революции юре, с которым она видится тайком, она страдает оттого, что из нужды нарушила обязанности христианки и супруги. К счастью, ей удалось пере-

править детей в Австрию, в частности маленькая Рен нашла вторую мать в одной эмигрировавшей монахине. Гость бросает взгляд на маленького Шарля Огюстена, который играет с волчком. Даже во времена Террора следует подумывать о выгодных браках между хорошими семьями.

Слабый звук кашля, доносящийся через открытое окно, заставляет Терезу поднять голову. Медленно и грузно — она на восьмом месяце беременности — Тереза поднимается на второй этаж. Ребенок, ее старший сын, Мишель Константен — в кровати, он весь в поту, за ним ухаживает служанка-немка. Врач ничего больше не может сделать, чтобы спасти его от чахотки. Все, кроме Терезы, свыклись с мыслью, что мальчик не доживет до осени. Мать в горе срывает гнев на служанке, не понимающей отдаваемых ей приказаний.

Тереза оставила на калькарском кладбище двух детей, чахоточного и новорожденную, умершую еще в колыбели. Воздух Ольфтена оказался столь же губительным: там умерли трое других детей. Супруги вернутся из эмиграции, привезя с собой только маленького Шарля Огюстена.

17 нивоза * VIII года письмо Фуше * уведомляет префекта департамента Нор, что гражданке Дегёс, по мужу Кленверк, разрешено вернуться домой, под надзором, и вступить во владение своим имуществом, разумеется, за исключением той его части, что была пущена в продажу государством и по поводу коей никакие претензии приниматься

не будут. На следующий день благодаря документу, подписанному Бонапартом, имена братьев Кленверк, фабрикантов, были вычеркнуты из списка эмигрантов, но точно так же, без всякой надежды вернуть потерянное. Аналогичных документов, касающихся Мишеля Донасьена и Констанции, найти не удалось.

Наименование «фабриканты», данное братьям, объясняется тем, что в их владении значится маленькая фаянсовая фабрика, купленная, возможно, для того, чтобы облегчить возвращение во Францию. На этом жалком предприятии было занято всего семь рабочих, оно производило для местного рынка тарелки и стаканы в деревенском стиле. Неизвестно, рассчитывала ли семья на эту фабрику, чтобы возместить потери, или же, отказавшись от прошлого, Мишель Донасьен и Шарль попытались влиться в ряды деловой буржуазии, которая в конечном счете выиграла от беспорядков больше всех. Но «Не-утруждай-себя» не имели ни деловой, ни коммерческой жилки. Фабрика довольно быстро закрыла двери.

Валентина де Кусмакер, трогательная разведенная жена, не устояла под напором трагического времени, она умерла в возрасте тридцати семи лет, в V году, во время второго периода эмиграции мужа. Тереза де Гёс покинула этот мир после печального возвращения из Германии, когда ей было сорок два года. Констанция Адриансен, гражданка Кленверк, так называемая Крайанкур, продержалась дольше: она скончалась в 1799 году, в семидесятилетнем возрасте. Если она тоже

была в Германии, то разделила с невесткой тяготы и утраты изгнания. Если же осталась дома, будучи, возможно, слишком хрупкой, чтобы вынести долгое путешествие, и пыталась, подобно Валентине, изо всех сил защитить семейное добро, то тогда последние годы ее жизни протекали в атмосфере подполья, тревог, допросов и визитов на дом, республиканских перегибов и робких сетований роялистов, заполнявших жизнь маленького городка. Нет уверенности в том, что ей довелось увидеться с эмигрировавшими детьми. Сорок шесть лет жизни бок о бок с неповоротливым Мишелем Донасьеном — тоже не предмет для зависти. И наконец, у нее, как и у многих других, часть детей умерла в раннем возрасте: в те времена природа тут же устраняла последствия чрезмерной плодовитости. Но всякую жизнь, и в особенности жизнь женщины, можно судить только изнутри. На портрете, запечатлевшем ее в пожилом возрасте, она выглядит отнюдь не печально и не угрюмо.

«Прощайте, розовые юбки и позолоченные башмачки...» * Вместо оборок и воланов, которыми она увлекалась в юности, на Констанции темное платье и большой чепец революционных времен. Единственное украшение — маленький крестик. Но ее чепец роскошен. Примерно такой же носили тогда все женщины, от вдовы Капет * до Шарлотты Корде * и «вязальщиц» *. Чепец же Констанции, огромный и воздушный, в складках и оборках, обрамляет лицо гражданки пышным облаком тюля. Лицо в тонких морщинках расплывается книзу, как у очень старых женщин. Светлые глаза, оставшие-

ся молодыми, несмотря на покрасневшие веки, как бы забавляясь, смотрят на нас с холодной благожелательностью, не лишенной доброты. Поджатые губы почти не отвечают улыбающимся глазам. Та, что мы видим на портрете, — не глупа.

Передряги, сотрясавшие с 1793 года добрую часть французского общества, не сразу изгладись из памяти эмигрантов, вернувшихся в родные места. Мы видим, что они временно отказались от имен, связанных с земельными владениями и способных навлечь на них неприятности. Империя и в еще большей степени Реставрация вернули им уверенность, и они постепенно стали вновь пользоваться прежними титулами на пригласительных карточках и извещениях, но в официальных документах старые имена появились только после того, как были надлежащим образом легализованы и было получено разрешение ввести их задним числом во все акты, составленные после Революции.

Мишель Донасьен умер только в 1806 году. Мишель Даниель и Шарль, дожив до 80 лет, скончались соответственно в 1838 и 1845 годах в царствование узурпатора Луи-Филиппа. Эти старики, помнившие еще коронацию Людовика XVI, несомненно, до самого конца играли в вист с аббатом, которому, надо надеяться, тоже довелось вновь увидеть процветание трона и церкви. Можно представить себе, как они году так в 1824-м отправляются в кабриолете на Мон-Нуар, песчаники которой поставляли сырье для злополучной фаянсовой фабрики. Здесь Шарль Огюстен, «знатный кавалер», наблюдает за постройкой за-

городного особняка совершенно в стиле Людовика XIII — Карла X на месте уединенного деревенского дома.

Действительно, кажется, что некоторые земли, принадлежавшие семье, были пущены в продажу как имущество эмигрантов. Мишель Донасьен сумел распродать другие, чтобы пережить трудные дни. Но рассказы о потерях, понесенных во время Революции, по большей части апокрифичны: из нотариальных актов и того, что известно о жизни лишенцев, явствует, что они оставались весьма состоятельными. В смутные времена люди соревнуются и хвастаются друг перед другом понесенным уроном, жалуются все. Что до умильных сказок, согласно которым крестьяне вернули добровольно кое-какое имущество, купленное ими на торгах, не претендуя при этом ни на какое вознаграждение, возможно, они не просто выдумка. В этом уголке Фландрии, где хозяева и фермеры продолжали жить почти бок о бок (тогда как абсентеизм был свойствен прежде всего придворной знати, довольно немногочисленной), зависти, ненависти, злобе было где разгуляться, хотя они и уступали порой место любви и верности. Кажется, Кленверков — удлиняли они свое имя на французский манер или нет — все-таки любили.

Часть вторая

МОЛОДОЙ МИШЕЛЬ ШАРЛЬ

В скромной комнате на левом берегу Сены молодой человек, студент, одевается, чтобы отправиться на бал в Оперу. Комната с низким потолком, обставленная жалкой мебелью с публичных торгов, чистенькая настолько, насколько это возможно для жилища, сдаваемого ежемесячно внаем пожилой хозяйкой, которой без всякого рвения помогает служанка, комната эта сама по себе настолько обычна, что и описывать ее следует самым банальным образом. Над камином, в котором тлеют жалкие головешки, «Коронавание Карла X» с порыжелыми краями свидетельствует о том, что хозяйка — легитимистка*. На столе стопками высятся книги Мишеля Шарля по праву, на висящей над столом полке

несколько особо дорогих сердцу молодого человека книг: латинские поэты, «Раздумья» * Ламартина, поэзия Гюго — от «Восточных мотивов» до «Песен сумерек» *, Огюст Барбье и Казимир Делавинь * соседствуют с «Песнями» Беранже *. Однако все эти детали и прежде всего названия на корешках книг теряются во мраке наступающей февральской ночи, смягченном только светом двух восковых свечей. В углу на вытертом коврике, прикрытом куском махровой простыни, с трудом можно разглядеть два кувшина, в которых мой будущий дед — ему в это время двадцать лет — сам принес горячую воду. Тут же — жестяная ванна. Хозяйка настоятельно рекомендовала ему при купании быть осторожным, чтобы не залить нижнюю комнату.

На стеганом одеяле разложены брюки в обтяжку от лучшего портного, фрак, домино, складки которого расположены так, чтобы сразу показаться загадочным, на подушке — черная атласная маска. Начищенные туфли стоят наготове на коврике перед кроватью. Студент, считающий для себя честью не тратить полностью весьма умеренное содержание, назначенное ему отцом, не скупится на туалеты, отчасти из тщеславия красивого юноши, желающего нравиться, и, быть может, еще больше из чувства уважения к самому к себе. Мишель Шарль, из скромности считающий себя простым, на самом деле существо довольно сложное.

В кальсонах и рубашке с жабо он останавливается перед комодом и с серьезным любопыт-

ством рассматривает себя в маленьком зеркале. У молодого человека одно из тех лиц, которые не столько несут на себе отпечаток личности, еще не успевшей сформироваться, сколько свидетельствуют об определенной породе, словно в нем проявляются, исчезая, иные черты, замеченные мимоходом на семейных портретах байёльского дома. В зеркале отражается прочный костяк скуластого лица, под полосой густых бровей — холодные синие глаза, которые порой заставляют оборачиваться красоток, встреченных юношей в театре или на прогулке. Носом с толстоватыми крыльями он доволен меньше: такие ноздри любовница, владеющая пером, назвала бы львиными, Мишель Шарль предпочел бы, чтобы они были потоньше. Рот — большой и чувственный, но нижняя часть лица по-детски безвольна, о чем студент, обвивающий шею длинным куском тонкого батиста, разумеется, даже не догадывается. Во всяком случае, он чувствует, что физиономия его — не настоящего парижанина и, быть может, даже не француза. Короче говоря, нельзя ли принять его за венгра, русского или красавца скандинава? Вот именно, за Ладислава, Ивана, а может, Оскара... Он говорит себе, что ему есть чем заинтриговать женщин.

Но, в сущности, ради кого он наряжается? За первый год жизни в Париже он уже побывал с приятелем на балу в Опере и покинул его через четверть часа усталый и раздраженный. Как и его современника Фредерика Моро*, бес-

порядочное веселье угнетает Мишеля Шарля. Его цель — как можно быстрее закончить учебу и вернуться в Байель, чтобы помогать больному отцу вести семейные дела. Бал — это безумство, на которое его ничто не вынуждает. Разумеется, он перелистывал романы Бальзака, не зная, впрочем, что читает шедевры, ибо в ту пору они еще таковыми не считались. Но ни в одном из парижских домов, где он бывает, даже у элегантных кузенов д'Аллуэн, ему не встретилась опасная Диана де Кадиньян* в нежно-серых нарядах. Никакая Эстер* не предлагает ему миллионов, заработанных ремеслом куртизанки, никакой Вотрен не дает ему отеческих советов, которые помогли бы пробиться в свете. Из-за этого он слишком поспешно приходит к выводу, что все романы — вздор. Какое приключение может ждать его в Опере в гудящей толпе в капюшонах и черных масках, в толпе, которая то растекается, то сливается, подчиняясь столь же неведомым законам, что и вереница муравьев или рой пчел? Встретится ли ему порочная женщина, изображающая светскую даму, переодетую лореткой, за которой издали наблюдает сутенер? Или светская дама, изображающая девицу легкого поведения, за которой без ее ведома следит ревнивый муж? А может, горничная, надевшая на один вечер драгоценности хозяйки и играющая в светскую даму? Не лучше ли было посвятить этот вечер любезной и уступчивой Бланшетте (я сама выбрала ей имя), басонщице по профессии (я ей придумала и занятие), ее

так легко развлечь по воскресеньям, пригласив после постельных утех в Лувр, если идет дождь, или предложив прогулку в Люксембургском саду, если стоит хорошая погода. С такою, как она, опасности увлечься нет.

Мишель Шарль без всякого удовольствия вспоминает взрывы глупого хохота, вызванные ничемными репликами, традиционные колкости и подзадоривания, резкий запах женских духов и помады. Если предположить, что он поведет красавицу незнакомку ужинать в «Голубой циферблат» или к «Братьям-провансальцам», то он знает, что означает содержащая в себе что-то непристойное угодливость официанта, открывающего дверь в отдельный кабинет, где не выветрился еще запах предыдущего обеда и где над канопею, обтянутой красным репсом, взвоет облачко пыли, когда красавица позволит себя туда увлечь. Будет ли она хотя бы здорова? Воспоминание о музее Дюпюитрена *, куда его отвел отец во время своего очередного визита в Париж, где Шарль Огюстен регулярно консультируется с врачами, на мгновение оскорбляет чувства молодого человека. Неужели нужно непременно оказаться в постели незнакомой маски только потому, что сегодня масленица?

Бутылка шампанского охлаждается в ведре со льдом, которое Мишель Шарль взял у продавца прохладительных напитков по соседству. Заканчивая одеваться, он осторожно открывает бутылку, стараясь, чтобы не хлопнула пробка — его приучили считать этот звук вульгарным, на-

полняет бокал искрящейся жидкостью и спокойно, решительно выпивает его, затем наливает еще один — и так до тех пор, пока не опустошает бутылку. Мишель Шарль вовсе не выпиваха, знакомство с лучшими марками вина сделало из него знатока, а отнюдь не пьяницу. Но этот рецепт достался ему от отца, и он передаст его сыну, чтобы чувствовать себя непринужденно на празднике, куда нет особого желания идти, лучшее средство — выпить маленькими глотками целую бутылку хорошего шампанского, иначе и люди, и события предстанут всего-навсего такими, какие они есть на самом деле.

Почти сразу напиток оказывает желаемое действие: кровь бежит быстрее, жилы словно наполняются золотистым пламенем. Каждый молодой человек должен непременно испытать наслаждения, характерные для его времени и страны, должен ввязаться в авантюру и пережить связанный с нею риск, должен доказать себе, что может завоевать не только миленькую гризетку, что способен разглядеть элегантность и очарование под обычным капюшоном и черной кружевной полумаской. Выбрать, развлечь, осмелиться, насладиться, удовлетворить... Чудная программа. Когда совсем недавно Шарль Огюстен притащился на костылях в Париж, чтобы повидать доктора Рекамье, который уже ничем не может ему помочь, отец, человек умный, сам посоветовал сыну не упускать молодость и отвратить — разумеется, с умеренностью — ее удовольствий. В этот день после состоявшегося

разговора у двух Шарлей установились отношения мужской дружбы, своего рода франкмасонство, как это случается с отцами и сыновьями вдаль от глаз матерей, жен, дочерей и сестер. В Байёле Шарль Огюстен, разумеется, не говорил бы так откровенно. С тех пор, думая о «знатном кавалере», все более неподвижном из-за прогрессирующего паралича, Мишель Шарль спрашивает себя, только ли о долгих прогулках верхом по фламандским равнинам сожалеет отец, вспоминая о прошлом. Шум экипажа, остановившегося перед домом, возвращает юношу к действительности, двухместная карета, которую он позволяет себе нанимать в дождливые, грязные или снежные вечера для «выхода в свет», еще больше поднимает его авторитет в глазах хозяйки, которая о нем и так хорошего мнения. Прежде чем спуститься, Мишелю Шарлю приходит в голову мысль: он открывает ящик, который только что закрыл на ключ, кладет туда перстень с печаткой в оправе из оникса, подарок Шарля Огюстена, вынимает из кармана несколько золотых монет и прячет их под рубашками. Оставшихся шести луи вполне хватит, чтобы угостить ужином хорошенькую женщину, будь она герцогиней или вакханкой. И если, по несчастью, незнакомка окажется воровкой, тем меньше будет потеря.

* * *

*Версальская железная дорога,
улица дю Плесси:*

*Завтра, в воскресенье 8 мая,
работают все фонтаны в
Версальском парке. Поезда
отправляются каждые полча-
са... с утра до 11 часов вечера.
Все поезда — прямые, кроме
утренних... Предварительная
продажа билетов в здании
вокзала, на улице дю Плесси.*

Три месяца спустя тепло майского утра заполняет комнату Мишеля Шарля, все преображая. Еще слишком рано, и солнечные лучи пока не проникли в узкую улочку, но видно, что выдался чудесный, почти летний денек. Сегодня воскресенье 1842 года, и кроме всего прочего (Шарль Огюстен пожал бы плечами) — праздник «короля-гражданина». Книги по юриспруденции больше не загромождают стол, покрытый белой скатертью. Посредине — кофейник, стопки чашек и блюдец, одолженных хозяйкой, в большой хлебнице — бриоши.

По счастливой случайности, приятель Мишеля Шарля из Касселя Шарль де Кейтспоттер выбрал именно это время, чтобы приехать в Париж, где его старший брат, еще один друг детства нашего студента, также готовится стать лицензиатом права. Маленькая группка, к которой присоединились два бывших соученика Мишеля Шарля по колле-

жу Станислава, решили посвятить воскресенье версальским фонтанам. После прогулки по парку молодому Кейтспоттеру покажут дворец и Трианоны. После обеда в каком-нибудь ресторанчике вторую половину дня друзья решают провести в забавах в лесу. Провинциалу, который в Париже всего несколько дней, по этому случаю представили милую подружку, выбранную Бланшеттой. У его брата есть постоянная гризетка. Один из парижан — сын архитектора по имени Лемарье, другой — молодой господин де Дрионвиль. Неизвестно, придут ли они в сопровождении барышень. Никто не потрудился записать имена этих хорошеньких девиц: допустим, что их зовут Ида, Корали или Пальмира. Мишель Шарль решил начать этот день, пригласив всех к себе на завтрак.

Молодые люди приходят кто вместе, кто по одиночке. Бланшетта, незаметно войдя последней, радушно принимает гостей, время от времени обмениваясь нежными взглядами с Мишелем Шарлем. На ней новая красивая кашемировая шаль, прощальный подарок, ибо условлено, что вскоре она выходит замуж за серьезного молодого человека, кассира из Мулена. На барышнях — платья из нансука или органди и шляпки с голубыми или розовыми лентами, украшенные цветами, молодые люди выставляют напоказ светлые выходные панталоны. Комната наполняется смешками и шуршанием юбок.

Компания рассыпается по еще почти пустынным улицам, проходит мимо лавок с закрытыми

ставнями. Чтобы добавить к запланированным развлечениям еще одно, новое, решено отправиться в Версаль и вернуться обратно по железной дороге. Линия, идущая на Север, находится еще в стадии проекта, так что Шарль де Кейтспоттер, приехавший в Париж в дилижансе, получит возможность впервые увидеть паровоз. Линия Медон — Версаль действует всего полтора года, даже для парижан, принимающих участие в вылазке, поездка по рельсам — событие в некотором роде необычное. Друзья с трудом находят свободные места в уже заполненных вагонах. Ида боится или притворяется из кокетства. Молодые люди успокаивают ее, ручаясь за безопасность железной дороги. Во время путешествия братья Кейтспоттер допускают ошибку, завязав с Шарлем разговор о считающихся важными событиях в Касселе; оба парижанина беседуют о политике. Барышни слегка скучают, болтают о тряпках и прошлогодних возлюбленных, много хохочут и считают, что поезд идет медленнее, чем говорят. Мишель Шарль любезно помогает Бланшетте вынуть попавший в глаз уголек, по правде говоря, он невидим, но она утверждает, что ей больно.

Версальские фонтаны производят сильное впечатление, Трианоны тоже, сам же дворец — меньше. Его большие залы, пропитанные историей и битком набитые посетителями, всех утомляют, хотя никто в этом не сознается. В Зеркальной галерее Бланшетта дрожа замечает, что ночью здесь, должно быть, полно привидений. Молодая зелень аллей и их относительная уединенность приводят

друзей в восторг. Обед, состоящий из омлета и разных видов жаркого, проходит весело и кажется очень вкусным, так как уже поздно и все здорово проголодались. Молодые люди пьют за предстоящее замужество Бланшетты, ибо действительно она решила остепениться. Она потихоньку снимает тесные туфли и под столом прижимает свою очаровательную ножку к ноге возлюбленного. Пьют за будущие успехи Мишеля Шарля и Луи де Кейтспоттера на экзаменах по праву и Лемарье в Школе изящных искусств.

Возвращение в Париж проходит не спеша. Молодые люди поддерживают под руки барышень, жалующихся на усталость. Хором затягивают романс и вежливо заставляют замолчать подвыпившего Лемарье, напевающего неприличные песенки, Корали мучит жажда, и она предлагает остановиться возле торговца прохладительными напитками и выпить оршаду, но Мишель Шарль замечает, что они только-только поспевают на вокзал, чтобы вовремя вернуться в Париж, поужинать в «Хижине», где он заказал столик, а потом посмотреть фейерверк на берегу Сены.

Атмосфера праздничного гулянья и веселого бунта царит на версальском вокзале. Мишель Шарль сам советует дождаться следующего поезда, в конце концов это не так уж их задержит: чтобы лучше обслужить толпы путешественников, поезда отправляются теперь через каждые десять минут. Поезд, который тянут два паровоза, прибывает на вокзал. По-праздничному разодетые парочки буржуа, имеющие, однако, из-за пыли и

ранней жары вид неряшливый и неопрятный, лицейсты, рабочие в каскетках, женщины, тянущие за собой детей и несущие охапки уже начинающих увядать ландышей, бросаются к высоким ступенькам. Лемарье едва успевает указать товарищам на моряка в богато расшитом галунами мундире, который садится в соседнее с ними купе, это адмирал Дюмон Дюрвиль *, недавно вернувшийся из полной опасностей экспедиции в Антарктику, его сопровождают хорошо одетая дама и юноша, вероятно сын. С помощью спутников гризетки пробираются в купе, старательно оберегая свои оборки и шляпки. Запыхавшись, они рассаживаются (кто-то остается стоять, так как не всем хватило места) как раз в тот момент, когда кондукторы захлопывают двери и закрывают их на ключ, чтобы помешать хитрецам, путешествующим без билета, улизнуть до прибытия поезда на вокзал. Поль де Дрионвиль, сидящий напротив Мишеля Шарля, слегка обеспокоен: он пообещал матери никогда не садиться в головной вагон. Мишель Шарль успокаивает его: они едут во втором вагоне. И добавляет, что поезд в самом деле едет очень быстро, качает, словно в лодке в плохую погоду. Вдруг один за другим следуют толчки, и пассажиров, смеющихся и одновременно напуганных, бросает друг на друга. Следует страшный удар, как во время шторма, людей швыряет на стены и наземь. Раздается скрежет металла, треск деревянных обшивок, свист пара и кипящей воды, этот шум покрывает стоны и крики. Мишель Шарль теряет сознание.

Когда он наполовину приходит в себя, то чувствует, что задыхается, и начинает кашлять в задымленной атмосфере. Кажется, что откуда-то поступает немного свежего воздуха, он никогда не узнает, идет ли воздух из проломленной перегородки или разбитого окна. Карабкаясь в удушающей темноте, раздвигая, распахивая массу человеческих тел, цепляясь то тут, то там за куски рвущейся материи, он доползает до пролома, просовывает голову и плечи в слишком узкое отверстие, с трудом протискивается наружу, падает и катится по насыпи.

Прикосновение к земле, ее запах приводят его в чувство. Двигаясь на ощупь, он понимает, что упал в виноградник. Несмотря на светлые майские вечера, вокруг почти так же темно, как и там, откуда он выбрался. Помогая себе окровавленными руками, он встает на насыпи и наконец понимает, что ему довелось пережить. Второй паровоз натолкнулся на первый: вагоны, целиком построенные из дерева, приподняты, опрокинуты, разбиты, они наползают друг на друга и представляют собой чудовищный дымящий костер, из которого доносятся крики. Вдоль рельсов мечутся тени людей, чудом спасшихся подобно Мишелю Шарлю из купе-темниц. При свете новой вспышки пламени он узнает некоего Лалу из Дуэ, бывшего соученика. Мишель Шарль окликает его, хватая за руку и, указывая на место, откуда сам только что выбрался, кричит:

— Надо вернуться туда! Там Люди! Они умирают!

Единственный ответ на его тщетный призыв — вырывающиеся отовсюду языки пламени. Молодая женщина страшно кричит, протягивая руки сквозь разбитое окно, какой-то мужчина, рискуя жизнью, приближается к ней, хватая ее за руку и тянет, рука отрывается и падает словно пылающая головешка. Неизвестный, выброшенный на пути, срывает с себя горящий башмак, и раздробленная нога повисает на одном лоскуте кожи. Молодой человек, менее удачливый, чем Мишель Шарль, тоже упал в виноградник под насыпью, но жердь проткнула ему грудь словно штыком, он успевает сделать всего несколько шагов и умирает, испустив ужасный крик. У огня, как и у молнии, свои причуды: у рельсов, вдоль которых суетятся спасатели, пытающиеся баграми или шестами вытащить обгорелые останки, лежит совершенно обнаженный молодой человек, располосованный от горла до низа живота, в оргазме агонии он похож на чудовищного Приапа*. В хвостовой части поезда, где не все охвачено огнем, дорожным рабочим удалось разбить окна или взломать замки и освободить людей, которые разбегаются с воплями, оставляя позади себя этот кошмар. Другие, напротив, снова ныряют в дым в поисках своих спутников. Но головных вагонов не существует.

При свете свечи, четко обрисовывающем все предметы, Мишель Шарль замечает, что низ его брюк висит черными лохмотьями. Проведя рукой по лбу, чтобы вытереть пот, он обнаруживает,

что это не пот, что все лицо его в крови. В себя он приходит в зале медонского замка, где раненым оказывают первую помощь. Заря освещает большие окна, катастрофа произошла уже вчера. Ему осторожно сообщают, что из сорока восьми пассажиров четырех купе его вагона он — единственный оставшийся в живых.

Кто-то, быть может Лалу, отвозит Мишеля Шарля домой на фиакре. Безусловно по совету доктора Рекамье, который давно уже консультирует семью, решено, что юноша будет сдавать только в октябре экзамены, назначенные на июль. Корпус разбитых часов и клочок паспорта позволили составить акт о смерти братьев де Кейтспоттер, который подписал Мишель Шарль. Возможно, ту же услугу он оказал Лемарье и Дрионвилю. Обрывок ленты, ручка зонтика, найденные среди груды трупов, заставляют вспомнить о гризетках. Я напрасно пыталась распознать их в списке, разумеется неполном, погибших пассажиров, да и сам Мишель Шарль знал, возможно, только их милые прозвища. Постепенно шрамы от ожогов, полученных молодым человеком, сгладились, но надо лбом, среди густой темной шевелюры, долго выделялся белый клоч волос.

Сорок лет спустя в кратких записях, сделанных незадолго до смерти, он описал для детей происшедшую катастрофу. Мишель Шарль был лишен писательского дара, но точность и сила рассказа заставляют предположить, что в сердце его, в глубине почти непроницаемых глаз продолжали гореть и дымиться искореженные деревянные пе-

регородки, раскаленный металл и человеческая плоть. Человек XIX века, уважающий приличия, Мишель Шарль не написал, что к их маленькой веселой компании присоединилось несколько любезных барышень. Он упомянул об их присутствии в разговоре с сыном. Он также избавил детей от некоторых отвратительных деталей, которые я почерпнула из официальных докладов.

Другие люди, близкие родственники жертв, тоже хранили память о случившемся. Архитектор Лемарье, отец погибшего студента, выстроил на месте крушения часовню, посвященную Огненной Богоматери; вскоре после церемонии освящения он сошел с ума. Здание, кажется, было довольно уродливым, но его название впечатляет. Огненная Богоматерь: другой набожный отец мог бы посвятить часовню Богоматери Всех Скорбящих, Богоматери-Утешительнице или кому-нибудь еще. Человек мужественный, архитектор предпочел взглянуть в глаза своему горю, рискуя сгореть в нем сам. Его Огненная Богоматерь помимо воли заставляет меня вспомнить о Дурге или Кали *, о могущественной индусской Матери, из которой все исходит и в которой все гибнет, она танцует над миром, уничтожая формы живущего. Но христианское мышление — иное по своей сущности. «О нежная Мария, защити нас от пламени земного! Охрани нас от пламени вечного!» — гласила надпись на фронтоне. По душам, перешедшим из огня земного в огонь Чистилища, предстояло служить по четыре мессы в год. Так оно и было в течение двадцати лет. Затем забвение рассеяло

пепел воспоминаний. Часовня в стиле трубадуров тридцать лет назад еще стояла на прежнем месте. Теперь там выстроили дом.

Нити паутины, в которых мы все запутаны, очень тонки: Мишелю Шарлю предстояло прожить еще сорок четыре года, то майское утро могло обернуться не спасением жизни, а избавлением от нее. В то же время трое его детей и их потомки, в том числе и я, рисковали вообще не появиться на свет. Когда я думаю, что неисправный шатун (как уверяли, в Англии были заказаны запасные части, но они залежались на таможне) едва не уничтожил эту возможность, когда, с другой стороны, я вижу, как мало осталось от большинства состоявшихся и прожитых жизней, то с трудом могу заставить себя придавать значение подобным сцеплениям случайностей. И все-таки образ, всплывающий передо мной, когда я думаю об этом несчастье, происшедшем при Луи-Филиппе, — это двадцатилетний юноша, бросающийся головой в проем, ослепленный и окровавленный, как в день появления на свет, несущий в мешочке свое потомство.

* * *

Даже для моего отца, который терпеть не мог все, что привязывало его к семье, и уж тем более для моего деда, бывшего образцовым семьянином, старый дом в Байёле всегда олицетворял красоту, порядок и покой. Поскольку дом исчез в пожарах 1914 года и я едва успела

увидеть его, будучи совсем ребенком, он навсегда останется в *illo tempore* *, подобно одному из мифов золотого века. Бальзак в «Поисках Абсолюта» описал подобное жилище со свойственной ему гениальностью мечтателя, страдающего, однако, манией величия, всякий раз приводившей его к преувеличениям. Во французской Фландрии найдется немного семей, чьи гостинные украшали бы портреты предков кисти Тициана. Очень немногие выращивали у себя в саду тюльпаны, каждая луковица которых стоила пятьдесят экю. Ни у кого, к счастью, не было целой серии панно, где во всех деталях была представлена жизнь купца-патриота Ван Артевелде, это не более чем наивная выдумка краснодеревца эпохи Луи-Филиппа. Но если принять во внимание лишь самую суть, дом Клаасов изображен Бальзаком, почти не бывавшим на Севере, так живо и с таким мастерством, что я могу не трудиться описывать дом в Байёле.

Тонкий звон колокольчика и тявканье любимой собаки Миски наполняют душу Мишеля Шарля сладостью, которую, казалось, ему не дано было больше испытать. Затем появляются три девицы, Габриель, Луиза и Валери, бело-розовые в своих летних нарядах, они выбежали навстречу брату, чтобы открыть ему дверь. По-королевски уверенная в себе, прекрасно сдерживая волнение, с ободряющей улыбкой на устах выплывает

¹ Во время оно (*лат.*).

Рен, прижимая сына к пышной груди, затянутой в тафту, сверкающую, словно броня. Поцелуи кухарки Мелани, которая присутствовала при рождении молодого господина и которая упокоится однажды в фамильном склепе после пятидесяти лет беспорочной службы, сопровождаются робкими рукопожатиями и реверансами двух других служанок. Наконец шум прерывается сухим мерным постукиванием. Шарль Огюстен Кленверк де Креанкур, дабы оказать сыну честь, встал из кресла, которое он не покидает с тех пор, как болезнь спинного мозга — первые признаки ее он почувствовал еще пятнадцать лет назад — парализовала обе его ноги. Высокие костыли отбивают «тук-тук» по плитам коридора.

Шарль Огюстен слегка касается сына хорошо выбритой щекой. Черты изборожденного морщинами лица, жесткий взгляд отмечены живостью и подвижностью, которых лишено тело. В стянутом в талии рединготе больной держится безукоризненно, несмотря на то что слабые ноги не повинуются ему; он похож на буржуа с портретов Энгра. Добряк Анри, старший брат Мишеля Шарля, спустился из своей комнаты. Он не то чтобы дурачок и даже не умственно отсталый, разве что совсем чуть-чуть. Соседи находят выход из положения, называя его оригиналом. Уже в приходской школе стало ясно, что Анри не стоит мечтать ни о коллеже Станислава, ни о скамьях Сорбонны. Все знают, что он состарится в семье, ничего не требуя от жизни, никому не мешая, довольный тем, что может прогуливаться по Большой площади в кра-

сивых костюмах, которые ему присылает портной из Лилля, раздавая конфеты и деньги уличным мальчишкам, отпускающим на его счет шуточки по-фламандски, стоит ему отвернуться. У него прекрасные манеры, он любит отвесить полупоклон, когда за столом его просят передать соль или горчицу. Он любит слушать, как сестры поют романсы, аккомпанируя себе на фортепьяно, но большую часть времени проводит у себя в комнате за чтением Поля де Кока *, который не должен попасться на глаза барышням. Анри немного озадаченно улыбается брату.

В конце длинного коридора дверь открывается в зелень сада и пение птиц. Девушки оставили на столе серсо и корзинки с рукоделием. Все здесь было точно так же и месяц назад, когда в Медоне бушевал и пылал адов костер. Не будем заблуждаться: Мишель Шарль уязвлен не в сердце, но в духе своем. Не стоит преувеличивать боль, причиненную ему смертью четырех попутчиков: они не были близкими друзьями. Гибель Бланшетты — разумеется, мучительное воспоминание, но сама Бланшетта была всего лишь милой девушкой, с которой он собирался расстаться. То, что потрясло его и лишило сил, — это внезапное ощущение ужаса, кроющегося во всем. В Версале, где били фонтаны, на мгновенье обманчивая завеса веселья сдвинулась, и, хотя Мишель Шарль не в состоянии проанализировать свои впечатления, он увидел истинную суть жизни — то был пылающий костер. Рен чувствует, как в сыне нарастает усталость, она укладывает его в постель, задерживает

занавески и оставляет с Миской, свернувшейся клубочком у него в ногах.

«Рен Бисваль де Бриард, моя мать, — писал Мишель Шарль в начале своих воспоминаний, — была дочерью Жозефа Бисваля де Бриарда и Валентины де Кусмакер, внучкой Бенуа Бисваля де Бриарда, советника парламента, и девицы Лефевр де ла Бас-Булонь, чей портрет в костюме Дианы-охотницы у меня сохранился. Среднего роста, с прекрасным цветом лица настоящей фламандки, мать была очень умна и очень добра... Ее воспитала монахиня высокого происхождения, которую превратности Революции забросили в семью Бисвалей, где она и осталась навсегда. Все в моей матери указывало на Прежнее отменное воспитание». Мишель Шарль умалчивает о том — и мы не в первый и не в последний раз замечаем у него привычку избегать трудных тем, — что эта столь благопристойная дама была по-своему замечательна. Сохранился ее портрет кисти Бафкопа, хорошего портретиста, в свое время очень известного на Севере. Сорокалетняя женщина, разодетая в атлас и меха, стоит, засунув руки в огромную муфту, она производит впечатление фрегата, несущегося вперед на всех парусах. Бывшая воспитанница благородной монахини смахивает на аббатису дореволюционных времен: под радушием угадывается гибкая, стальная воля. Она улыбается, но последнее слово всегда остается за ней. Рен — перл творения общества, где женщинам нет нужды голосовать или участвовать в демонстрациях, чтобы царить. Она великолепно играет

роль регентши при больном короле. Между супругами условлено, что все находится в ведении Шарля Огюстена, на самом деле правит она.

Между живущими в согласии мужем и женой существуют некоторые различия во взглядах, но супруги, будучи хорошо воспитаны, почти никогда их не показывают. Для Шарля Огюстена существует только один король Франции *, тот, что находится во Фросдорфе. От имперской эпопеи или имперского безрассудства он остался вдалеке. Женившись в год Ватерлоо *, он без особого восторга отнесся к победе Веллингтона *, но семья с болью восприняла известие о гибели брата Рен, гвардейца из свиты императора, во время французской кампании. Никогда не говоря этого вслух, Шарль Огюстен, возможно, сожалеет, что сия славная кончина, в результате которой наследство жены увеличилось, не произошла под белыми знаменами. Позже, когда Рен, будучи, разумеется, легитимисткой, но, как мать семейства, руководимая чувством реальности, предложит выдать их дочь Мари Каролину за сына П., принадлежащего к почтенному буржуазному клану, где на протяжении всего XIX века при разных режимах сохраняют титул депутата от департамента Нор почти как наследственный, Мишель Огюстен даст согласие на этот брак. Он даже позволит Мишелю Шарлю бывать в Париже у этого зятя, который на хорошем счету в министерствах, но никогда не примирится с тем, что его сын «ест из кормушки» короля-гражданина. Рен, напротив, мечтает об административной или, быть может, политической

карьере для столь одаренного юноши. Но тише! Следует подождать, пока Мишель Шарль сдаст экзамены. Кто знает? Эти мужчина и женщина, которым по пятьдесят, уже повидали во Франции смену восьми режимов. Возможно, до того как Мишель Шарль получит диплом, старшая ветвь окажется на троне или — во что поверить труднее — Шарль Огюстен изменит свою точку зрения. Возможно также — даже в самых любящих семьях предаются подобным расчетам у постели больного, — что к тому времени Шарль Огюстен уже никому не сможет навязывать свою волю.

На сей раз не состоялся импровизированный прием по случаю приезда студента, как это было в тот далекий день, когда он вернулся домой со степенью бакалавра: в Байёле это была такая редкость, что едва не был устроен народный праздник в его честь. Теперь же все знают, что железнодорожная катастрофа в Версале сильно подействовала на Мишеля Шарля. Но плотная, вязкая рутина семейной жизни постепенно обволакивает его. Каждое воскресенье Рен сидит во главе стола, на обед приглашаются все родственники, иначе говоря, все, кто имеет в городе вес. На скатерти, которую стелят по этому случаю и которая почти столь же священна, как торжественная месса, сверкает серебро и нежно лучится старинный фарфор. Кнели из дичи подают в полдень, десерт и сладости — около пяти часов. Между мороженым и седлом барашка гостям разрешается погулять по саду, порою они даже, слегка извиняясь за столь простецкие развлечения,

играют в шары. Некоторые приглашенные пользуются этим, чтобы незаметно добраться до домика, скрытого в густой зелени. Шарль Огюстен, подчиняясь предписаниям врачей, поднимается на костылях и отправляется отдыхать в соседнюю комнату. Барышни поправляют ленты и увлекают подруг в свою комнату или в очаровательный уголок на антресолях, где вдоль одной из стен стоит вычищенная деревянная скамья. На ней могут вместе усесться три человека, и дамы обычно уединяются туда для интимных бесед. Легкий шум струйки воды, стекающей в раковину, ничуть не стесняет милых затворниц. Маленький кувшин, в котором стоит половая щетка, — из старого дельфтского фаянса, как и вазы в гостиной.

Празднуют помолвку юной Луизы с ее кузеном Максимилианом Наполеоном де Кусмакером, происходящим из семьи, о которой на протяжении четырех веков можно сказать только хорошее. Шарль Огюстен с одобрением относится к будущему зятю, хотя одно из его имен слишком напоминает о том, что близкие Рен попались в императорские сети. Эти имена, характерные для определенных среды и времени, заслуживают отдельного замечания. Шарль Огюстен одним из своих имен, несомненно, обязан янсенизму своего предка де Гёса. Имя, данное его жене¹, родившейся в 1792 году, означает только одно — верность дочери Марии-Терезии*, которой угро-

¹ Рен (reine) — в переводе с французского «королева». — *Ред.*

жала опасность. Жозефы и Шарли, Максимилианы, Изабеллы, Терезы и Евгении были в семье именами традиционными, и некоторые из них обычны для Франции в целом. Между тем оказывается, что либо их носили императоры или императрицы, испанские или австрийские регенты и регентши Нидерландов, либо они свидетельствуют об увлечении янсенизмом. Вовсе не случайно, что два брата, приехавшие из Арраса в Париж в 1789 году и оставившие в истории Франции один — след глубокий, другой — неприметный, звались Максимильен и Огюстен де Робеспьер*.

Не оправившись как следует от кошмаров и бессонницы, молодой человек тем не менее возвращается в Париж, где в октябре с блеском выдерживает экзамены. Мы никогда не узнаем, были ли в его жизни в течение двух последующих лет иные, более волнующие события, нежели занятия, нам известно только, что он вернулся в свою комнату на улице Вожирар и ужинал за тридцать шесть су в ресторане на улице Святого Доминика, что для студента было своего рода скромной роскошью. Встретились ли ему Диана де Кадиньян или Эстер или он довольствовался очередной Бланшеттой? В жизни мужчин XIX века есть свои загадочные стороны.

Нет и речи о том, чтобы молодой доктор права, получивший четыре белых шара*, открыл адвокатский кабинет. Свободные профессии, которые так ценят в определенных буржуазных кругах, считаются недостойными в семье. Там признается только одна цель в жизни: управление собственным

состоянием или государственная служба. Несмотря на слова Гизо: «Обогащайтесь!», ставшие девизом режима, деловая и промышленная активность ценятся крайне низко. Шарль Огюстен не может себе представить, чтобы его сын руководил прядильной фабрикой. Знания и дипломы, полученные в Париже, помогут Мишелю Шарлю со всей тщательностью заключать контракты с фермерами или без особых неприятностей выпутываться из истории с общей стеной. Отец, давно вынужденный отказаться от того, чтобы самому объезжать свои владения, спешит воспитать своего преемника.

Но Рен считает, что мальчик нервен, он вздрагивает при малейшем шуме, совершает с Миской долгие прогулки в одиночку и запирается, как Анри, в своей комнате, правда, не для того, чтобы читать Поля де Кока. Как и положено, родители плохо знают сына, однако сестры Мишеля Шарля являются его наперсницами. От них Рен узнает, что молодой человек, внезапно оставшийся без дела, часто говорит о голубых небесах, о римских развалинах или швейцарских шале и завидует кузену, Эдмону де Кусмакеру, который учится в Йене. Он показывает Габриель, любимой сестре, стихи, написанные в подражание Ламартину, где говорится о том, с какой радостью увидел бы он море у берегов Сорренто.

Кроме Байёля, Рен знала только Париж Людовика XVIII, где прогуливалась под руку с молодым мужем, посещала лавки, дорогие рестораны, смотрела пантомиму или мелодраму на Бульварах, бы-

вала в Булонском лесу в час выезда экипажей, любовалась фонтанами в Версале, именно она дала сыну почти роковой совет совершить туда поездку. Сестры Мишеля Шарля провели в столице три года в монастырском заточении на улице Обсерватории, куда по воскресеньям за ними заходил брат, чтобы отвести их на мессу с певчими в Сен-Сюльпис, на классическую пьесу в «Комеди Франсез», а порой на танцульки к депутату П. Но эти женщины, которые всю жизнь будут довольствоваться маленьким городком, смутно чувствуют, что потребность в путешествиях, томящая студента, вернувшегося к домашнему очагу, вполне законна. Человек хорошего происхождения должен повидать свет, прежде чем обосноваться там, куда приведут его Провидение или случай. Большое путешествие, вроде тех, что совершали молодые дворяне в XVIII веке, не только излечит сына от страсти к поездкам, но и даст Рен время подыскать ему хорошую партию и (кто знает?) найти возможности для дорогого мальчика сделать карьеру на государственной службе.

Шарль Огюстен ставит лишь одно условие: сын уедет только в будущем году, а пока будет совершенствовать свои знания в географии, истории, литературе тех стран, которые хочет посетить, и постарается хотя бы немного изучить их языки. В ту зиму ночные прохожие, редкие в Байёле, где спать ложатся рано, где дождь и холод не способствуют поздним прогулкам, могли видеть, как в окне Мишеля Шарля почти до рассвета горит лампа. Но молодой человек запрещает себе читать

или перечитывать поэтические описания, рассказы о путешествиях, проникнутые, быть может, наигранным восторгом, чтобы ничто не помешало его собственным впечатлениям и суждениям. Возможно, он не прав. Возбудить воображение с помощью лирических воспоминаний о странах, которые собираешься посетить, — средство ничуть не хуже того, чем выпить бутылку шампанского перед тем, как идти на бал.

Накануне отъезда Шарль Огюстен вручил сыну, уже обеспеченному необходимой суммой для первых этапов путешествия, вексель на десять тысяч франков в банк Альбани в Риме. Он уточнил, между прочим, что из этих денег Мишель Шарль должен выделить необходимую сумму на выбранные со вкусом подарки «для женщин». Что до остатального, он желал бы, чтобы молодой человек потратил на себя не более трех тысяч франков и, проявив благоразумие, привез остальные деньги обратно. Скажем сразу, что это пожелание было выполнено.

Двухместная карета наконец-то увозит обоих путешественников, Мишеля Шарля и его двоюродного брата Анри Бисваля, милого юношу, который по возвращении станет вести размеренную жизнь богатого землевладельца и умрет президентом агрономического общества. Мишель Шарль, опьянев от радости, признается, что уехал без всяких сожалений, обязательных в то время при расставании с близкими. Родители, провожая его, держатся изо всех сил: в пятьдесят два года, сраженный болезнью, Шарль Огюстен знает, что дни

его сочтены, увидит ли он сына? Рен, обладающая крепким здоровьем, думает о несчастном случае в Версале. Опасны не только новые средства передвижения: бывает, что переворачиваются дилижансы, несут лошади, опрокидываются лодки. Говорят, что окрестности Рима и Сицилия кишат бандитами. Цирцеи и Калипсо повсюду подстерегают молодых людей, одурачивают их, выманивают у них золото, запускают им в жилы отраву, пагубную для жизни. Рен говорит себе, что Шарль Огюстен некогда чудом вернулся из Германии, оставив на кладбище братьев и сестер. Чудо, что он создал семью раньше, чем его сразила непонятная болезнь. Рен не свойственны ни тревоги, ни сожаления, но, бросив взгляд на добряка Анри, она думает о том, что и у Шарля Огюстена только один сын. Славный Анри, стоя позади матери на пороге, посылает путешественникам воздушные поцелуи. Габриель удерживает Миску, которая тянет поводок, чтобы последовать за хозяином.

* * *

Парадоксальным образом это удачное путешествие начинается на мрачной ноте. В Перонне починка кареты потребует многих часов. Стоит холодная погода. Кучер предлагает кузенам зайти погреться в гнусный трактир, который посещают ломовики. Перед молодым человеком ставят кружку пива, он к ней не притрагивается. Мишель Шарль слушает, разглядывает соседей, которые в табачном дыму смеются, пьют, ссорятся, смачно

плюют на пол и хриплыми голосами изрыгают непристойные ругательства. «Это были не люди, а настоящие звери», — заметит возмущенно юный доктор права. Я почти благодарна ему за то, что он не дал себя обмануть, как это случится позже с одним из моих двоюродных дедов с материнской стороны, слащавыми представлениями о великодушии рабочих, ибо подобные лубочные картинки оскорбительны для народа. Мишель Шарль довольно честно описывает то, что видит. Грязь будет наваждением для юноши, привыкшего к дому, содержавшемуся в чистоте. Арль и Ним — «грязные города», несмотря на красоту их античных развалин. Тулонский порт «тошнотворен», в этом он, конечно, не ошибается. Его описание каторги похоже на описание трупоб. Новоиспеченный читатель Данте, он понял, что посетил ад. Но и в данном случае преобладают ужас и отвращение, а отнюдь не сострадание. Когда жалобы одного из каторжников, утверждающего, что он невиновен, заставляют сжаться сердце Мишеля Шарля, насмешливая улыбка надсмотрщика быстро возвращает его к реальности. «Простофиля! — словно говорит ему представитель власти. — Единственная возможность здесь проявить сочувствие — это быть безжалостным». Молодой человек не возражает и испытывает скорее неловкость, чем потрясение. В ложной борьбе между порядком и справедливостью Мишель Шарль уже встал на сторону порядка. Всю жизнь он будет верить, что человек хорошего происхождения, хорошо воспитанный, хорошо вымытый,

хорошо едящий и хорошо пьющий, не впадающий при этом в излишества, образованный, как и положено всякому человеку из приличного общества, не только безусловно выше человека отверженного, но и принадлежит к другой породе, почти к другому роду. Даже если в этой точке зрения, явно или скрыто разделявшейся всеми цивилизациями вплоть до наших дней, и была малая толика истины, ошибочное и ложное, содержащееся в ней, всегда оказывалось пагубным для принимавшего ее общества. Прожив жизнь человека привилегированного, но не обязательно счастливого, Мишель Шарль ни разу не пережил кризис, достаточно сильный, чтобы заметить, что в конечном итоге он подобен этим отбросам человеческим, что он, быть может, брат их. Он никогда не признается себе и в том, что всякий человек рано или поздно оказывается приговоренным к бессрочным каторжным работам.

* * *

В последние месяцы жизни, осенью на Мон-Нуар, в относительно спокойной обстановке, сорок лет спустя после возвращения из Италии Мишель Шарль тщательно переписал в красиво переплетенную книгу несколько сотен писем, которые он послал домашним за время своего путешествия. Несколько печальное развлечение для больного, ищущего опоры в молодом человеке, которым он некогда был. Мишель Шарль находит скромный предлог: быть может, сын и дочь захо-

тят пробежать эти непритязательные страницы, чтобы узнать, как путешествовали по Италии в те далекие времена. У Мари, как мне кажется, не было случая их прочесть, Мишель, мой отец, бросил на них беглый взгляд и нашел содержание листов, исписанных тонким бледным почерком, ничтожным. В предваряющей письма заметке Мишель Шарль умоляет, чтобы книгу сожгли, если однажды ей придется покинуть родные стены. Как видите, я его не послушалась. Кроме того, что безобидный текст не заслуживает подобной предосторожности, оказалось, что через сто тридцать лет в мире, изменившемся настолько, что Мишель Шарль не мог бы себе этого и представить, страницы его писем во многом стали документом, и не только потому, что из них мы узнаем, как прежде договаривались с возчиками.

Рен взяла с сына обещание, что он будет писать ей каждый день вместо того, чтобы посылать большое письмо раз в неделю или ждать почты во Францию. Результат оказался таким, как и следовало ожидать: писание писем превратилось для обязательного юноши в принудительное занятие, он выполняет его прилежно, но без всякого пыла. В возрасте двадцати двух лет все мы писали родным и близким письма, где рассказывали, что тогда-то побывали в музее, видели такую-то знаменитую скульптуру, что потом замечательно и не очень дорого пообедали в соседнем ресторане, что вечером собираемся пойти в Оперу, если достанем билеты, что просим передать приветы знакомым. В этих успокаивающих посланиях никогда

не отражалось то, что нас воодушевляло, волновало, а порою потрясало. С трудом верится, что эти бесцветные, немного детские отчеты написаны красивым юношей с чудными глазами, отправляющим письма из страны, которую он никогда не мог забыть.

Разумеется, в основном фигура умолчания относилась к любовным проказам французского *cavalier*¹. Родители во все времена любят верить, что дети «говорят им все». Если Мишелю Шарлю и случалось поведать родным малую часть «все-го», то уж, конечно, он делал это не в письмах, которые читались затем при свете лампы перед тем, как выпить липового отвару и отправиться спать. Порою страсть едва угадывается там, где он говорит о красоте авиньонских женщин или описывает свои впечатления, разумеется очень яркие, от бала во французском посольстве, на котором он увидел молодых москвитянок, княгинь и фрейлин, сопровождавших путешествовавшую императрицу России, жену Николая I, немку Шарлотту Прусскую. В Сицилии он вновь вспоминает об очаровательной княгине Ольге, ставшей впоследствии королевой Вюртембергской, но более доступные красавицы-итальянки в его письмах отсутствуют. Очень скоро оба кузена присоединились к группе трех-четырёх молодых французов — из экономии, как говорит Мишель Шарль; надо полагать, что также и ради удовольствия быть

¹ Кавалер (*итал.*).

вместе. Эти юноши, решившие, как и он, просвещаться развлекаясь, быстро научили его распоряжаться сбережениями экономно, останавливаясь на постоянных дворах, вдали от гостиниц, посещавшихся английскими мисс и их родителями, ломачами и гурманами. В больших городах они снимали квартиру и нанимали прислугу на месте. Часть пути ради собственного удовольствия проделывали пешком до тех пор, пока измученных путешественников, к великой их радости, не подбирала какая-нибудь сельская *carozza* ¹.

Но мы никогда ничего не узнаем об интрижках молодых людей, путешествовавших по дорогам страны «Сатирикона» и новелл Боккаччо, куда иностранцев во все времена притягивала возможность любви доступной, хотя и не всегда такой романтической, как казалось. Ни малейшего намека на сводника, сошедшего со страниц античной комедии и по-прежнему предлагающего свои услуги именитым синьорам, на хорошенькую прачку, склонившуюся над плотомойней и выставяющей напоказ зад или грудь, на страстный обмен взглядами во время вечерних прогулок вдоль какого-нибудь *corso* ², на красавицу, улыбающуюся из-за жалюзи. Мы не узнаем ничего или почти ничего об игальянских винах, ни о горячих спорах о политике и искусстве, ни о дружеских стычках, ни о незамысловатых шутках, любимых в то время, ни о том, как весело молодые люди орали песни, едучи в по-

¹ Повозка (*итал.*).

² Проспект (*итал.*), название главной улицы в Риме.

возке, тем паче что возница не понимал ни слова. Лишь однажды нам удастся стать свидетелями вокальных экзерсисов, которым предавалась молодежь, но мы не услышим ни Беранже, ни Дезожье *, ни какую-нибудь набившую оскомину песенку, это будет романс Александра Дюма «Ангел», пропитанный слащавым идеализмом и разносящийся эхом по тосканским холмам. Возвышенные чувства, которыми он дышит, на самом деле весьма искусственны, хотя, может, и не более, чем в иных песнях Превера или патетически-надоедливых напевах Эдит Пиаф *.

Банальные письма блестящего молодого человека позволяют нам многое узнать о состоянии культуры в эпоху, когда преподаваемые дисциплины оставались почти теми же, что в XVIII, а может, и в XVII веке. Мы так оплакивали упадок гуманитарных наук, что было бы недурно проследить, как они сами себя приговорили к смерти. Несмотря на изумительную память, которая позволит ему в течение всей жизни читать наизусть огромные куски из Гомера, смысл которых он почти забыл, Мишель Шарль, как и подавляющее большинство образованных французов своего времени, почти не знает греческого. Напротив, он отличный латинист, это означает, что он прочел пять-шесть знаменитых историков, от Тита Ливия до Тацита, столько же поэтов, начиная с полного Вергилия и кончая избранными отрывками из Ювенала, а также два-три трактата Цицерона и Сенеки. Почти вся культура, основанная на изучении классиков, ограничивается строго определен-

ным количеством авторов, и кажется, что присущие им достоинства играют при этом меньшую роль, нежели сложившаяся традиция восприятия. Знакомство с этими авторами сразу причисляет человека обычного к некоей группе или даже клану. Оно снабжает минимумом цитат, ссылок и примеров, помогающих общаться с современниками, имеющими тот же багаж, что не так уж мало. В иных, весьма редких, случаях классики, разумеется, могут играть куда более важную роль: они — опора и образец, своего рода путеводная нить для души, они учат умению мыслить, а порой и существовать. В идеале они освобождают человека и подталкивают его к бунту, пусть даже против самих себя. Не будем рассчитывать на то, что классики произвели подобное воздействие на Мишеля Шарля. Он не гуманист, эта порода почти вывелась к 1845 году. Он всего-навсего очень хороший ученик, изучавший гуманитарные науки.

Мишель Шарль видит Италию такой, какой мы ее больше не видим. Ее памятники — пока еще грандиозные развалины, увитые вьющимися растениями, перед ними путешественники грезят о последних днях империи. Это неотреставрированные образчики архитектуры прошлого, снабженные ярлыком, приукрашенные ночью светом прожекторов, кажущиеся карликами рядом с небоскребами. Ни от тех, ни от других при будущей бомбардировке не останется и следа. *Meta sudans**, от которой начинались все дороги империи, с фонтаном, где гладиаторы мыли окровавленные руки, в то время еще не исчезла в

муссолиниевской строительной неразберихе. К собору святого Петра еще надо подойти сквозь лабиринты улочек, и тогда колоннада Бернини предстает как безмерное и гармоничное чудо. Памятник Виктору Эммануилу * еще не торчит огромным кусом свиного сала, соперничающим с Капитолием. Треск мотоциклов не заглушает шума фонтанов. Мишель Шарль совершает конные прогулки по городу грязному и часто охваченному болезнями, но не столь оскверненному, как в наши дни, и сохранившему свое человеческое и призрачное измерение. Просторные сады, которые в конце века уничтожит спекуляция недвижимостью, еще дышат и зеленеют. Народные кварталы кишат кричащим, грязным людом, о котором почти с нежностью говорится в диалектальных стихах Белли*. Контраст между нищетой бедняков и роскошью церковников и банкиров потрясает. Он столь же разителен и в наши дни между воровским миром, ведущим *dolce vita*¹, и обитателями пещер и бидонвилей.

Мишель Шарль менее пресыщен, но и менее восприимчив, чем мы. С одной стороны, ему не пришлось заранее увидеть достопримечательности, которые предстоит посетить, сотни раз запечатленными на цветной пленке. У него не было «художественных фотографий», где уловки освещения и перспективы так меняют пропорции, так выпячивают или сглаживают черты каменной ста-

¹ Сладкая жизнь (*итал.*).

туи, что часто посетителю с трудом удастся отыскать в каком-нибудь уголке музея данный бюст в подлинном виде. С другой стороны, его знаниям и вкусу часто недостает глубины. Первое соприкосновение юноши, привыкшего к зеленым рощам Севера, с итальянской природой разочаровывает его. Сухие холмы не так цветущи, как он себе представлял, оливковые деревья кажутся ему жалкими и убогими. Что бы он сказал сегодня, увидев пейзаж, где мачты сменили деревья, где воды Клитумна, столь милые белоснежным быкам Вергилия *, текут ниже грохочущей дороги? Черные флорентийские улицы, их дворцы со свирепой лепниной огорчают нашего не слишком романтического путешественника. Если бы он смел, то признался бы, что мускулатура статуй Микеланджело кажется ему чрезмерной. Во всяком случае, будучи во Флоренции, он посвящает больше времени описанию усыпальницы великих герцогов с ее красивой серо-мраморной отделкой, чем «Утру» или «Ночи» *. В Пестуме мощные приземистые колонны, словно незаметно выросшие из земли, почти пугают его. Он принадлежит нации, для которой греческая архитектура обернулась изяществом стиля Людовика XVI или холодной элегантностью ампира. В первой половине XIX века доклассическая Греция с ее богами, чудовищами и сновидениями пока занимает воображение только одного старца и нескольких мечтательных молодых людей: я имею в виду Гёте и вторую часть «Фауста» *, двух безумцев, Гёльдерлина * и Жерара де Нерваля *, а также Мориса де Герена *, который в горячечном возбуж-

дении слышит, как мчится во весь опор кентавр. Нельзя требовать того же от молодого доктора права.

Можно представить себе, с каким любопытством я разбирала то место в письме к матери, где говорится о вилле Адриана *, ныне потерявшей свое очарование и испорченной чрезмерной реставрацией, а также статуями, найденными в разных местах и произвольно расположенными вместе под подновленными портиками, не говоря уже о закусочной и автостоянке, находящейся в двух шагах от большой стены, рисованной Пиранези *. Мне жаль старой виллы графа Феде, такой, какой я еще застала ее в юности: с длинной аллеей кипарисов, вытянувшихся, словно гвардейцы-преторианцы. Аллея неспешно вела в молчаливое царство теней, где в апреле обычно кричала кукушка, а в августе трещали цикады, но где во время последнего моего посещения я главным образом слышала звуки транзисторов. Как быстро заброшенные развалины, доступные когда-то только нескольким отважным любителям — чтобы вкушать волшебного одиночества, Пиранези прорубал себе дорогу топором, — превратились в место, привлекающее туристские экскурсии. Для молодого путешественника в 1845 году вилла — всего лишь огромный пустырь с разбросанными по нему камнями. Великие античные историки, которых читал Мишель Шарль, жили до правления Адриана. Мой дед, разумеется, не погружался в пыль исторических хроник вроде «Истории Авгу-

стов»*, чтобы попытаться соединить разбросанные кусочки мозаики и составить более полное и более современное представление о тех, кто призван был царствовать. Из учебников он мог узнать всего-навсего, что Адриан путешествовал, покровительствовал искусствам и воевал в Палестине, а во «Всеобщей истории» Боссюэ сообщается, что он «опозорил свое царствование отвратительными любовными связями». Этого явно недостаточно, чтобы удержать приличного молодого человека среди обвалившихся арок мостов и оливковых деревьев, которые ему совсем не нравятся. Он спешит покинуть эти скучные места ради украшенных лилиями фонтанов виллы д'Эсте и ее садов, где можно вообразить себе красавиц, внимающих кавалерам, играющим на лютне.

Молодой человек, приобщающийся к искусству, признается, что предпочитает художникам скульпторов, возможно потому — хотя он и не отдает себе в этом отчета, — что скульптура доступнее для восприятия. В самом деле, он бродит почти исключительно среди так называемых антиков, то есть греко-римских или, в лучшем случае, александрийских копий навсегда утраченных оригиналов. В наши дни публика поостыла к этим произведениям, считающимся холодными и напыщенными, во всяком случае — вторичными. Больше никто не ходит в Ватиканский музей, чтобы перед статуей Аполлона Бельведерского познать, что такое «возвышенное», или понять роль эмоций в искусстве, стоя перед «Лаокооном», этой оперой в камне. Даже в области собственно

греческого искусства мода постепенно уходила в глубь веков, от Венеры, привезенной с Милоса тем самым адмиралом Дюмоном Дюрвилем, с которым Мишель Шарль едва не погиб вместе, от женских фигур с корзинами на головах *, от эфебов Парфенона к архаичным kouroi и korés¹, а от них к геометрическим маскам Киклад *, предклассическому варианту африканских масок. Чтобы не сделать из Мишеля Шарля обывателя, каковым он не был, нам необходимо вспомнить, что отношение Гёте и Стендаля к «антикам» было точно таким же: боги и нимфы с более прямыми, чем у нас, носами, обнаженные, но облеченные, словно одеждой, совершенством форм, являются заложниками золотого века человеческой истории. Их реставрируют, полируют, заменяют отсутствующие руки и ноги, потому что мраморные раны противоречили бы образу счастья и гармонии, которых от них ждут.

Языческие боги настолько безвредны, что добрый католик вроде Мишеля Шарля может и даже должен, если он обладает некоторой культурой, совместить визит к папе с посещением Ватиканского музея. Князья церкви, собравшие эти шедевры, коллекционировали, разумеется, не идолов (только люди непросвещенные могли бы их так называть), а великолепные и безобидные предметы роскоши, служившие доказательством культуры и богатства их владельцев, несшие в себе ностальги-

¹ Юноши, девушки (*древнегреч.*).

ческое обаяние предмета, который можно сохранить, внести в каталог, скопировать, но который никогда больше не возникнет снова под влиянием вдохновения. В свою очередь престиж крупных собраний повышает ценность входящих в них произведений: «Геракл» производил бы меньшее впечатление, не принадлежи он Фарнезе. От этих шедевров не требуют, как сегодня, когда произведения искусства воспринимаются настолько всерьез, что от них чего-то требуют, чтобы в них отразилось представление художника о мире, его переживания и страсти, не требуют, чтобы они «изменили жизнь». Уважение, которым они пользуются, мешает разглядеть их подрывную силу, тем не менее в обуржуазившемся мире XIX века именно в них сохраняются модели поведения, повсюду уже утратившие права гражданства. «Поверженный галл» перерезает себе горло в присутствии молодого человека, который не осмелился бы решиться на самоубийство. Философы, отрицавшие бессмертие души, императоры «добрые», отправлявшие, однако, христиан на съедение зверям, императоры «злые» — мраморно-величественны. В эпоху, когда обнаженная женщина — лакомый кусочек в борделе, когда новобрачные носят ночные рубашки с длинным рукавом, застегивающиеся у самого горла, когда малейший намек на «дурные нравы» заставляет бледнеть матерей, Мишель Шарль может без стеснения написать домой, что «Гермафродит» и «Венера» — украшение музея. Он в мечтательности застынет перед нежной голой ногой, выглядывающей из-под беспорядочно смятой простыни, и

служитель, рассчитывая на чаевые, повернет на подставке прелестную Венеру для вящего удовольствия молодого путешественника.

В Неаполе он был шокирован Запретным музеем. В двух маленьких залах, содержащих в то время «raccolta pornografica»¹, нет ничего такого, чего бы не знал юноша, читавший Катулл и Светония, но зрительный образ действует сильнее, чем слово. Несколько банальных фраз, написанных им матушке по этому поводу, звучат правдиво или по крайней мере верно. Для двадцатидвухлетнего юноши, целомудренного или почти, зрелище разврата носит характер вызывающий, тем более если он испытывает искушение. Даже если Мишель Шарлю и случилось в «минуту заблуждения» совершить нечто подобное тому, что он осуждает, ему досадно видеть перед собой эти движения и жесты, запечатленные в мраморе. Находясь среди более или менее реалистических изображений Приапа, вспомнил ли он об увиденном в Версале трупе со стоящим фаллосом, символе жизненных сил, не угасающих вплоть до самой смерти? Можно поспорить, что нет. Но когда Мишель Шарль замечает, что чувственные крайности в этих людях его не удивляют, ибо они не были христианами, он заблуждается. Не только потому, что малейшего взгляда на Париж или даже Байёль было бы достаточно, чтобы понять, что нравы мало изменились, каким бы лицемерием они ни при-

¹ Порнографическая коллекция (*итал.*).

крывались, но и потому, что было бы ошибкой считать античность этаким чувственным Эльдorado: высоко нравственные буржуа или им подобные существовали во все времена.

Всякая непристойность, выставленная напоказ, коробит Мишеля Шарля. Во время путешествия по Италии ему случилось встретить «благородного и достойного кузена д'Аллуэна», как он именует его с насмешкой, удалого офицера, дезертировавшего, чтобы поселиться за границей с женой одного из своих командиров. Мишель Шарль относится к романтическому д'Аллуэну примерно так же, как тридцать лет спустя отнесся бы к Вронскому, живущему в Италии с Анной Карениной, один из его санкт-петербургских кузенов, путешествующих по полуострову. Иметь любовницу — одно дело, оставить карьеру и отказаться от чинов — другое. Мишель Шарль не обладает даром провидения, иначе он не отзывался бы с такой суровостью о человеке, бросившем армию ради того, чтобы предаться нежностям любви.

Этот «фламандский патриций», как он сам себя величает, редко бывает обманут внешней стороной светской жизни, сколь бы блестяща она ни была. Он наслаждался великолепными балами в посольстве Франции, но те, что дают Торлониа, нынешние владельцы банка Альбани, не производят на него впечатления. Он обращает внимание только на плохой паркет, что раздражает его как хорошего танцора, и на обилие гостей-англичан, что в его глазах обесценивает праздник. Кажется, он не увидел ни огромных зеркал, которые при-

жимистый и любящий роскошь банкир, если верить Стендалю, задешево покупал в Сен-Гобене, выдавая себя за собственного управляющего, ни бесконечно отраженных хрустальных люстр, ни угрюмого «Антиноя» Альбани *, заточенного, словно молодой хищник в клетке, в слишком тесную и слишком раззолоченную залу, ни призрака убитого Винкельмана *, бродящего среди собранных им шедевров, порой приносивших несчастье, но так им любимых. Англичане заслонили моему деду привидения. В Палермо, несмотря на красивые глаза великой княгини Ольги, он позволяет герцогу де Серра ди Фалько плести небылицы о неопрятности и грубости москвитянок, при этом герцог запускает пальцы в золотую табакерку, подаренную ему царицей перед отъездом. Мишель Шарль может, конечно же, изображая из себя полугуриста-полупаломника, отправиться в Лорето * и принести там обет, как это сделал Монтень, но он прекрасно видит, что в этом своеобразном Тибете, каким была в то время Италия, священники порочны и, кстати, не слишком это скрывают. Монсиньор, поглощающий в постный день «обед безбожника», возмущает Мишеля Шарля. Возможно, он отметил и другие, более серьезные отступления от правил. Перед отъездом из Рима молодые люди согласно приходят к выводу, что быстро потеряли бы здесь веру, если бы она не была глубоко укоренена у них в душе. Такова была неизменная реакция людей, приезжавших с Севера, на соединенную с распущенностью помпезность итальянского католицизма. За Мишелем

Шарлем и его возмущенными друзьями я замечаю мощную фигуру монаха-августинца, который в XVI веке по прибытии в Рим едва не пал на колени, чтобы поцеловать священную землю, орошенную кровью стольких мучеников, а вернувшись на родину, стал Лютером. Но хорошо воспитанные молодые французы сочли бы претенциозными всякие попытки реформировать церковь. Они довольствуются тем, что закуривают сигару и переходят на другие темы.

«Это путешествие развило мой ум, мое сознание почти осязательным образом», — скромно замечает Мишель Шарль. Страницы, где этот прогресс особенно заметен, адресованы Шарлю Огюстену и посвящены политике. Уже в одном из писем к матери Мишель Шарль отважился на поэму в прозе собственного сочинения (выдав ее за перевод с итальянского), где сожаление по поводу плачевного состояния Флоренции отлилось в выражения, весьма близкие тем, которые Мюссе вкладывает в уста флорентийских изгнанников в «Лорензаччо» *: этот образчик романтического красноречия был всего лишь ученическим плагиатом. На сей раз он пишет как взрослый и обращается к мужчине. Будучи иностранцем, хорошо говорящим по-итальянски, Мишель Шарль выслушал от молодых людей, встреченных во время путешествия, немало горьких признаний, они делились с ним своей ненавистью, своими святыми надеждами и разочарованием. Всегда бывает важен момент, когда юноша, прежде несколько

не интересовавшийся политикой, вдруг обнаруживает, что несправедливость и ложно понятые интересы проходят перед ним по улице в плащах и мундирах или сидят за столиками в кафе добрыми буржуа, не принимающими ничью сторону. Такой датой стал для меня 1922 год, случилось это в Венеции и Вероне*. Мишель Шарль, возмущенный наглостью таможенников и сборов гнусных неаполитанских Бурбонов, хорошо понимает, что происходит в душе таких же юношей, как он. С легкой грустью, обычной в таких случаях, молодой человек замечает, что Франция перестала быть светочем для его пылких молодых друзей. Большие надежды, которые возлагались на нее в 1830 году, оказались обманутыми, пишет Мишель Шарль. Шарль Огюстен, для которого события 1830 года были закатом легитимизма, должно быть, содрогнулся, прочтя эти строки: пропасть между поколениями существует во все времена, даже если на краю ее расцветают цветы добрых чувств.

Увлечение либерализмом, предшествовавшее Рисорджименто в Италии, — одно из самых замечательных явлений прошлого века; с той поры, когда в эпоху Возрождения гуманизм и платонизм воспламеняли души итальянцев, страну редко охватывала столь подлинная страсть. Когда подумаешь, что к великим устремлениям и трагическому самопожертвованию отдельных личностей прибавилась кровь, совместно пролитая на полях сражений в XIX веке, приходится вновь, хотя бы по привычке, смириться с багряным морем, залившим Европу.

Труднее принять то, что затем последовали савойская буржуазная монархия, принесшая с собой делячество и спекуляцию, война в Эритрее *, предвосхитившая войну в Эфиопии, Тройственный союз *, приукрашенный объятиями сестер-латинянок, и бессмысленные жертвы в Капоретто *, труднее принять то, что из беспорядка родились не реформы, а фанфаронады фашистов, Гитлер, вопящий в Неаполе (до сих пор слышу его) между двумя шеренгами молодых орлов, застывших словно истуканы; крысы, пожирающие трупы в Ардеатинских рвах, Чiano *, застреленный в кресле, римский диктатор и его любовница, повешенные вниз головой в гараже. Все бы ничего, если бы беспорядок, на сей раз необратимый, не продолжался и не было бы Венеции, разъедаемой химическими выбросами, Флоренции, подтачиваемой эрозией, против которой никто не борется, восьмидесяти миллионов перелетных птиц, которых ежегодно убивают бравые итальянские охотники (десять штук на человека, не так уж и страшно), не было бы загубленной сельской местности вокруг Милана, ставшей воспоминанием, вилл актрис на Аппиевой дороге *, «городков искусства», превратившихся в декорации среди бесплодных промышленных зон с их каторжной работой и пыльными человеческими муравейниками. Я знаю, что итоги развития других стран весьма схожи, но плакать от этого хочется не меньше.

Вернемся к Мишелю Шарлю. Тридцать лет спустя он говорил сыну, что благодаря разумной экономии ему удалось прожить в чарующей Ита-

лии почти три года. На самом деле он пробыл там около десяти месяцев, оставшуюся же, куда меньшую часть времени он провел в швейцарских горах и немецких университетах. Но даже если предположить, что мой отец ничего не преувеличил, подобная ошибка показывает, до какой степени пребывание Мишеля Шарля в Италии, которую ему не суждено было больше увидеть, стало для него временем свободы и как быстро оно переместилось в область мифического, без всякой связи с датами календаря. В подобных случаях нам всем свойственно ошибаться: нам всегда кажется, что мы долго прожили там, где жизнь наша была насыщена. «Пятнадцать лет, проведенных мной в армии, промелькнули быстрее, чем одно утро в Афинах», — заставила я сказать Адриана, повествующего о своей жизни. Именно для того, чтобы вновь насладиться наедине с собой несколькими итальянскими утрами, раздосадованный муж, несчастный или разочаровавшийся отец, чиновник Второй империи, отправленный Республикой в отставку, больной, знавший, что дни его сочтены, и, быть может, не слишком хотевший продлевать их, переписал мелким, тонким, ныне почти выцветшим почерком эти заурядные письма, сиявшие для него огнем воспоминаний.

* * *

Один эпизод из путешествия в Сицилию заслуживает особого упоминания. Пережив событие, потрясшее его до глубины души, Мишель Шарль,

не выходя за жесткие рамки своего несколько плоского реализма, сумел в виде исключения достичь цели, которую ставит перед собой любой писатель: передать свои ощущения так, что их невозможно забыть. Речь идет о восхождении на Этну. Мы видели, как в Версале ему пришлось столкнуться с огнем и угрозой смерти, на сей раз он вступил в борьбу с заснеженными склонами вулкана, где его подстерегала смерть более коварная — от истощения.

Мишель Шарль отправился в путь верхом на муле около девяти часов вечера, на пороге ветреной, холодной ночи, в сопровождении пастухов и погонщиков мулов, привычных к горам. Первые часы были мучительны, они пробирались сквозь заросли каштанов, защищавших от ветра, но усугублявших ночной мрак. Я всего два или три раза в жизни участвовала в Греции в таких ночных подъемах, когда идешь гуськом по тропинке, обсаженной деревьями, и прежние растения-великаны, ставшие в этих некогда лесистых местах чахлыми и кривыми, в темноте вдруг вновь обретают грозную мощь. Мишель Шарль, натура малопоэтическая или по крайней мере не способная выразить поэтические чувства, между тем ощутил, как всякий в подобном случае, что человек, едва освободившись от привычной рутины и столкнувшись с ночью и одиночеством, представляет собою песчинку или, точнее, ничто. Вспомнил ли он об Эмпедокле? Надеюсь, что нет, ибо он, разумеется, не читал великолепные фрагменты, разбросанные в двух-трех десятках античных

сочинений, *membra disjecta*¹ одного из редчайших текстов, объединивших Грецию и Индию в видении природы вещей. Мишель Шарль не услышал ни незабываемой жалобы души, увязшей в земном болоте, ни голоса в ночи, позвавшего, как говорят, философа в другой мир. Все, что он, должно быть, знал об Эмпедокле, — это история его *mons ignea*², сведенная, как обычно, к самой низменной версии и объясняемая тщеславием человека, желавшего придать своей кончине чудодейственный характер. Мишель Шарль меж тем идет по его следам, как идет, сам того не зная, и по следам Адриана, когда тот был могуществен, любим, переполнен проектами и мечтами, находился в расцвете лет и еще только взбирался на вершину своей судьбы.

По выходе из леса начинается полоса льда и снега. Далеко позади остается лесная хижина, где они немного отдохнули. Терпеливые мулы с трудом продвигаются вперед, они скользят, падают, вновь поднимаются, увязают по самое брюхо. Погонщики велят молодым иностранцам бить животных не жалея и яростно кричат, понукая их. Ночь наполняется свистом кнутов, фырканием и криками. Мулы только вязнут глубже и ложатся в снег. В конце концов сами погонщики отказываются от намерения заставить животных повиноваться. Молодые люди спешиваются, освобожденных от груза мулов их суровые хозяева отводят в лесной шалаш, который путешественники едва миновали.

¹ Разрозненные части (*лат.*).

² Смерть от огня (*лат.*).

Мишель Шарль радуется за бедных животных, мы ему за это признательны.

Но теперь юноши могут рассчитывать только на собственные силы, напомним, что они пустились в путь без всякого снаряжения, необходимого любому современному туристу. Они бредут гуськом, увязая сначала по колено, а затем почти по пояс, с каждым шагом им все труднее вырываться из мягкого, рыхлого и глубокого снежного покрова. Мишелю Шарлю кажется, что он совершенно отморозил руки и ноги. Он чувствует, что умирает, а мы знаем, что он никогда не драматизирует. Мне самой случалось испытать это погружение в снег и усталость, ощущение того, что главный жизненный мотор вашего тела останавливается, что вы дышите беспорядочно, что охватывающая вас паника — предвестие агонии и что смерть, если она придет, только поставит в ней последнюю точку. Поэтому я прекрасно понимаю смертельный холод, охвативший Мишеля Шарля. Пастухи приподнимают его за подмышки, несут, подобно тому как двое соседей, пришедших на помощь в снежную бурю, несли меня от своего дома до моего сквозь белую массу, которую мне не удавалось преодолеть. Путешественники уже слишком далеко от хижины, чтобы можно было туда вернуться, но в нескольких шагах от конуса из лавы и шлака, отделяющего их от вершины, примостилась крохотная *casa dell'Inglese*¹, саман-

¹ Дом англичанина (*итал.*).

ная хибарка, которую выстроил предусмотрительный британец, чтобы она служила убежищем. Находясь в состоянии оцепенения, вызванного крайней усталостью, Мишель Шарль спрашивает себя, почему его не посадят перед пылающими поленьями. Но у его спасателей другие намерения. Вдоль стены, защищенной от ветра, они выкапывают прямоугольную яму размером с человеческое тело и на три четверти заполняют ее горячей золой, бросив сверху тонкое покрывало. В это подобие могилы кладут Мишеля Шарля, закутанного в старую выцветшую накидку одного из пастухов. Сверху на него тоже насыпают немного теплой золы. Все это происходит при свете факелов, ибо еще совсем темно. Лицо его прикрывают полой пальто.

Постепенно тепло заполняет его тело, а вместе с ним возвращаются жизнь, мысль. Он даже приподнимает кусок материи, стараясь разглядеть, рассвело ли. Но увидеть ему удастся только силуэты двух обессиленных англичан, поднявшихся слишком быстро вслед за маленьким отрядом, и теперь их, охваченных горной болезнью, рвет на пороге. Он вновь закрывает лицо тем же движением, что и умирающие в древности, движением, запечатленным в произведениях искусства, и вновь зарывается в теплую золу. Знает ли студент, еще во время первого посещения музея в Арле открывший в себе жадное любопытство к любому предмету, любой мелочи из жизни римлян, что его яма в точности воспроизводит форму *ustrinum*'a *, прямоугольного рва, сделанного по размерам че-

ловеческого тела, куда римляне складывали трупы близких, по крайней мере тех, ради кого не трагилась на пышный костер? Вспомнил ли он о посвящении огнем и горячей золой, о юном Демофоне *, которого Деметра * положила на горячие угли и который умер от того, что крики и протесты его матери не дали магическому действию свершиться? В горах ни одна женщина не помешала пастухам исполнить ритуал.

Через час с небольшим молодой человек чувствует, что достаточно оправился, и пытается догнать товарищей, находящихся уже на краю кратера. Он ползком взбирается на конус, скользя по кускам пемзы и шлака. Четверть лье он преодолевает за час. Когда он добирается до вершины, уже совсем светло, но его уверяют, что восхода солнца видно не было.

Случившееся в Версале походило на роды: молодой человек бросился вперед навстречу жизни. Приключение на Этне — ритуал смерти и воскресения. Два этих почти священных эпизода послужили бы прекрасным началом для биографии великого человека. Но Мишель Шарль — не великий человек. Я бы определила его как человека заурядного, если бы опыт не учил нас, что людей заурядных не бывает. Опыт учит также, что каждый в течение жизни проходит через целый ряд испытаний. Тех, кто переносит их, полностью осознавая происходящее, мало, и к ним быстро приходит забвение. Тем же, кто удивительным образом о них помнит, часто не удается извлечь из этого пользу.

О художественном вкусе, который Мишель Шарль приобрел или развил в Италии, можно судить по вещам, привезенным им из поездки. К счастью, массового производства сувениров для туристов тогда еще не существовало, оно было кустарным. Ларчик с вставляющимися друг в друга маленькими подносиками из красного дерева, сохранившими следы инкрустаций на античные темы и уложенными словно конфеты в коробке от знаменитого кондитера, представляют собой одновременно и игру («Смотри-ка, Юпитер! — Нет, это Нептун, видите, у него трезубец!»), и образчик того, что нравилось посетителям в музеях в 40-е годы прошлого века. Это художественная безделушка, даже если ее и продавали в довольно больших количествах русским, немецким или скандинавским любителям, совершавшим путешествие по Европе. Я заменила две-три недостающие части с помощью подобных же ларцев, несомненно купленных янки в XIX веке. Более редким экземпляром, приобретенным, вероятно, у какого-нибудь антиквара, является ренессансная копия бюста императора III века, с ониксовой драпировкой вокруг шеи, уменьшенная до подходящих размеров. Такие же копии Рубенс привозил из Италии для своего дома в Антверпене. От бронзовой копии покинутой Ариадны, напротив, веет холодом ампира. Это неважно: сосланная в биллиардную залу дома на Мон-Нуар, она научила меня видеть красоту складок, мягко струящихся

вдоль лежащего тела. Наконец, темное пятно на светлых панелях гостиной — единственная картина, со вкусом выбранная молодым человеком, считавшим, что он ничего не понимает в живописи. Это «Стыдливость и Тщеславие» или «Любовь возвышенная и Любовь земная» какого-нибудь ученика Луини *, мы видим ту же загадочную улыбку, что морщит уголки губ женщин и гермафродитов на полотнах Леонардо. По-моему, я ни разу не спросила, что за фигуры изображены на этом полотне, но чувствовала в них какую-то пленительную строгость, которой ни люди, ни другие картины, висевшие на стенах, не обладали.

У меня до сих пор хранятся две дверные ручки из позолоченной бронзы в форме античных бюстов — Тиберия, изможденного и изнуренного властью и жизнью, и юной невинной Ниобиды с широко раскрытым ртом, испускающей крик отчаяния. Точно такие же ручки можно видеть еще в Венеции, во Дворце дождей. Маленьких бронзовых ручек, отлитых в Италии почти четыре века тому назад, ставших предметами барочной роскоши и покрытых почти нестершейся позолотой, касались сотни неизвестных рук, их поворачивали, открывали двери, за которыми ждало неведомое. Антиквар продал Тиберия и Ниобиду молодому человеку в серо-жемчужных брюках; постарев, мой больной дед, быть может, ласкал их с нежностью. Я укрепила их на двух кусках бруса из моего дома в Америке. Дерево, из которого сделан брус, выросло до рождения Мишеля Шарля в великом безмолвии Острова Пустынных гор *. Ствол,

срубленный человеком, выстроившим этот дом, был сплавлен потом по сверкающим водам пролива, которые зимой кипят и дымятся от соприкосновения с более холодным воздухом. Местные уроженцы, жившие в доме до меня, износили своими грубыми башмаками доски толстого пола, ходя из маленькой прихожей на кухню или в комнату с колыбелью. Мне скажут, что любой предмет может дать основание для подобных размышлений. Что ж, это верно.

Я только упомяну об украшениях, купленных «для женщин», — это мозаичная брошь с Колизеем, освещенным романтической луной, камей с безукоризненным профилем, который мог бы послужить моделью для Кановы или Торвальдсена, камень с вырезанными на нем резвящимися нимфами; все безделушки — в массивной золотой оправе. Рен прикалывала их на свою большую шаль, Габриель и Валери — на легкие косынки. Себе Мишель Шарль оставил камею в чисто античном стиле, сделав из нее перстень, это была голова постаревшего Августа. Он завещал перстень сыну, а тот подарил его мне в день моего пятнадцатилетия. Я сама носила его в течение семнадцати лет и многим обязана ежедневному общению с этим строгим и совершенным образцом глиптики. Споры о классицизме и реализме прекращаются, когда у вас перед глазами их полное слияние в виде римской камеи. Году примерно в 1935-м в порыве, о котором никогда не стоит жалеть, я подарила перстень человеку, которого любила или думала, что люблю. Я немножко сержусь на себя за то,

что отдала эту чудную вещь в частные руки, из которых, несомненно, она вскоре перешла в другие, вместо того чтобы обеспечить ей пристанище в одной из государственных или частных коллекций. Кстати, может быть, в конце концов перстень там и оказался. Стоит ли, однако, об этом говорить? Возможно, я никогда бы не рассталась с этим шедевром, если бы за несколько дней до того, как его отдать, не заметила легкую трещинку, появившуюся от какого-то удара на самом краю ониксовой камеи. Мне показалось тогда, что перстень стал менее ценным, пусть незаметно, но испорченным, обреченным на исчезновение. Тогда для меня это стало основанием, чтобы дорожить им чуть меньше, сегодня это было бы причиной того, чтобы дорожить им чуть больше.

* * *

Гербарий, собранный Мишелем Шарлем во время его путешествия, разумеется, дело рук не ботаника. Цветы значатся в нем не под латинскими названиями, и не создается впечатления, чтобы чудо строения растений что-то значило для него. Учителя в коллеже Станислава преподали ему риторiku и историю так, как они ее понимали, в ущерб естественным наукам, точно так же, как в наши дни преподаватели часто приносят ботанику в жертву ядерной физике, а мода на гербарии, как и на альбомы со стихами и рисунками, прошла. Но сдается, что Мишель Шарль испытывал к цветам инстинктивную любовь, подобно тому как кому-то

кажется красивым обычный василек в траве. По его словам, с помощью этих цветочных композиций он хотел сохранить воспоминания о каждом красивом месте, где ему довелось побывать. Ему было известно, что переживания и впечатления, как будто умершие навсегда, продолжают вечно жить в засушенном листе или цветке. Все то, что он не мог или не хотел сказать в письмах, воскресло в его гербарии: воздух времени, печаль или веселье, глубокие размышления, которые, будучи изречены, оборачиваются штампами, любезности, которыми он обменивался с прелестными крестьянками. Каждый лепесток, тщательно приклеенный, остался на своем месте, маленькое розовое или голубое пятнышко — призрак хрупкой растительной формы, принесенной в жертву истории и литературе. Цветы из сиракузских каменоломен и с Форума, травы из окрестностей Рима и с Лидо («ужасного Лидо» Мюссе, где умирает «бледная Адриатика», в те времена его посещали только венецианские рыбаки и евреи, хоронившие там своих покойников), веточки самшита или тосканских кипарисов, листья апеннинских буков, цветы из Кларана в память о Жюли д'Этанж * и не только самом прекрасном, но и самом необычном романе о любви во французской литературе, который в наши дни плохо знают даже аспиранты или не знают вовсе.

Рядом с цветами — стихи, они взяты то из латинских лириков и элегиков, то из великих поэтов или второстепенных рифмоплетов романтизма. Гораций и Тибул в большой чести в Италии, Шиллер

и Клопшток — в Германии, Байрон и Руссо — в Швейцарии, но Эжезипп Моро* столь же плодovit, как и Ламартин. Каллиграфические строчки фестонами и розочками обрамляют цветы воспоминаний, образуя буквенные венчики вокруг венчиков настоящих, или теснятся волнами вокруг каждого цветочного островка, напоминая кривые линии, называемые в ирландских манускриптах кельтскими, которых Мишель Шарль, разумеется, никогда не видел. Весь художественный дар молодого человека выразился здесь.

После цветов — животные. Прибыв во Флоренцию, он получает до востребования письмо от Габриель, с грустью извещающей его, что Миска, любимая собака Мишеля Шарля, сраженная непонятным недугом, умерла в мучениях, которые не удалось облегчить. «Бедняжка, какой грех ты совершила, чтобы так страдать?» — восклицает Мишель Шарль. Позже ему представится случай повторить тот же оставшийся без ответа вопрос у изголовья четырнадцатилетней девочки, его старшей дочери. Он вспоминает о скромных радостях, которые доставляла ему Миска, о ее шелковистой шерсти, которую так приятно было гладить, о том, как на больших чистых лапах она прыгала с булыжника на булыжник, стараясь не попасть в уличную грязь, о долгих бессонных ночах после катастрофы в Версале, когда спавшая в ногах собака была для него утешением. Я не строю иллюзий: если Мишель Шарль и поддался лирическому порыву, то потому, что в коллеже читал поэму Катулла на смерть воробья Лесбии, а также историю

собаки Одиссея. Но его искренность не подлежит сомнению: отсутствие Миски омрачит его возвращение, умершая Миска станет образцом собачьего совершенства: он знает, что все собаки, которые у него потом будут, подвергнутся безжалостному сравнению и, как бы он их ни любил, прыгающая и повизгивающая Миска навсегда сохранит свое превосходство. Решительно, он — мой дед.

УЛИЦА МАРЕ

Когда Мишель Шарль возвращается во Францию, государственная колесница, как шутили в то время, плывет по вулкану *, Луи-Филипп — на излете. По-прежнему скромный, как это свойственно тем, кто уверен в себе, молодой человек удивлен теплым приемом, оказанным ему властями предрержащими в его родном департаменте Нор. Он прекрасно понимает, что тонкие политики не могут рассчитывать ни на его компетенцию, ибо неизвестно, обладает ли он ею, ни на опыт, которого у него нет. Дело просто в том, что эти господа, находясь в крайности, хотят заручиться содействием молодого человека из хорошей семьи, богатого, чье имя на Севере кое-что значит. Мишелю Шарлю предлагают должность советника префектуры, которую он принимает. Сообщение о его назначении, появившись в «Офисьель» *, заставляет либералов кричать о фаворитизме. Его это мало волнует. Лилль, где он поселяется, нра-

вится ему, тем более что в свете он встречает молодую девушку, отвечающую его идеалу. Мы вскоре увидим, что из этого получилось.

В Байёле легитимисты, проведя час у изголовья Шарля Огюстена, не упрекают отца (как это случилось бы раньше) в том, что он позволил Мишелью Шарлю «есть из правительственной кормушки». Рокот народного недовольства, разрастание клубов и тайных обществ, только что родившееся слово «коммунизм» пугают: все приходят к согласию, что надо поставить имеющиеся в распоряжении таланты на службу порядку. К тому же (подобные противоречия, как водится, есть самая суть политики) надеются на то, что волнения зайдут достаточно далеко, чтобы вернуть во Францию спасителя — Генриха V *. В этом случае Мишель Шарль, находясь на государственной службе, будет иметь больше возможностей оказать услуги законному королю. Кажется, для Шарля Огюстена подобное отступничество, оправдываемое последующим отречением, явилось горькой пилюлей.

Матримониальные прожекты Рен возмущают его почти в такой же степени. Задолго до возвращения Мишеля Шарля предусмотрительная Рен составила список возможных партий, разумея под партиями женитьбу сына. Вопреки тому, что можно было ожидать, она нисколько не принимает во внимание престиж и древность фамилий: она достаточно высокого мнения о семье Шарля Огюстена и своей собственной и полагает, что они не нуждаются в чужом блеске. Рен, женщина хоро-

шего происхождения, родившаяся при старом режиме и не чуравшаяся крепких словечек, сказала бы, что не свинье облагораживать хряка. Вместе с тем нужно, чтобы Мишель Шарль был очень богат. По правде говоря, он уже богат: он получил или скоро получит два-три наследства, которые добавятся к его солидному состоянию. Но Рен, смотрящая на жизнь практически, знает, какое расстояние отделяет по нынешним временам приличное состояние от крупного. Мадемуазель Дюфрен, дочь судьи из Лилля, весит на материальных весах ровно столько, сколько нужно. Эта молодая особа хорошо одевается, у нее приятная фигурка. Несмотря на хрупкую внешность, можно догадаться, что со временем она превратится во внушительную даму. Густые волосы, руки и округлые плечи свидетельствуют о цветущем здоровье: момент существенный. Ее отец, магистрат с будущим, сможет помочь Мишелю Шарлю своим влиянием. Ему принадлежат два-три самых красивых дома в Лилле, и он предполагает отдать один из них в качестве приданого за дочь. Он купил в округе многочисленные фермы, и часть его средств, как говорят, вложена в угольную промышленность.

В этот момент Шарль Огюстен прерывает жену и спрашивает, как она объяснит тот факт, что простой судья обладает таким капиталом. Как только Рен поставила в своем списке галочку напротив имени мадемуазель Ноэми, он проводит собственное расследование. Покойный Дюфрен и его супруга Филиппина Буйез — оба дети земле-

дельцев, уроженцы Шамблен-Шатлена, возле Бетюна. Мать вышеупомянутого Дюфрена звалась Пуарье или Пенен, точно неизвестно, ибо записи в приходской книге сделаны неразборчиво и заставляют предположить, что кюре был так же безграмотен, как и его паства, вместо подписи ставившая обычно крестик. Продвигаясь с трудом от крестика к кресту, от Дюфрена к Дюфрену, мы добираемся до конца XVII века, встречая на пути Франсуазу Лемуар и Франсуазу Леру — обе занимались сельским хозяйством — и Урсулу Телю (красивое крестьянское имя, Шарль Огюстен не знает, что на местном наречии оно означает «звезда»), мать которой звалась Данвен.

Скажем сразу: если бы это было выгодно, Шарль Огюстен охотно женил бы сына — по крайней мере он так думает — на дочери одного из тех славных фермеров, что вернули земли хозяевам, приехавшим из эмиграции, не ожидая никакого вознаграждения за свой благородный поступок. Напротив, милейший Дюфрен, мужик, ставший нотариусом, занимался спекуляцией, и, будучи изворотлив, чаще всего через подставных лиц. На этом он и заработал деньги, позволившие сыну сделать карьеру. Кто знает, не был ли старик замешан в махинации с военными поставками? Слухи ходили, и многие в те времена так и поступали. Пока дело будет зависеть от Шарля Огюстена, наследница Дюфренов не выйдет замуж за его сына.

Рен воздерживается от ответа. Она переводит разговор на супругу судьи, Александрину Жозе-

фину Дюмениль, чьи достойные родители жили и умерли в Лилле, на улице Марше-о-Вержюс. Рен показали миниатюру с портретом Франсуа Дюмениля, галантного судьи времен Директории, в пудре и с косичкой, вид у него благодушный и довольно фатоватый. У его жены Адриены Платель, одетой, как полагалось щеголихе той эпохи (Рен со снисходительной улыбкой вспоминает, как маленькой девочкой она восхищалась воздушными туниками и легкомысленными шляпками, которые ни одна порядочная женщина не осмелилась бы нынче надеть), — лукавый взгляд и рот лакомки. Задним числом приходится опасаться за семейное спокойствие судьи. Но Александрину упрекнуть не в чем, она хорошо воспитала дочь и в высшей степени достойно содержит прекрасный особняк, принадлежащий ее мужу на улице Маре. По правде сказать, принимают там не часто, это объясняется, без сомнения, тем, что Дюфрены почти никогда не приглашают гостей. В гостиной висит портрет двоюродного деда хозяйки, некоего аббата Дюамеля, неprisягнувшего каноника, который, как говорят, зачах и умер в тюрьме во времена Террора. Ничто не может произвести более выгодное впечатление.

Шарль Огюстен замечает, что папаша Дюфрен и его жена, конечно же, никогда не переступали порога этого особняка, принадлежавшего до Революции графу де Рувруа. Не видели их и в Лилле, и сын, разумеется, не собирается их показывать. Старик кончил дни в своей нотариальной конторе, под грохот молотков в мастерской котельника, со-

седа справа, и пьяные песни трактирщика, соседа слева, и его завсегдатаев. Вдова кое-как протянула еще несколько лет после смерти мужа. Именно котельник и трактирщик заявили о смерти обоих стариков. Можно представить себе, как они возвращаются домой в обнимку и, дабы разогнать черные мысли, пропускают по стаканчику за упокой души старого скряги и его старушки вдовы. Сомнительно, чтобы портреты покойных украшали гостиную особняка на улице Маре.

Рен спускается, чтобы приготовить больному его вечернее лекарство. Ничего не решено. Но политика вскоре отодвинет на второй план список будущих невест. Ноэми еще не скоро получит свадебные подарки жениха.

* * *

Взглянем из сегодняшнего дня на этот брак, который, конечно же, будет заключен. Он дал мне в качестве прадеда Амабля Дюфрена, о котором мы нелестно отозвались выше, прапрадеда — нотариуса из Бетюна, сумевшего пожить в смутные времена. Неважно, была ли его история, единственной хранительницей которой я ныне являюсь, истинной или нет: для моих отца и деда она стала своеобразным догматом веры, правда, дед вспоминал о ней, когда его семейная жизнь не ладилась. Со стороны Александрины Жозефины, госпожи Дюфрен, видимость почти нулевая: мне удалось разглядеть только судью прекрасных времен Директории и каноника с суховатыми чертами

лица, сидящего в малиновом кресле, под рукой у него стопка толстых томов, должно быть писания отцов церкви *. Кроме означенных особ я могу предложить вашему вниманию маленький мирок, принадлежавший к лилльской буржуазии, а если заглянуть подальше — к торговцам и ремесленникам старого Лилля или к французским крестьянам Севера, которыми Дюфрены были вплоть до самого конца XVIII века.

Со стороны бетюнского нотариуса, как мы видели, имен сохранилось больше, но они словно соломинки, разбросанные по голой земле. Очень быстро мы вновь сталкиваемся с анонимной крестьянской массой. Поколения, сменявшие друг друга в Шамбен-Шатлене с конца античных, а то и более ранних времен, люди, в течение веков пахавшие землю, соизмерявшие свою жизнь с временами года, полностью исчезли, как исчез скот, который они пасли, как исчезли сухие листья, служившие им перегноем. И разумеется, достаточно забраться в прошлое, века на три-четыре назад, чтобы заметить, что предки «хороших фамилий» в конечном счете вышли все из того же неизвестного чернозема. Более того, есть некое величие в этих навсегда исчезнувших мужланах, от них осталась только строчка в книге приходской церкви, да и ту в один прекрасный день уничтожат огонь или крысы, от них остался только деревянный крест, но и его на зеленом холмике скоро сменят другие. Шарль Огюстен сказал бы, однако, и не без доли здравого смысла, что совсем неплохо иметь предков, которые умели читать, писать и считать

(прежде всего считать) за десятки поколений до этих людей. Но неплохо и другое — не тащить за собой лохмотья буржуазного старья и дворянских доспехов.

Если я не упомянула об этих крестьянах в тот момент, когда пыталась сплести «мою» семейную сеть, то прежде всего потому, что они присоединились к ней благодаря женитьбе Мишеля Шарля только в середине XIX века. А потом кажется, что между Бетюном и Лиллем, с одной стороны, Байёлем и Касселем — с другой, пролегает целое расстояние, отделяющее Фландрию галльскую от Фландрии фламандской. Хотя эти люди пережили одни и те же превратности истории, те же войны, ту же смену правителей и режимов, кажется, что они принадлежат не только к разным социальным кругам, но и к разным расам. Отметим для начала, что, тогда как для Кленверков, Кусмакеров или Бисвалей французский язык, по крайней мере до XIX века, был языком культуры, а фламандский — языком, на котором они говорили с детства, лилльцы и бетюнцы говорили только на французском с незапамятных времен, даже если постепенно он свелся до уровня местного наречия. Их дети в отличие от Мишеля Шарля принимали первое причастие не на фламандском. Благодаря их потомку Ноэми я обнаружила в этих незнакомых мне людях определенную сухость, жадность к труду и напряжению, живость и вместе с тем ограниченность — черты, характерные для французской провинции в целом и сильно отличающиеся от размаха и сдержанной страстности фламандцев.

Но главным образом не упомянула я о них потому, что мне о них ничего не известно. Я могла бы, конечно, используя объедки литературной кухни, состряпать по памяти портрет бедных земледельцев, добавить в мое блюдо щепотку жакерии и пригоршню браконьерства, показать моих предков веселящимися во время деревенских танцулек и попоек или изобразить скуповатых мужиков, набивающих кубышку. Ничто в этих картинках впрямую не напоминает Дюфренов, Телю или Данвенон. Попробуем, однако, с чувством симпатии приблизиться в воображении к кому-нибудь из членов этих семей, выберем наугад хотя бы Франсуазу Лемуар или ее мать Франсуазу Леру. Даже имена обеих Франсуаз им не принадлежат, ибо подобно им миллионы женщин во Франции носили, носят или будут их носить. О Франсуазе Лемуар нам известно только, что она вышла замуж в сорок лет, будучи девицей. Займемся лучше Франсуазой Леру. Эй! Франсуаза Леру! Она меня не слышит. Я прилагаю немало усилий, и мне наконец удастся увидеть ее в доме с глинобитным полом (ребенком я видела похожего в окрестностях Мон-Нуар), подсмотреть, как она утоляет жажду пивом, ест серый хлеб и творог, разглядеть фартук на ее шерстяной юбке. Из-за моей потребности жить просто, с одной стороны, и случайного стечения обстоятельств — с другой, она мне ближе, чем прабабки в оборках.

Живя в другое время, пользуясь удобствами и даже роскошью, которые ей были неведомы, я продолжаю делать то, что некогда делала она. Я за-

мешиваю хлеб, подметаю пол, после ветреных ночей собираю валежник. Я, правда, не сажусь на борова, чтобы он не дергался, когда его режут, но мне случается время от времени съесть ветчины, не такой вкусной, как та, что Франсуаза коптила сама, но свинью закалывают все с той же жестокостью, хотя и не на моих глазах. Зимой у меня точно так же опухают руки. И я знаю — то, что для нее было необходимостью, для меня было выбором, по крайней мере до той минуты, когда всякий выбор становится необратим. Эй! Франсуаза Леру! Мне бы хотелось знать, кем она была в юности — служанкой на постоялом дворе или прислугой в замке, любила ли она мужа или сделала его рогоносцем, ставила ли свечи в церкви или проклинала священника, или то и другое вместе, ухаживала ли за больными соседями или захлопывала двери перед нищими. Надо попытаться понять человека, основываясь на самых банальных жестах и поступках, словно набрасывая его портрет крупными штрихами. Но было бы несправедливо не признавать за этой незнакомкой способность к тонким переживаниям, рождающимся в процессе очищения души, понимаемого как действия алхимика, очищающего золото. Франсуаза могла так же, как и я, любить музыку деревенских скрипачей, народные песни, ставшие ныне лакомством для разборчивой публики, восторгаться тем, как красное солнце садится в снег, могла с грустью подобрать выпавшего из гнезда птенца, приговаривая: какая жалость! Все, что она передумала и пережила по поводу выпавших ей на долю радостей и страданий, болезней,

старости, надвигающейся смерти тех, кого она любила и кто покинул ее, — значит не больше и не меньше того, что передумала и перечувствовала я сама. Ее жизнь была, несомненно, тяжелее моей, но мне все же кажется, что так на так и выходит. Ей, как и всем нам, пришлось столкнуться с безысходным и неизбежным.

* * *

В феврале 1848 года революция в Лилле началась балом в префектуре. Телеграмма с вестью о восстании в Париже пришла слишком поздно, чтобы можно было отменить праздник, но мой дед уверяет, что вид у танцующих был похоронный. Префект вызвал пехотный батальон, чтобы защитить здание, и это привело к тому, что слишком хорошо одетых мужчин и женщин, выходящих из карет, встречали шиканьем и свистом. На следующий день лица еще больше омрачились, когда стало известно об отречении Луи-Филиппа и его бегстве: этот старый буржуа, одетый бедно, но прихвативший с собой целую сумку золота, мчался инкогнито в почтовой карете по направлению к Онфлёру.

Через два дня толпа, возбужденная новостями из Парижа, врывается во двор префектуры. Этот сброд обитает, вероятно, в знаменитых «лилльских подвалах», где гниют из поколения в поколение рабочие семьи, в подвалах, сырых и вредных для здоровья, но приносящих большой доход владельцам. Мишель Шарль, протиснувшись сквозь толпу к решетке, с удивлением замечает мужчину, одетого в

старье и в старой шляпе: это префект собственной персоной, господин Д. де Г., который, сам того не ведая, подражает королю Франции. Видя, что молодой советник узнал его, господин Д. де Г. умоляет Мишеля Шарля незаметно проводить его в штаб-квартиру армии на улице Негрие, где он будет в безопасности под защитой военных. Еще не забыв о римских сенаторах, поджидавших варваров, сидя в курульных креслах, юноша удивлен, но спешит оказать начальнику услугу, по дороге тот поручает Мишелю Шарлю защиту жены и дочерей, оставшихся в префектуре.

Вернувшись, Мишель Шарль обнаруживает, что толпа хлынула на крыльцо: поток грязных, плохо одетых людей заполняет первый этаж и бельэтаж. Старый слуга стоит на страже у дверей апартаментов жены префекта: «Здесь женщины, сюда нельзя входить». Мишель Шарль, страдающий порой напыщенностью стиля, но в разговоре позволяющий себе вольности, скажет потом, что лакей был мужик что надо.

Во дворе какой-то крикун, напоминая о погибших на парижских мостовых, проклинает местные власти, «которые отплясывали под звуки льющей крови наших братьев». Он вызывает улыбку у молодого человека, привыкшего отделывать свои метафоры. Толпа, размахивающая красным флагом, громко требует принести трехцветные ленты и знамена, украшавшие парадную залу префектуры, и устроить из них костер. Но их поспешно сняли, чтобы заставить забыть о злосчастном бале, никто не знает или не хочет знать, где они. За не-

имением лучшего толпа срывает красивые шторы на первом этаже и сжигает их на Большой площади, это бессмысленное разрушительство доводит раздражение людей порядочных до предела. Снятый с пьедестала и брошенный в огонь бюст Луи-Филиппа привлекает меньше внимания.

Через несколько дней уроженец Дуэ Антони Туре, комиссар по особым делам Временного правительства, прибывает в Лилль, чтобы создать там Республику. Он «грязен, жирен, вульгарен» и с рвением выполняет свои обязанности, похваляясь тем, будто в течение четырех дней спал не раздеваясь и не разуваясь, это сразу чувствуется. Он созывает членов совета префектуры, чтобы узнать, согласны ли они сотрудничать с новым режимом. Неловкое молчание наполняет зал. Мишель Шарль протискивается в первый ряд, чтобы комиссар его видел и слышал.

— Я согласен продолжать выполнять мои обязанности, но мои политические взгляды останутся при мне.

Одинокий голос приводит представителя нового порядка в ярость. Уже предатели! Уже мятежники! Он раздражается панегириком Республике. Поблекшие риторические цветы, ораторская пышность бедняги раздражают молодого советника, и он решает дать комиссару отпор. Его сосед, некий господин де Жанлис, человек зрелый, мягко кладет ему руку на плечо:

— Осторожнее, молодой человек! Вспомните, что они сделали с нашими во время Великой Революции.

Эти слова, послужившие для молодого человека своего рода дворянской грамотой, успокаивают Мишеля Шарля, и он позволяет оратору закончить, не перебивая его. Присутствующие выходят из зала, одни не заговорят с молодым Креанкуром, другие постараются обойти его стороной. Не годится быть смельчаком в одиночку.

На следующий день он получает уведомление об отставке, подписанное комиссаром и вице-председателем совета префектуры, неким бароном де Т., пользующимся большим уважением среди консерваторов. Впервые на официальном документе барон не указывает свой титул. Столкновение с трудностью — тоже обряд посвящения. Мишель Шарль, которого в течение жизни будут увольнять трижды, набирается опыта. Ему остается только вернуться в Байёль.

Когда он предстает перед отцом, тот оказывает ему неожиданно теплый прием. В глазах легитимиста отставка Мишеля Шарля смывает с него позорное пятно.

— Наконец-то я узнаю тебя, — говорит Шарль Огюстен, обнимая сына.

Но Большой Страх буржуазии не улегся, и не без оснований. Кавеньяк * в роли спасителя не пользуется никаким весом, Шангарнье всего-навсего старый, никуда не годный рубака. Приход к власти Луи-Наполеона успокаивает всех, даже если Бонапарт, пусть и поддельный, не вызывает восторга у людей серьезных. Во всяком случае, начинаются репрессии. В Лилле после майского

бунта 1849 года, вызванного голодом, уголовный трибунал под председательством Амабля Дюффрена приговорил сорок три человека к тюремному заключению общим сроком на сорок пять лет и к семидесяти четырем годам надзора. Большая часть осужденных — дети. Подросток, укравший хлеб, был наказан строго: два года тюрьмы. Вдовец, который на ежедневный заработок в один франк двадцать су содержал худо-бедно семью из четырех человек, разрыдался, услышав аналогичный приговор. Другой нищий делает вид, что кончает с собой в зале суда. Некий Ладюро, адвокат из Лилля, защищает этот сброд, к сожалению избавив подсудимых от еще более сурового наказания. Все сходятся на том, что Амабль Дюффрен, который вскоре станет председателем гражданского трибунала Лилля, — человек порядка.

Мишель Шарль сам говорил, что этот тревожный год был для него временем отдыха. Он занимался тем, что разбирал записи и расставлял сувениры, привезенные из путешествия. Если бы надо было приукрасить деда, я бы хотела, чтобы несправедливости, творимые в тот момент правыми, возмущали его сильнее. Тем не менее в эпоху, когда каждый лжет или болтает чепуху, когда выбирать приходится между стражами порядка, не знающими ни жалости, ни сострадания, зачерстевшими в показной нравственности, и идеологами, чьи ошибки и просчеты ведут к диктатуре, между сытыми волками и голодными баранами, молодой человек, забавляющийся тем, что из ку-

сков старинного мрамора мастерит пресс-папье, возможно, смотрит на вещи реалистично.

Тем не менее он был очень доволен, когда в декабре 1849 года вновь вернулся к прежним обязанностям. Отец на сей раз ничего не сказал: он был очень плох. Примерно в это же время Мишелю Шарлю предлагают супрефектуру в Азбруке, от которой он отказывается, потому что считает Лилль лучшим местом деятельности и потому что весьма решительно ухаживает за мадемуазель Нозми. Он женится на ней в сентябре 1851 года. Шарль Огюстен умер за год с небольшим до свадьбы.

* * *

Это была не грандиозная свадьба, это была даже не прекрасная свадьба. Это была очень хорошая свадьба. В данном случае я сужу, разумеется, с точки зрения публики. Иные старики порассуждали, конечно, подобно Шарлю Огюстену, о состояниях, приносящих несчастье: они несли вздор. Рен, которая давно уже вела обычные переговоры с родителями невесты и нотариусами, вернулась в Байель с дочерьми, счастливая тем, что хорошо послужила сыну. Не станем спорить, поднялся он или спустился по социальной лестнице, ибо система каст в Европе столь же сложна, как и в Индии. Во всяком случае, выбор был сделан. В двадцать девять лет Мишель Шарль переживает тот период в жизни, когда возможности человека, поначалу

казавшиеся бесконечными, сводятся к двум-трем. Все, что будет потом, решается именно сейчас.

Пока Мишель Шарль совершенно доволен молодой женой, уважением, которым он пользуется в обществе, своим достатком. Не будучи честолюбивым и отличаясь этим от матери, он довольствуется тем, что прилежно выполняет свои обязанности, состоящие в том, чтобы разрешать все департаментские жалобы. Лилль по сравнению с сонливый Байёлем кажется большим городом, и он гордится тем, что занимает здесь видное положение. Мишель Шарль снова носит прежнее имя, которое семье вернули по официальному декрету, он с некоторой наивностью называет это имя «дворянским», скажем точнее, оно обозначает принадлежащие ему земли и звучит на французский лад. Он отказался от устаревшего титула шевалье («Я не ношу его, ибо это не принято»)*, звучащего теперь не солидно и легкомысленно и, конечно же, не подходящего серьезному мужу Ноэми, тогда как юноша, совершавший путешествие по Европе, мог бы на худой конец так называться. Шевалье де Лоррен *, шевалье д'Эон *, шевалье де Ла Барр *, шевалье де Сенгалът *, шевалье де Валуа *, шевалье де Туш *... Шевалье Кленверк звучало бы не так уж плохо.

Амабль Дюфрен записал особняк по улице Маре, 26, на имя Ноэми, дом переходит затем во владение зятя. Амаблю принадлежат также дома под номерами 24 и 26 бис, кажется, какую-то часть владений он занимает сам, сдавая остальное внаем одному из сослуживцев. Две первые зимы

в моей жизни я провела именно в доме 26 по улице Маре: мои кости, должно быть, до сих пор хранят воспоминания о тепле его печей. Маленькой девочкой я возвращалась туда дважды или трижды, чтобы навестить бабушку — либо весной, до ее переезда на Мон-Нуар, либо при наступлении первых холодов, когда она переселялась в город. Я смутно ощущала атмосферу заброшенности, царившую в доме старой дамы, больше не принимавшей гостей. В глубинах моей памяти я отыскиваю воспоминания о ступеньках мраморной лестницы, изгибающихся перилах, о высоких деревьях в просторном саду, о сводчатой галерее, которая должна была напоминать Мишелю Шарлю римские портики XVIII века. Эти серые, холодноватые особняки, вытянувшиеся как по линейке, построенные во времена французских интендантов и сменившие в Лилле старые дома с резными позолоченными коньками крыш, творения мастеров эпохи герцогов Бургундских, тоже хранят свои секреты. По преданию, особняк на улице Маре до того, как перейти в руки господина де Рувруа, был роскошным обиталищем некоего откупщика, который поселял там оперных хористок. Примерно году в 1913-м, после смерти Ноэми, дядя, унаследовавший дом 26, обнаружил на антресолях несколько потайных комнат, куда свет проникал сквозь почти невидимые окна, там стоял затхлый запах и хранились предметы несколько сомнительного свойства. Костюмы времени Дю Барри висели в стенных шкафах: шелк и тафта, ситец в цветочек и блестящий шелк в полоску. Те,

кто носили эти платья, должно быть, восхитительно терялись под деревьями в саду. Из ящика извлекли эротические книги и эстампы: дядя, человек суровый, велел все это сжечь.

Когда я проезжала через Лилль в 1956 году, на месте сада выросли какие-то случайные постройки, но старый консьерж еще помнил о великолепных деревьях. Особняк занимало страховое общество, сводчатая галерея была на месте. Прошло почти двадцать лет. Приятель из Лилля пишет мне, что квартал сильно изменился и превратился в своего рода гетто для североафриканцев. «Мне казалось, что я совершил путешествие в Мекку», — добавляет этот милый человек, сожалея о старом городе. Страховое общество куда-то переехало, дом был пущен в продажу. Я говорю себе, что для Амабля Дюфрена, убежденного орлеаниста до того дня, как он принял империю, завоевание Алжира, несомненно, было одним из главных событий века. Отдаленные последствия этого подвига сыграли свою роль в судьбе его особняка.

Именно в этом дворе вскоре после женитьбы в безмятежной жизни Мишеля Шарля появилась первая трещина. Большой любитель лошадей, он только что купил чистокровного жеребца, на котором намеревался кататься каждое утро по ухоженным аллеям, прилегавшим к городской крепости. Недавно нанятый грум — кучер Дюфренов не мог справиться со всем — ждал его указаний, когда теть, выйдя от Ноэми, подошел к Мишелю Шарлю и сказал с неуклюжим сарказмом:

— Вы начинаете спозаранку превращать деньги моей дочери в конский навоз.

На подобного рода остроты могут быть разные реакции. Мишель Шарль мог закатить судье такую оплеуху, что тот скатился бы по ступенькам лестницы. Он мог приказать открыть ворота, уехать на жеребце и больше не возвращаться. Его сын так бы и поступил. Он мог с основанием возразить, что у него самого достаточно средств, чтобы содержать верховую лошадь, и ему нет нужды прибегать к приданому Ноэми. Он мог продолжать отдавать приказания груму, словно ничего не произошло. Но Мишель Шарль из тех, кто, сталкиваясь с недоброжелательностью или злобой, отступает, не из трусости, мы видели, что трусом он не был, а потому, что ему противно спорить с наглецом или грубияном, он отступает из гордости, из таящегося в глубине души равнодушия, заставляющего его отказываться от того, чем он владеет или чего желает, при этом у него такое чувство, что все равно он недолго владел бы данным предметом или что желал он его не так уж сильно. Я порою замечала подобную же реакцию у моего отца и у себя самой. Мишель Шарль решает отправить лошадь на Мон-Нуар и больше никогда не станет ездить в Лилле верхом.

* * *

Склонимся теперь над бездной мелочности и ограниченности: поговорим о Ноэми. Женщины, обходившиеся с мужьями как с консерджами, а то и

как с лакеями, существовали во все времена, и, быть может, особенно в XIX веке. Подобное отношение вовсе не исключает чувства: Виктория с любовью держала Альберта в подчиненном положении. Мишель Шарль, всегда склонный к тому, чтобы представлять вещи в самом благоприятном свете, в воспоминаниях, написанных для детей, подчеркивает, что Ноэми умна (на свой лад она действительно была умна), красива (сейчас мы увидим, так ли это), прекрасная хозяйка (он не преувеличивал), изысканна — я опасаясь, что это неподходящее слово означает прежде всего напускную любезность, строго дозированную в зависимости от ранга, состояния, положения в свете, которое дамы из приличного общества оспаривали друг у друга. Мишель Шарль знал, что в сущности жена его была грубой и ограниченной, и откровенно говорил об этом с сыном. Чтобы оценить Ноэми, не умаляя ее достоинств и вместе с тем не проявляя злобы и ожесточения, надо прежде всего попытаться увидеть ее в истинном свете, даже если разрушенный нами миф будет вновь восстановлен.

Я узнала ее уже в восьмидесятилетнем возрасте, скрюченной и отяжелевшей от прожитых лет, она сновала взад-вперед по коридорам дома на Мон-Нуар, подобно тому как в рассказе Уолтера де Ла Мара незабываемая тетушка Ситона бродит по пустому дому, став в глазах детей настоящим воплощением Смерти или, хуже того, Зла. Но прозаическая натура Ноэми не способствовала нагнетанию ужасов. Рассорившись с сыном, будучи в холодных отношениях с зятем, которого она боя-

лась, относясь к внуку одновременно пристрастно и язвительно, ко мне она придиралась, но ей не удавалось разрушить тот кокон равнодушия, который порой окутывает ребенка, защищая его от издевательств взрослых. Наевшись, вдовушка усаживалась в гостиной, в углу, откуда она незамеченной могла наблюдать за анфиладой комнат и слышать, что говорили о ней на первом этаже, благодаря отдушине, служившей ей акустической трубой. Искушенная прислуга сплетничала о ней, либо находясь на приличном расстоянии от указанного места, либо с умыслом. Если из отдушины вылетала злая шутка, мадам находила приятный повод, чтобы устроить сцену. Горничная Фортюне служила ей плохо, но бабка привыкла к ней, и та интриговала, по ее прихоти виновные то впадали в немилость, то бывали прощены. Сиделки-монашки, находившиеся при бабке в конце ее жизни, подвергались тому же полицейскому надзору. Старуха, всю жизнь боявшаяся смерти, умерла в одиночестве на Мон-Нуар: у нее остановилось сердце. «Сердце? — воскликнул шутник-сосед. — Между нами, она не часто им пользовалась».

На первом сохранившемся портрете Ноэми четырнадцать лет, на ней короткая юбка и фартук. В 1842 году Амабль Дюфрен вздумал заказать местному художнику два парных полотна, полу-портреты, полужанровые картины. На одном изображен сам судья, сидящий в прекрасной библиотеке дома на улице Маре. Высокий, сухой, холодный, тщательно выбритый, он смахивает на псевдобританца, такой вид во времена Гизо обо-

жали напускать на себя чиновники. Стены сверху донизу заставлены книгами в красивых переплетах. Бюст Боссюэ свидетельствует об уважении хозяина к церковному красноречию. На верхушке церкви святой Екатерины, виднеющейся в открытое окно, гордо развевается трехцветный флаг короля-гражданина *. Маленькая Ноэми, вошедшая скорее для того, чтобы что-то сообщить отцу, нежели для того, чтобы попросить разрешения взять книгу, напоминает о семейных привязанностях, в те времена подчеркивать их считалось хорошим тоном. На другом портрете Александрина Жозефина Дюфрен в плюсовом чепце чопорно восседает в кресле рядом с камином, где красуются часы с канделябрами, существующие до сих пор. Возле госпожи Дюфрен стоит мальчик в воротничке. Рядом, на столе, дамское рукоделье, на клавишине — ноты романса. Каминный экран украшен античной сценой, выполненной гризайлью, а сквозь проем застекленной двери виден сад со статуей нимфы. Огромный ковер из Савонри своими яркими красками затмевает все остальное.

Мальчика в воротничке звали Анатоль, а может быть, Гюстав или Анатоль Гюстав (неизвестно, один или два сына супругов умерли молодыми). Гюстав покинул сей мир холостяком и доктором права в возрасте двадцати девяти лет. Его имя значится в документе, касающемся благотворительного учреждения, в создании которого Дюфрены приняли участие десять лет спустя. Анатоль, если предположить, что он существовал, нигде не упомянут. «Воспоминания» деда обходят

молчанием этого усопшего или усопших, единственной наследницей которых стала Ноэми. Достоянная Александрина Жозефина, напротив, представлена в записках как «лучшая из женщин». Мой отец никогда не говорил ни о дяде (а может, их было двое), умершем слишком рано, чтобы отец мог его знать, ни о «лучшей из женщин», хотя она, кажется, дожила до начала XX века. Нет нужды посещать некрополи Востока, чтобы научиться забвению.

Не из любви к красочным сценам я остановила читателя перед двумя этими портретами, где предметы почти столь же важны, как и люди. По правде говоря, всякое общество, каким бы оно ни было, основано на обладании вещами. Многие из тех, с кого писали портреты, всегда требовали, чтобы рядом с ними были изображены любимые безделушки, точно так же, как во времена древности они потребовали бы, чтобы их положили вместе с ними в могилу. В каком-то смысле часы и ковер Александрины Жозефины стоят шлепанцев на деревянной подошве, зеркала и супружеской кровати Арнольфини. Но модели Ван Эйка жили в эпоху, когда предметы были еще значимы сами по себе. Шлепанцы и кровать символизируют интимность супружеской жизни, почти магическое зеркало запотело от того, что оно видело или однажды увидит. На наших портретах, напротив, интерьер есть свидетельство эпохи, где «иметь» возобладало над «быть». Ноэми выросла в кругу, где прислуга должна «знать свое место», где не держат собак, потому что собаки пачкают ковры,

где не сыплют птицам крошки на подоконник, потому что птицы пачкают карнизы, где нищим на Рождество подают милостыню, не пуская их за порог из боязни вшей и парши. Ни один ребенок «из народа» не играл в чудесном саду, ни одна из зловредных книг, нападавших на «правильные теории», не допускалась на полки красивой библиотеки. Для этих фарисеев, считавших себя христианами, принцип «люби ближнего, как самого себя» хорош тогда, когда о нем вещает священник в проповеди. Те же, кто алчут и жаждут справедливости, — бунтовщики, которые кончат на каторге. Никто не рискнул сказать Ноэми, что богатство, которым ты не поделился, есть форма злоупотребления, что обладание бесполезным — излишне. Она почти не задумывается над тем, что когда-нибудь умрет, но знает, что после смерти родителей унаследует их состояние. Она не знает, что любая встреча с кем-нибудь, будь то мусорщик, остановившийся у ворот дома 26 по улице Маре, должна быть праздником доброжелательства, а то и братства. Никто не сказал ей, что вещи заслуживают того, чтобы их любили самих по себе, вне зависимости от нас, их непостоянных владельцев. Никто не научил ее любить Бога, который в лучшем случае считался в семье своего рода небесным председателем Дюфреном. Никто даже не научил ее любить себя. Верно, что миллионы существ находятся в подобном положении, но у многих из них какое-то качество, какой-то дар все же произрастают на этой неблагодарной почве. Ноэми не выпало такой удачи.

Она добродетельна в том отвратительном узком смысле слова, который оно приобрело в ту эпоху, когда употреблялось только применительно к женщинам, словно для женщины добродетель была связана лишь с определенной частью ее тела. Г-н де К. не будет обманутым мужем. Была ли она целомудренна? Только ее простыни могли бы нам об этом поведать. Возможно, что эта сильная, крепкая женщина была натурой пылкой, и Мишель Шарль сумел ее удовлетворить, а может, напротив (я склоняюсь ко второй гипотезе, ибо женщина удовлетворенная не бывает сварлива), определенная скудость темперамента, недостаток любопытства или воображения, а также советы, которые Александрина Жозефина, должно быть, дала ей, отвратили ее от удовольствий не только «запретных», но даже и дозволенных. Плотский акт мог казаться Ноэми, как и многим ее современницам, одним из неудобств замужества, без которого «особа женского пола» не могла считать себя «устроенной» и «оставалась на бобах». Тем не менее без всякого ущерба для своей репутации она гордится «своим красивым телом». Оно ей дорого, но не как нечто незаменимое, без чего невозможна жизнь, и уж, полагаю, отнюдь не как инструмент сладострастия, но как мебель или ваза, находящиеся в ее владении. При случае, как того требует мода, она обнажает его или одевает в тафту и кашемир не только из кокетства, но и из чувства осознания своего «общественного положения». Она любит показывать свои «точеные» плечи и руки, разумеется, не больше, чем щеголи-

хи в Тюильри или в Компьене, и все же чуточку больше, чем допускает показная провинциальная стыдливость.

Кажется, однажды вечером, по окончании бала, Мишель Шарль, спускаясь по лестнице красивого особняка вместе с супругой, услышал неприятный треск рвущейся шелковой материи. Под напором толпы господин де Н. (инициалы мною выдуманы), старый холостяк, принадлежащий к высшему обществу Лилля, законодатель мод, злюка и чуточку горбун, нечаянно наступил на шлейф красавицы, шедшей впереди. Ноэми обернулась и свистящим голосом мифической Медузы отчеканила:

— Чертова тряпка!

— Эта тряпка, сударыня, была бы уместнее на ваших плечах, нежели на ваших устах.

По возвращении домой Мишелю Шарлю пришлось выслушать, вероятно, заслуженные упреки. Уважающий себя муж должен был бы вызвать наглеца на дуэль. Но с калекой не дерутся. Супруг потихоньку наслаждается тем, что делает вид, будто ничего не слышит, и едва сдерживает себя, чтобы не улыбнуться понимающе виновнику происшедшего.

Автор всегда колеблется, прежде чем предложить вниманию читателей подобную историйку. Возможно, что господин де Н. почерпнул свою реплику из сборника изречений, возможно даже, что Мишель Шарль оттуда же извлек этот анекдот, чтобы позабавить им сына.

Я уже отмечала пристрастие бабки к притяжательным местоимениям. Особняк в Лилле — «мой особняк», Мон-Нуар — «мой замок», семейное ландо — «мое ландо». Мишель Шарль, «мсье» при прислуге, в остальное время — «мой муж», по имени она вдруг называет его только для того, чтобы выговорить ему («Мишель Шарль, вы сейчас опрокинете коляску!»). На людях она часто ему противоречит («Эта история произошла совсем не так, как рассказывает мой муж») или делает замечания («Мишель Шарль, у вас плохо завязан галстук»). Кресло, которое он находит безобразным, а она — великолепным, зарезервировано ею исключительно для отца («Не садитесь сюда, Мишель Шарль, это любимое кресло вашего тестя»). Он навсегда перестает пользоваться этим ярко-красным или ядовито-желтым креслом, которым председатель, кстати, не так уж и дорожит и которое по большей части пустует, как в «Макбете» кресло Банко. Даты отъезда весной в деревню и возвращения осенью в город назначаются за несколько месяцев. Если Мишель Шарль и дети простужены, пусть лучше укутываются («Я никогда не простужаюсь»). Дюфрены убедили зятя завести общего с ними нотариуса, они дают ему советы в приобретении ценных бумаг. Председатель купил земли на Мон-Нуар, чтобы увеличить владения молодой четы: Мишель Шарль не чувствует себя дома на этих ста тридцати гектарах леса, лугов и ферм. Кажется, Амабль решил по собственной инициативе расширить небольшую дворянскую усадьбу, которой уже четверть века.

Во всяком случае, в секретном докладе судью упрекают в том, что он взял на себя смелость выстроить маленький замок. Письменные столики в стиле Людовика XV, но сделанные во времена императрицы Евгении плохо сочетаются со старыми фламандскими сундуками и мебелью эпохи Реставрации. Находясь на Мон-Нуар, Мишель Шарль был бы не прочь, как когда-то, обедать по воскресеньям у матери, в ее байёльском доме. Он бывает там один, его отъезды и возвращения вызывают недовольство.

Ему хотелось бы, тем более что средства позволяют, съездить на несколько недель в Ниццу или в Баден, а то и снова побывать в столь любимой им Италии. Это скромное желание является объектом иронии со стороны Ноэми («Мне хорошо там, где я есть»). Он отказывается от своих планов и оставляет давнюю привычку бормотать вслух стихи, кажущиеся ему красивыми и подходящими к случаю, — встречать восход Луны Вергилиевым «*Tremulat sub lumine*» * или в разговоре о детях вспоминать «Семейный круг» Виктора Гюго *. За столом по возможности она прерывает его неуместные цитаты сухим замечанием, брошенным лакею («Это вино недостаточно охлаждено», «В солонке мало соли»). Мишель Шарль усугубляет свою вину, стараясь шуткой смягчить резкость упрека («Никогда не следует фамильярничать с этими людьми»). Если он оставляет на пуфе в гостиной газету «Журналь де деба», которую еще не дочитал, то потом находит ее смятой в камине («Ничто не создает такого беспорядка, как газета,

валяющаяся где попало»). Только ему хочется занять свободный будуар, чтобы расширить библиотеку, как становится необходимым использовать эту комнату под бельевую. Когда в Байёле умирает кузен Бисваль, богатый библиофил, прозванный Золотым тельцом и внесший Мишеля Шарля в завещание, приходится решать, продавать или нет знаменитую коллекцию инкунабул и часословов, гравюр и акварелей. Ноэми высказывается за продажу («У нас уже и так достаточно книг»), и крупная сумма, вырученная на аукционе, вроде бы подтверждает ее правоту даже в глазах Мишеля Шарля, тем не менее жалеющего о Лафонтене откупщиков.

Мой дед в подобных ситуациях напоминает стратега, отступающего на заранее подготовленные позиции. Ноэми же торжествует, подобно завоевателю на выжженной земле. Мишель Шарль говорит себе, что было бы смешно придавать такое уж значение добрым словам, ласкам или улыбкам. Нельзя иметь все: в сущности, у Ноэми немало хороших качеств. Ему остаются служба, беседы с коллегами, книги (он чаще перечитывает старые, чем читает новые), уроки, которые он дает детям. Утром, за кофе и гренками, Мишель Шарль либо молчит, не находя темы, которая не вызывала бы разногласий, либо пускается в рассуждения о погоде, обычно встречающие возражения («Идет дождь». — «Вы ошибаетесь, уже десять минут, как дождь кончился»). Этот мужчина и эта женщина, образующие уважаемую супружескую пару, имеющие двух чудесных детей, порой все

еще спящие в одной постели, в сущности, желающие друг другу добра, в будущем разъединенные смертью одного из них, в вежливом молчании, а порой едва не срываясь, будут так вот завтракать почти двенадцать тысяч раз.

* * *

Существует меж тем неистощимая тема для разговоров: большой обед, устраиваемый по вторникам. «Тут она чувствует себя как рыба в воде», — с неуловимой усмешкой замечает Мишель Шарль. Речь идет не только о переговорах с кухаркой, записках цветочнику, торговцу рыбой, трактирщику, портнихе, которая кое-что переделывает и подправляет в одном из парижских туалетов, или об уютжке камчатных скатертей, малейшая складка на которых недопустима. Самое главное — составление списка приглашенных. Важно проследить, чтобы ни одному лицу, стоящему ниже определенного социального уровня, не были предложены тюрбо и ананасы. Некоторые персоны приглашаются *ex officio*¹: префект, командующий крепостью, директора Северной железной дороги, когда они бывают в Лилле, парижские банкиры, приезжающие пощупать пульс местной промышленности, представители хороших семей, примкнувших к режиму (во всяком случае, их легитимизм не более чем безобидная

¹ По долгу службы (*лат.*).

причуда), епископ (что всегда производит благоприятное впечатление) и нунций, если он оказывается под рукой. Время от времени председатель насильно приглашает проезжающих собратьев, например папашу Пинара, имперского прокурора, осудившего за оскорбление нравов «Цветы зла» господина Бодлера и едва не добившегося того же успеха с «Госпожой Бовари»*. Этот защитник общественного целомудрия коллекционирует похабные экспромты времен античности. Председатель Дюфрен, еще один любитель, состязается с ним в двусмысленных ученых цитатах. Мишель Шарль держится с достоинством.

В остальное время в ход идут шуточки, либо вывезенные из Парижа, либо казарменного толка. Приглашенные женщины — дамы весьма серьезные, но они привыкли к сальностям в конце обеда, когда содержимое пяти бокалов, стоящих перед каждым прибором, маленькой радугой начинает играть в головах. («Мы в семье были очень «эвоэ» — уверял меня несколько лет назад восьмидесятилетний кузен, который никак не мог присутствовать на этих пирушках Второй империи и вспоминал скорее о семейных воскресных обедах в Байёле, когда у старика-гостя, больного раком щеки, через рану сочилось шампанское). В возбуждающей атмосфере лилльских вторников каждый считает себя остроумцем, и все безудержно предаются сиюминутному оптимизму. Париж, куда Мишель Шарль и Ноэми ездят по меньшей мере раз в год, никогда еще не был веселее и роскошнее. Рента растет, дивиденды пухнут на глазах. Дома для ра-

бочих, построенные в Рубе, приносят двадцать пять процентов. В них, правда, недостает окон и даже дверей. Мишель Шарль, вынужденный вмешаться в это дело, признает, что их следовало бы объявить опасными и непригодными для жилья, но потом говорит себе, что, в конце концов, надо же как-то расселять рабочих ткацких фабрик и что владельцы капиталов входят в дело только тогда, когда уверены в большой прибыли.

Граф де Паликао, завсегдатай вторников, рассказывает несколько случаев из китайской кампании, в которой он участвовал: французские пушки одержали триумфальную победу над бандами желтокожих всадников, вооруженных, как и подобает дикарям, палками и стрелами. Эти варвары отказывают цивилизованным нациям в концессиях, которые, однако, облегчили бы их положение. Арабы, кстати, также закрыты для прогресса. В Алжире солдаты Бюжо, конечно, зашли несколько далеко: от поселений мятежников, захваченных вечером, к утру часто оставалась только куча пепла, причем дикари сгорали вместе со своими лачугами. В курительной, где можно не бояться испугать чувствительных дам, герой признается даже, что было несколько случаев, когда детей бросали на штыки. Что вы хотите? Война есть война.

Человек, писавший секретные донесения и, разумеется, присутствовавший на этих вечеринках, не может нахвалиться мягким и доброжелательным характером Ноэми, и это мнение присутствует во всех его докладах: «Несмотря на крайнюю скромность, в свете она не остается незамечен-

ной. Кстати, у нее нет там большого влияния, и она никогда не пытается его оказывать». Возможно, что в амбициях, как и в любви, Ноэми была существом ограниченным. Возможно также, что ее безразличие было следствием похвальной и основательной гордости провинциалки, удовлетворенной тем, что она есть, и не претендующей на большее. Я благодарна ей за то, что в гостининых префектуры она не старалась выставить себя в выгодном свете.

Докладчик, кажется, составивший неблагоприятное представление о людях и жизни на Севере, как бы против воли замечает, что Мишель Шарль, «принадлежащий к лучшим фамилиям страны», «держит себя безупречно» и что «его манеры отличаются определенной изысканностью». Но «в нем чувствуется фламандское происхождение». «Ум его не так быстр, но под личиной добродушия кроется определенная тонкость. Его умение говорить — замечательно». «Ум, не предрасположенный к политике», — замечает анатом человеческих марионеток, который в данном случае прав, какой бы смысл, положительный или нет, ни вкладывать в его слова. Но «он хорошо разбирается в делах, и ему нельзя предъявить какие-либо претензии. Его положение и связи делают его полезным». С другой стороны, он, несомненно, «достаточно образован», чтобы вскоре благодаря этому кисло-сладкому докладу занять должность вице-председателя совета префектуры. Официальный шпион говорит правду. Мишель Шарль всего

лишь достаточно, а следовательно недостаточно, образован. Во всякой сфере деятельности не так уж важно «идти в ногу со временем», есть даже определенное преимущество в том, чтобы не попадать в ловушку модных веяний. Тем не менее в эпоху Дарвина, с одной стороны, Ренана и Тэна — с другой, человек, перечитывающий Кондильяка потому, что учителя в коллеже давали ему его читать, открывающий время от времени Тацита, чтобы не забыть латынь, и преподающий дочери мировую историю, поделив ее на шесть периодов, от Адама до Людовика XIV, не является «человеком образованным» в подлинном смысле слова. Боюсь, однако, что парижский докладчик судит Мишеля Шарля на том основании, что деду неизвестны «Девица Элиза» и последние куплеты Оффенбаха.

По части нравов свыше ему дано официальное благословение: Мишель Шарль, хороший семьянин, посвящает себя исключительно жене и детям. Что и засвидетельствовано, хотя с некоторыми всегда приличествующими случаю оговорками. Но, увы, и писака возвращается к этому факту с настойчивостью, оправдывающей любой сепаратизм: «он фламандец». «Физиономия у него экспансивная, открытая, несмотря на совершенно фламандский тип лица», характер у него типично фламандский: он, безусловно, абсолютно лоялен, и я далек от того, чтобы предположить, будто он может исказить правду, но он не всегда говорит ее всю». Доносчик в данном случае прав. Но двойственность во Франции вре-

мен Второй империи, разумеется, не была достоинством только одной презируемой расовой группы. У Мишеля Шарля это качество определяется прежде всего привычкой, приобретенной в религиозных коллежах, где умолчание и мысленные оговорки процветали начиная с XVII века, привычкой, часто оборачивавшейся пороком — поддельной искренностью.

Но для официального стукача гораздо важнее, каким богатством обладает данная личность. После смерти матери и тестя состояние вышеупомянутого лица доходит до ста тысяч франков ренты. Это крупное состояние играет роль поводка. «Он слишком дорожит тем, что имеет, а потому служит преданно правительству императора». Слово «преданно» в данном контексте вызывает улыбку просто Мишель Шарль никогда не допустит ошибки и не свяжется с либералами, чей «скрытый социализм» является угрозой собственникам. Империя остерегается левых.

Не забыты ни легитимизм родных Мишеля Шарля, ни орлеанизм — как его собственный, так и тестя, который в другом официальном донесении получает по заслугам: «Довольный орденской ленточкой и важным постом председателя лилльского суда, успокоенный (и не он один) своей несменяемостью», Амабль Дюфрен поддержал кандидатуру орлеаниста, депутата П., родственника зятя, и с сарказмом отзывался о режиме. Уверенно чувствующий себя «благодаря своему положению и связям», зять тоже не внушает особого доверия, к счастью, он по крайней мере меч-

тает об ордене Почетного легиона. Несмотря на недавнее постановление суда в Азбруке, докладчик упорно именуется господина К. де К. всего лишь Кленверком, что, как ему кажется, больше соответствует фламандской физиономии Мишеля Шарля. Он упрекает деда в том, что тот, щеголяя старорежимным именем, хочет «втереться в среду мнимой местной знати». Выражение «мнимая знать», сорвавшееся словно плевком с пера, выдает в этом слуге мнимого Бонапарта якобинскую сущность, всегда кроющуюся в сердцах многих французов. Мой дед может сколько угодно усердствовать в исполнении своих служебных обязанностей, заменять супрефекта в Дуэ и префекта в Лилле, принимать «соответствующие меры», какими бы они ни были, «во время покушения Жеранши на Его Величество императора» он находится на заметке. Империя опасается правых.

Нозми в декольтированном платье из черного бархата, с красной бархатной розой в волосах, словно Донья Соль * в «Комеди Франсез», поигрывает тонким шарфом из индийского муслина, не догадываясь, что один из приглашенных, второй раз положивший себе спаржу под голландским соусом, холодно замечает, что «дом ведется самым что ни на есть надлежащим образом». Мишель Шарль, разливающий гостям ликеры и коньяки, не знает, что фигурирует в секретных докладах полицейского государственного строя, находясь скорее на дурном счету и пользуясь уважением только из-за своего богатства. Если бы он

узнал об этом, то, будучи натурой тонкой, сказал бы, что все режимы таковы. На миниатюре, парной к той, где Ноэми изображена Доньей Соль, вид у него натянутый, взгляд устремлен сквозь собеседника. Он не производит впечатления человека экспансивного, открытого и уж тем более доброжелательного. Тайный докладчик принял за истинную суть его темперамента внешнюю теплоту фламандского гостеприимства. Несмотря на замечания типа «Отличное здоровье. Никаких болезней», Мишель Шарль с самой женитьбы страдает язвой желудка. Одно из первых воспоминаний его сына — это не приемы по вторникам, на них маленький мальчик не присутствовал, и там хозяин дома, конечно, делал вид, что ест, а долгие и обильные семейные застолья, когда отец помешивал для вида овсяную кашу, залитую густым слоем сметаны, — единственную пищу, которую порой в течение нескольких месяцев подряд ему разрешали врачи. В конце концов он вылечился. Специалист, наверное, не решился бы установить прямую зависимость между этими медленно рубцующимися ранами и раком желудка, от которого Мишель Шарль умер в возрасте шестидесяти четырех лет.

* * *

В эпоху, когда процветали напыщенные портретисты, фотография считалась недостойной называться искусством. Тем не менее такое право она имеет. Буржуа, запечатлевавшие себя на пла-

стинках, обработанных нитратом серебра, во время бесконечных сеансов позирования выглядят, сами того не подозревая, словно суровые первобытные истуканы или мощно-выразительные персонажи Гольбейна. К благородству, являющемуся чертой всякого только что родившегося большого искусства, примешивается что-то беспокоящее, магическое. Впервые с тех пор, как мир стал миром, свет, направляемый человеческой изобретательностью, стал улавливать призраки живых существ. Эти люди, ныне действительно ставшие теньями, стоят перед нами, словно собственные привидения, одетые в призрачные рединготы и фантомные кринолины. Кажется, никто еще не обратил внимания на то, что первые фотографические портреты появились одновременно с первыми спиритическими сеансами. В одном случае для успеха колдовства требовался вертящийся стол, в другом — чувствительная пластинка, и там, и здесь необходимо было посредство медиума (ибо таковым является всякий фотограф). Именно потому, что на фотографию попадает все, без какого бы то ни было предварительного отбора, с которого начинает работу скульптор или художник, истолковать это изображение столь же трудно, как и разгадать сами лица, встреченные на улице. Мы чаще всего сталкиваемся с непроницаемыми закрытыми мирами. Некоторые негативы содержат признания в том — причем мы не знаем, касаются ли они поступков уже совершенных или предполагаемых, — что изображенные на них люди могли бы сделать, кем могли бы стать, кем они

были и что сделали. Случается даже, что отдельные черты, словно под действием неведомого реактива, становятся видимыми только сегодня и только нам. Так, еще во времена блеска Компьеня расстроенное лицо Наполеона III предсказывает Седан*, словно император уже несет в себе грядущую катастрофу. Несмотря на дифирамбы обожателей, у красавицы Кастильоне* в костюме Червоной королевы — опухшие лодыжки, она едва стоит в атласных туфлях без задников, словно ей, кумиру салонов, надоело слоняться по улицам в поисках клиентов. Недостатки, болезни, пороки, которые современники не разглядели, потому что привычка, уважение, предвзятое и пристрастное отношение ослепляли их, проявляются так, словно фотографии стали рентгеновскими снимками. Заподозри это изображенные на фотографиях, они бы тут же порвали дорогостоящие карточки.

Нозми уже больше не Донья Соль: она выглядит благопристойно и обычно в платье из тафты с поднимающимся корсажем, и только ее сухо замкнутые, словно замочек на дамской сумочке, губы свидетельствуют о том, что ей не хватает доброты. Ухоженные руки принадлежат женщине, никогда не занимавшейся никакой домашней работой, то есть, в понимании той эпохи, женщине порядочной. Мишель Шарль на фотографиях 60-х годов — худой, почти болезненный человек, с эспаньолкой, одетый в редингот. Высокий, он держится очень прямо, слегка откинув голову, и, кажется, с трудом владеет собой. Глаза (иные светлые глаза кажутся чернее черных), глядящие

напряженно, сверкают холодным блеском между полоской бровей и высокими скулами. Возможно, именно так выглядели ибсеновские Сольнес или Росмер* накануне кризиса или толстовский Иван Ильич, уже снедаемый болезнью и борющийся против нее. Мы бы ничего не знали об этом человеке, который страдает и, быть может, размышляет, если бы не крохи рассказов его сына. Мишель Шарль сам стер из памяти Мишеля Шарля.

Детей тоже водили к модному фотографу. Их было двое: мы признательны супружеской паре из Лилля за то, что они ограничились этой цифрой. Забота о том, чтобы не слишком дробить наследство, разумеется, брала верх над беспокойством об излишней перенаселенности земли. Однако что-то говорит мне, что Мишель Шарль не был чадолюбив. Он, разумеется, был очень хорошим отцом. Что касается Ноэми, то ее отношение к малышам — одна из загадок этой женщины, которая, казалось, была неспособна иметь какие-нибудь тайны. Она отчаянно рыдала над маленькой Габриель, умершей рано, но это вовсе не означает, что при жизни мать много ласкала девочку. По отношению к сыну Мишелю с самого раннего детства она испытывала злобу, похожую на ненависть.

Мы настолько дорожим привычным образом любящей матери, так умиляемся материнскому рвению и преданности среди животных, что поведение Ноэми нас поражает. Поражает тем сильнее, что в то время и в той социальной среде было большой редкостью, чтобы к единственному сыну не относились как к наследному принцу. Враж-

дебность Ноэми к ее второму ребенку заставляет предположить либо какой-то непоправимый плотский конфликт, либо грешок, допущенный в свое время Мишелем Шарлем, несмотря на официальные аттестации его высоких моральных качеств. Позже у Ноэми будет достаточно поводов, чтобы поносить сына-ослушника, но его бунт во многом был вызван именно ею. Пока что два птенца, угнездившиеся на верхнем этаже дома 26 по улице Маре, являются предметами, почти что движимым имуществом. Они — «моя дочь и мой сын», до того дня, когда Ноэми, обращаясь к отцу мальчика, назовет Мишеля «ваш сын». Но она, несомненно, поднялась наверх, чтобы проверить, как гувернантка моет, одевает и причесывает малышей перед сеансом у фотографа.

И вот они такие, какими их застал фотограф («застал» — подходящее словечко): красиво одетые, среди красивой мебели и красивого убранства гостиной, на фотографии запечатлелись нравы и обычаи прошлого века. Но в отличие от чопорных, одеревенелых взрослых, уже предназначенных к уничтожению, эти молодые побег полны неистощимой силы, свойственной всему свежему, гибкому, податливому, они полны силы тонкого стебля, способного пробиться сквозь толщу опавших листьев или разрушить скалу. Как и все дети в то время, они уже, по крайней мере перед объективом, держатся с достоинством важных маленьких особ. Они еще живут в эпоху, когда детство переживается как состояние, из которого надо выйти как можно быстрее, чтобы перейти в разряд дам и гос-

под. Можно было бы многое высказать в поддержку данной точки зрения, если бы дамы и господа, предложенные детям в качестве образца, не являлись собой жалких манекенов. В шесть, самое большее в семь лет Габриель уже — дама в миниатюре. В короткой юбочке и блузке из тартана, она стоит, положив руку уверенным, но легким жестом на плечо младшему брату, сидящему рядом. Ее совершенно непринужденная, уже светская манера держаться, уверенная посадка маленькой горделивой головки заставляют немного побеспокоиться о том, какой Габриель будет в двадцать лет. Но беспокойство напрасно: до этого возраста она не доживет. Маленький пятилетний мальчик, послушно сидящий с книгой в руке, одет как взрослый мужчина. Все как положено: и жилет, и галстук, и хорошо начищенные башмаки. Головенка у него круглая, как у донателловских *putti*¹. Маленькое крепкое тельце заставляет вспомнить о молодых собаках, в щенячьей упитанности которых заложено все необходимое для дальнейшего роста. Лицо — честное и серьезное, почти что важное, но светлые глаза смеются, как вода на солнце.

Быстро перелистаем страницы альбома. Мы увидим Мишеля в возрасте семи лет, легкого и хрупкого, достаточно набросить ему на плечи стихарь, чтобы из него получился ангел Фуке или Роже де ла Пастюра *, но в глубине глаз уже кроется печаль: в семь лет он знает, что такое жизнь. Позже

¹ Амуры (*итал.*).

появится слегка полноватый, откормленный хорошим супом школьник, с лукавой усмешкой в уголках глаз; затем — сумрачный двадцатилетний красавец, не оставляющий женщин равнодушными, мучимый призраками светских и плотских наслаждений; потом военный в новеньком мундире и только что отпущенных усах; светский человек конца века, с сигаретой между пальцами, мечтающий о чем-то несбывшемся; кавалерист с бритым черепом на венгерский манер; господин пятидесяти лет в визитке, которому ничуть не мешает высокий пристяжной воротничок и который — это чувствуется — способен отдавать приказы и раздавать чаевые, — образ не только индивидуальный, но и относящийся к целому сословию. Тот же господин на пляже, в белом фланелевом костюме, рядом с очередной хорошенькой женщиной. Но снимки, относящиеся к старости, больше привлекают мое внимание. Задумчивый старик, одетый в приличный английский костюм, сидит за столом в саду отеля в Кап-Ферра, склонившись с высоты своего роста к маленькой собачонке, с которой подружился. Он странно обособлен от дамы, сидящей напротив, он только что взял ее в жены, отчасти чтобы вознаградить за верность, отчасти потому, что ему удобно иметь ее в качестве сиделки и спутницы. Тот же старик, на сей раз один, сидит на ступеньках итальянского не то дворца, не то монастыря, руки свешиваются между колен, на лице то же выражение мягкости и исчерпанной силы. Вот он стоит, опершись на парапет моста в Аричи*, за его спиной — древний

пейзаж Лацио. Он очень устал, я не заметила этого, когда взяла в руки фотографию. Воспоминание о прогулке в окрестностях Рима — образ закончившегося путешествия: в одежде из сероватой шерсти у Мишеля вид старого нищего, греющегося на солнышке.

Чем больше я старею сама, тем больше понимаю, что детство и старость не только схожи между собой, это два самых значительных этапа, которые нам дано пережить. Суть человека проявляется именно тогда — до или после усилий, стремлений, чаяний. Гладкое личико Мишеля-ребенка и изрезанное морщинами лицо Мишеля-старика похожи, тогда как в эпохи промежуточные — в юном и зрелом возрасте — так было не всегда. Глаза ребенка и старца смотрят со спокойным простодушием и чистотой человека, который не побывал еще на маскараде или уже покинул его. И всякий промежуточный этап кажется ненужной суматохой, напрасной суетой, бессмысленным хаосом, и спрашиваешь себя, зачем надо было проходить через все это.

* * *

Однажды в апреле, ближе к вечеру, дети ждут приезда своей первой английской гувернантки. Им примерно столько же лет, как и на фотографиях. Дилижанс прибыл из Булони с опозданием: молодая иностранка появляется на улице Маре в тот момент, когда малыши ужинают у себя навер-

ху. Она развязывает шляпку, высвобождая белокурые волосы, снимает короткую дорожную накидку, покрывающую скромное платье, берет на себя заботу о брате и сестре и заставляя их прочесть «Отче наш». Она, разумеется, католичка, быть может ирландка, и происходит из хорошей семьи. Ее наняли по рекомендации настоятельницы английского монастыря, гарантировавшей примерное поведение, отменное произношение и безупречные манеры девушки.

Она впервые покинула Англию, переезд через пролив был для нее событием, проезд во втором классе от Булони до Лилля — еще одним, богатый и мрачный фламандский дом — третьим. Она робеет в присутствии мадам, робеет перед слугами, таскающими наверх подносы и горячую воду, им велено называть ее мисс, но между собой они зовут ее «англичанка». Раздевая детей перед сном (горничная, которой это было раньше поручено, удаляется ворча), она развлекает их рассказами о своем путешествии: она видела чаек над водой, коров в лугах и французских собак на дорогах. Она кладет рядом с мальчиком плюшевую обезьянку, а рядом с девочкой — куклу, обращая к ним забавно и ласково, такого они еще никогда не слышали. Когда она говорит по-французски, дети смеются, и она смеется вместе с ними. Когда она говорит по-английски («Вы сразу же начнете учить моих детей английскому»), брату и сестре кажется, что она дарит им совершенно новое, только им одним доверяет чудесную тайну («Вы не знаете, у меня дома кукла называется "doll"»).

Позже Мишель полюбит эту склонность англичанок к фантазиям. Она желает детям приятных снов, никто еще не желал им приятных снов.

Рано утром их, как всегда, будят трубы полка, проходящего каждый день по улице. В нижней юбке и короткой рубашке англичанка бросается к окну, накинув на плечи шаль, с любопытством слушает незнакомую музыку и разглядывает солдат в красных штанах. Мужчины на улице замечают выглядывающую из окна маленькую блондинку. Несколько веселых парней посылают ей воздушные поцелуи. Она в смущении ретируется и закрывает окно.

Но одновременно с шумом закрываемого окна раздается грохот резко распахиваемой двери, и в комнату в ярости врывается Ноэми. Она все видела и обо всем догадалась, находясь внизу, в столовой, где намазывала маслом гренки.

— Ничтожество! Шлюха! Солдатская подстилка!

Мишель Шарль, поднявшись следом за женой, вступает за рыдающую хорошенькую девушку. Вполне естественно, что, только приехав, она подошла к окну, чтобы посмотреть на проходящих французских солдат. Вполне естественно, добавляет он с осторожной улыбкой, что юноши посылали ей воздушные поцелуи. Этим неловким замечанием он подхлестывает гнев хозяйки дома.

— Вон отсюда! Собирайте чемодан! Несчастливая, вы развращаете моих детей!

Мишель Шарль со вздохом спускается вниз. Мисс в слезах складывает вещи, которые она ус-

пела вынуть из чемодана, застегивает платье, вновь надевает накидку и шляпку. Никого не волнует то, что она не позавтракала. Пользуясь моментом, когда мадам отворачивается, она быстро целует окаменевших детей и спускается по лестнице в сопровождении насмешливого лакея, несущего чемодан. Внизу Мишель Шарль бесшумно выходит из кабинета и сует ей в руку два наполеондора, которые она берет, не подумав поблагодарить. Она садится в вызванный фиакр («Подумайте сами, не стану же я запрягать ради такой потаскухи!»). Фиакр удаляется с покачивающимся наверху чемоданом.

Ноэми напишет возмущенное письмо настоятельнице монастыря в Брайтоне, порекомендовавшей учительницу. Мишелю Шарлю удастся только смягчить несколько оборотов («Разумеется, эта распутница вам понравилась»). Дети в течение четверти часа оплакивают хорошенькую мисс, а затем забывают ее. Став взрослым, Мишель вспомнит о ней. И я не поручилась бы, что образ маленькой англичанки не привел его к одной из самых бурных любовных историй в жизни. Вспомнил ли он о ней двадцать лет спустя, «в хмуром Лондоне ночью туманной» *? Сомневаюсь, ибо, если бедняжке из-за бесчестного поступка Ноэми и пришлось выбрать профессию, к которой ее толкали, к тому времени она была бы сильно увядшей ночной красавицей.

На Мон-Нуар Мишель Шарль, располагая временем, не расстается с сыном. Он берет его с со-

бой к Рен, продолжающей царить в Байёле в окружении дочерей на ролях фрейлин. Ни Валери, ни Габриель не вышли замуж: без сомнения, в нескольких соседних замках для них не нашлось подходящей партии. Если они и страдают от безбрачия, в чем я не уверена (ибо еще не настали времена, когда женщин убедили, что любовь исцеляет от всех зол), то, быть может, утешаются тем, что их часть наследства достанется нетронутой Мишелю Шарлю. Жизнь их течет мирно, как в монастыре: они так блюдут религиозные принципы, в их понимании, что когда им случается сыграть в воскресенье в шашки и одна выигрывает у другой десять су, то проигравшая платит только в понедельник, ибо всякие денежные сделки непристойны в святой день. Обе барышни делают много добра и находят широкое применение своей благотворительности, ибо из официального доклада мы узнаем, что в Байёле много бедных и что судьба их была бы плачевна, когда бы отдельные особы не приходили им на помощь.

Обе набожные девицы с достоинством стареют в своих красивых жемчужно-серых или цвета опавших листьев платьях, они увлечены шемизетками, оборками, гипюром, широкие рукава белого шелка видны через атласные прорези нарядов, кошельки у пояса набиты пакетиками с драже. Валери, более суровая, унаследовала властность матери, но без ее льстивых ласк и умения мягко стелить. Габриель нежна и меланхолична. Можно предположить, что у нее был какой-то незавершенный роман. Что до добряка Анри, он по-преж-

нему прогуливается по Большой площади под руку с матерью или одной из сестер, пряча в кармане жилета ключ от своей комнаты, чтобы никто, даже прислуга, не мог проникнуть туда в его отсутствие.

Поездки по фермам — большая радость для ребенка. В брачном договоре было предусмотрено, что Мишель Шарль будет управлять как землями Ноэми, так и своими собственными. В краю, где земельная собственность раздроблена, подобная инспекция требовала нескольких часов верховой езды, случалось даже, что приходилось ночевать на одной из ферм. Когда ребенок был еще мал, отец сажал его перед собой на хорошую спокойную кобылу и отправлялся в путь. Позже Мишель Шарль будет сидеть позади отца или у него появится свой пони. Мы уже знаем, что Мишель Шарль не слишком опытный натуралист. Это неважно, во всяком случае, ребенок учится отличать пырей от овсяга или джерсийских коров от тяжелых фламандских. Он осваивается во влажном подлеске, привыкает к птичьим выводкам в кустах и лисятам в траве. Мишель Шарль не охотник, так что ребенок не воспринимает эти живые существа как обреченные на смерть. Порою, когда они возвращаются домой поздно, во время мглистых или ветреных закатов (с их помощью крестьяне предсказывают погоду), вдруг восходит звезда, которую они принимают сначала за огонек далекого жилища, и малыш спрашивает ее название. Астроном из Мишеля Шарля такой же сквер-

ный, как и ботаник. Но он умеет распознать Венеру, Марс и несколько созвездий, хорошо видных на небе. Он способен объяснить, в чем разница между планетой и неподвижной звездой, почему Луна на горизонте кажется больше, чем в зените, и почему она окрашена в оранжевые или красноватые тона. Особенно хорошо Мишель Шарль знает легенды, связанные со звездами, он погружается в прекрасные мифологические предания, и ребенок остается доволен.

Малыш любит брать еду из корзинки с провизией, пользуясь только руками и ножом, любит мочиться у дерева, как отец, и смотреть, как теплый пар поднимается от мха. Крестьянская еда вкусна или кажется ему такой. В честь гостей хозяйка добавляет к обычному густому супу поджаренное сало или омлет — пищу воскресную, а то и пирог с фруктами или творогом, если под рукой у нее есть все необходимое. Ребенок засыпает на хорошо выскобленном деревянном столе. Отец, глотая порошки, думает о том, что такая еда вполне стоит больших обедов по вторникам, забывая, что для его хозяев этот скромный ужин — роскошь. Значимость фермы определяется количеством лошадей: ферма с одной лошадию едва позволяет крестьянской семье и ее детям выжить и расплатиться с владельцем. Фермы, где есть две лошади, считаются более процветающими. Там, где лошадей побольше, там и в стойлах погуще, там нанимают работников, которые живут и кормятся так же хорошо или так же плохо, как и хозяева. Тысяча гектаров земли, которыми гордятся

Мишель Шарль и Ноэми, включает в себя примерно тридцать ферм.

Мой дед чувствует, что использование сельскохозяйственного рабочего фермером, фермера — владельцем, терпеливых животных и еще более терпеливой земли — всеми не есть, собственно говоря, рай. Но где он, рай? Архаичная привязанность деда — меня она трогает — к земельной собственности по крайней мере мешает ему активно участвовать в разворачивании промышленного производства. Он достаточно близко знаком с заводскими районами и знает, что лучше трудиться на свежем воздухе, управляясь с единственной лошастью, чем задышаться в пыли ткацких цехов. Порою он думает, что нужно совсем немного для того, чтобы положение крестьянина стало приемлемым и даже счастливым, но если бы он согласился уменьшить плату арендатору, задолжавшему из-за плохого урожая, или купил бы новую корову фермеру, потерявшему свою буренку, Ноэми сказала бы, и, возможно, не без основания, что он топчет ногами хлеб собственных детей. Можно было бы немного сблизить хозяев и фермеров, отказавшись от кое-какой роскоши, но какой? Ему кажутся ненужными выездные лакеи Ноэми, а Ноэми — зимы, проведенные в Сорренто. Ему, кстати, хорошо известны вечные нытики, выдумывающие себе несуществующие болезни и неприятности; пройдохи и ловкачи, видящие в доброте хозяина слабость, которой надо попользоваться; грубияны, избивающие скотину и держащие ее впроголодь; скряги, складывающие

су в кубышку, которые никогда не купят лишнего сентье зерна. Мир не переделаешь. В эту ночь Мишель Шарль спит на лучшей кровати, которую ему уступают фермер и его жена. Сырость, поднимающаяся от глиняного пола, проникает в его суставы, склонные к ревматизму. Малыш, счастливый от того, что проводит ночь с отцом, спит крепким безмятежным сном.

На следующий день за чашкой цикория, сдобренного кофе, сетования продолжают с новой силой. Господин де К. здесь — господин Кленверк, не потому что, как полагал доносчик, у него оспаривают вотчины, принадлежавшие ему до Революции, а потому что Кленверков здесь знали давным-давно, задолго до того, как они стали называться по имени своих земельных владений. Кстати, хорошие манеры Мишеля Шарля ценят: даже при сильном ветре он снимает шляпу перед фермершей; он ласкает животных и знает детей по именам. Но самое главное, он свой: он говорит по-фламандски.

Как всегда, очарованный милыми лицами, он останавливается поболтать с молодой и свежей скотницей. Старый фермер, сидящий на пороге, берет на колени малыша, который только что обследовал задний двор, и поднимает сына господина вверх, как добрые крестьяне на сентиментальных гравюрах XVIII века, приговаривая с восхищением:

— Минхер Михильс, вы будете богатым!

Довольно рано Мишель Шарль стал использовать каникулы сына для коротких поездок с ним

за границу. Надо, чтобы ребенок увидел мир. Формально Ноэми не противится этим эскападам, но все расходы высчитаны заранее до последнего гроша. Господин де К. и его сын должны останавливаться в приличествующих им гостиницах, но Мишель Шарль отмечает в записной книжке малейшие траты и торгуется с возницами, когда они совершают экскурсии. Ребенок вспоминает, что в Антверпене отец ворчал на ризничих, которые заставляли платить десять су, чтобы отдернуть саржевый занавес, закрывающий алтарь с картинами Рубенса. В Голландии жизнь так дорога, что Мишель Шарль в последний момент отказывается от лодочной прогулки вдоль зеландских берегов, но не может не купить сыну местный костюм, который по возвращении все находят смешным.

Случаются и непредвиденные происшествия. Как-то летом они отправляются на Рейн. Ребенок впервые видит немецкий городок, с экскурсионного парохода с восторгом созерцает скалу, где фея, сидя на вершине, расчесывала свои золотые волосы. Проехав знаменитое место и услышав последние звуки баллады, распеваемой сильными немецкими голосами, они спускаются в столовую, чтобы обильно позавтракать, в то время как перед глазами медленно проплывают берега реки. За десертом Мишель Шарль протягивает сыну открытку: «Тебе следовало бы написать матери несколько слов». Малыш со старанием принимает за дело, упоминает городок, Лорелею и заканчивает описанием завтрака. Вернувшись в Лилль в назначенный день и час, они подъезжают к дому

в фиакре, когда уже опускается ночь. Ноэми встречает их в вестибюле, вид у нее недовольный. Она показывает Мишелю Шарлю открытку.

— Вы нарочно послали эту открытку, чтобы оскорбить меня. Вам даже нельзя доверить ребенка.

Мишель Шарль не понимает. Она подводит его к газовой лампе и под ее мертвящим светом показывает злосчастное послание. Ребенок пишет, что съел крыло холодной курицы и кусок отличного ростбифа. Обвиняющим перстом она указывает на дату: то была пятница.

Подобный случай мог бы заставить нас поверить, что Ноэми была очень набожной. Действительно, она из тех добрых католичек, что каждое воскресенье ходят к одиннадцатичасовой мессе, говеют на страстной неделе, сами едят и заставляют окружающих есть постное, когда это положено. В грозные дни, когда молния частенько сверкает над вершинами Мон-Нуар, она также проявляет религиозные чувства, запираясь в стенном шкафу с четками в руках.

Как-то в начале лета Мишель Шарль решает отвезти сына в Остенде, на морские ванны, чтобы окончательно излечить его от последствий затяжного катара. Ноэми, как всегда, остается дома, будучи убеждена, что здание домашней жизни рухнет, если в течение недели она перестанет следить за прислугой. Однажды вечером, во время обеда, отец с сыном усаживаются в столовой еще полупустой гостиницы, возле открытого окна, выходящего на плотину. Морской ветер парусит за-

навески. Едва начинает смеркаться. Метрдотель придет только во время десерта, чтобы зажечь маленькие лампы под розовым абажуром. Ребенок с нетерпением ждет этого ответственного момента. Очаровательная молодая дама сидит одна за соседним столиком. Платье ее нежно-розового цвета, а крохотная шляпка, кажется, сделана из настоящих роз. В этот чудный вечер все розово, даже небо вдали над морем. Господин де К. встает с полупоклоном, чтобы предложить хорошенькой соседке меню. Завязывается разговор, который совершенно не интересует ребенка, поглощенного едой и разглядыванием гуляющих вдоль плотины, хорошо одетых, смеющихся, разговаривающих на непонятых языках людей. Продавщицы креветок, закончив рабочий день, возвращаются домой, неся на голове пустые корзины. Продавцы газет выкрикивают последние новости. Подают кофе. Мишель Шарль пересаживается к соседке, которая еще доедает пломбир. Мишелю кажется, что отец предложил красивой даме пойти сегодня вечером в театр.

— Поднимайся и ложись спать, — мягко говорит Мишель Шарль. — Оставь ключ в двери и не закрывайся на задвижку, а то мне придется разбудить тебя, чтобы войти. Ты уже достаточно большой, чтобы не бояться оставаться одному. Если что-нибудь случится, позвони или постучи в стенку, позови соседей.

Ребенок слышит, как молодая дама вполголоса называет его очаровательным, Мишель оскорблен в своем достоинстве маленького мужчины. Но оно

возвращено ему сторицей тем, что отец доверяет ему ключ от комнаты. Он послушно идет спать.

Но его будят шаги людей, возвращающихся в соседние комнаты. Ему немного страшно. Только дверь отделяет его от почти неизвестного мира коридора с красным ковром и пальмами. Папина кровать разложена горничной. Эта пустая кровать печальна и немного пугающа, с белыми подушками и медными шарами, отражающими сквозь просвет в занавесках свет уличных фонарей. С улицы доносятся разговоры и крики, голоса не так веселы, как совсем недавно, кажется, что некоторые прохожие слишком много выпили. Часы на лестнице бьют двенадцать ударов, потом, как ему кажется, один удар, потом два. Какая длинная эта пьеса! В конце концов он засыпает.

Когда он просыпается, уже совсем светло, папа вернулся так, что он не заметил, и еще спит. Мальчик встает, почти бесшумно совершает свой туалет. В сущности, было бы неплохо, если бы позвякивание кувшина с водой о таз разбудило спящего, они уже почти пропустили час завтрака.

Наконец Мишель Шарль открывает глаза. Он сразу заказывает кофе и круассаны: они будут завтракать на балконе, откуда видно море. Отец, хотя это почти невероятно, еще добрее, чем всегда. День, как и все чудесные дни, пролетает быстро. Ребенок только еще раз увидит в вестибюле вчерашнюю даму в розовом, отец целует ей руку. Вечером Мишель снова первым отправляется спать. Он больше не боится и сразу засыпает.

Назавтра — день отъезда и день последнего морского купания. На море отлив. Как всегда, их подвозят к воде в фургоне, который тащит большая добрая белая лошадь, ребенок припасает для нее кусочки сахара от завтрака («Держи ладошку ровно»). Отец и сын раздеваются. Мальчик готов раньше и первым подставляет тело под мощный натиск волн. Ни тот, ни другой не умеют плавать, и Мишель так никогда этому не научится. Оба страдают плохим кровообращением, отчего у них случаются судороги, если они слишком долго сидят в воде, а в это прекрасное июньское утро море еще ледяное.

Они переодеваются в фургоне, тщательно вытираясь и стряхивая с тела песок. И вдруг:

— Только что, складывая одежду, я не заметил, как у меня из кармана выпало двенадцать луидоров, отложенных на поездку. Посмотри, щели между досками пола — огромные. Нет, под фургоном искать бесполезно. Море поднимается: лошадь уже почти по колено в воде. Ты объяснишь это все матери, когда я расскажу ей о случившемся.

Ребенок, однако, не сдается, выскакивает и какое-то время шлепает босыми ногами, не чувствуя под пальцами ничего, кроме плещущейся воды и засасываемого морем песка. Приходит время возвращаться на сухую часть пляжа. Привиделось ли Мишелю, будто сквозь окошко фургона он видит в воде золотые точки? Отец молчит. Я не думаю, что ребенок сразу же заподозрил ложь, но он чувствует, что отцу неловко, как часто бывает неловко ему самому, когда приходится рассказывать

взрослым истории, в которые трудно поверить. Ему немного жаль отца. Что до красивой дамы в розовом, то Мишелю Шарлю нет нужды просить малыша не рассказывать о ней дома. Ребенок интуитивно чувствует, что делать этого не надо.

* * *

22 сентября 1866 года господин де Креанкур и его дети собираются отправиться с Мон-Нуар в Байель, где хотят провести день в старом доме. Мишель Шарль верхом на лошади, Габриель и Мишель вместе садятся на красивого осла, на нем хорошенькое седло, украшенное помпонами, Габриель держит поводья, ей помогает, а порою мешает сидящий сзади младший брат, время от времени это вызывает перепалку между детьми. В мае девочке исполнится четырнадцать лет, ей уже не позволяют садиться в седло по-мужски. Думаю, она сидит, свесив ноги на одну сторону, сохраняя равновесие и старательно придерживая юбку, чтобы ее не приподняло и не раздуло ветром, Маленькая кавалькада весело трогается в путь по аллее рододендронов, ведущей к воротам. Она проезжает мимо мельницы, расположенной на вершине холма позади замка, там всегда ветрено, даже в хорошие ясные дни. Большие крылья вращаются с таким шумом, словно хлопают паруса в открытом море. Двухолка, запряженная одной лошадью, остановилась перед шаткой качающейся деревянной лестницей. Мельник, стоя на узкой площадке, шутит с женщиной, под-

жидающей внизу свои мешки с зерном, превратившимся в муку. Кроме мельницы, здесь есть еще только маленький кабачок, также расположенный на холме в тени двух молодых лип, — конечная цель прогулки деревенских жителей. Дорога, ведущая через овраг, быстро спускается к деревне Сен-Жанс-Каппель. Животные идут друг за другом. Дорога настолько узка, что Мишель и его сестра могут, протянув руку, сорвать приглянувшуюся им ветку орешника.

Они проехали уже три четверти спуска, когда до них донесся шум неистового галопа мчащейся во весь опор лошади и разлетающихся вдребезги колес. Женщина в двуколке потеряла управление лошадью, которая то ли от укуса слепня, то ли от слишком резкого удара хлыстом понесла.

Мишель Шарль прижимается к самому краю дороги. Испуганный осел шарахается на склон оврага и сбрасывает своих юных наездников. Габриель скатывается прямо под колеса двуколки, которая раздробляет ей плечо. Мишель отделяется вывихнутой ногой и длинной неглубокой раной на икре, нанесенной камнем. Сбившая детей лошадь останавливается, задыхаясь, в изнеможении. Женщина, спустившись с повозки, кричит, а точнее, вопит от горя и страха. Мишель Шарль, всегда владеющий собой в критические моменты, спешивается. Он осторожно кладет Габриель на мешки с мукой и решает довести ее до ближайшей фермы. Там у фермера он одалживает повозку, запряженную двумя лошадьми, и продолжает путь в Байэль, где есть хирург и врач. Можно

представить себе, что это была за дорога, проделанная шагом, чтобы не слишком растряссти умирающую. У нее не только разбито плечо, но у основания шеи зияет огромная рана, словно девочку пытались обезглавить. Она дрожит и страдает, как в смятении и бреду кошмарного сна, не понимая, где она и куда ее везут. Отец, сидя рядом с ней на соломе, проводит самую ужасную четверть часа в своей жизни.

Как только случилось несчастье, он тут же посылает мальчика с тревожным известием в замок, даже не заметив, что Мишель тоже ранен. И сам ребенок об этом не подозревает. Потом он всегда удивлялся, что смог бегом, одним духом преодолеть подъем с вывихнутой ногой. Задыхаясь, он пробегает аллею рододендронов и попадает на террасу, где мать занимается вышиванием.

— Мама, Габриель...

Увидев малыша, она тут же вскакивает, с первых слов ей все становится понятно:

— Несчастное дитя! Почему это должно было случиться именно с ней?

Маленький мальчик, пошатываясь, цепляется за спинку стула. Он теряет сознание.

Рен и обе ее дочери проявили чудеса спокойствия и заботливости. Для маленькой Габриель устроили в гостиной импровизированную кровать; тут же примчались врач и хирург. Они ничем не смогли ей помочь. Оставалось только пожелать девчужке как можно более быстрой смерти. К несчастью, она протянула еще несколько часов.

Ноэми тут же велела закладывать, прихватив на всякий случай бинты, корпию, укрепляющие средства — все, что нашлось в аптечке на Мон-Нуар. Когда она приехала в Байёль, дочь уже агонизировала. Отчаяние матери вылилось в негодующие упреки:

— В чем я провинилась перед Господом Богом?

Там, где бытует убогое понимание христианства, подобный вопрос понятен, но эгоизм Ноэми, все сводящей к себе, проявляется здесь в полной мере. Врач наконец-то находит себе применение, выписав успокоительное.

Отец и мать остались в Байёле до похорон. Мишель узнал о смерти сестры от хирурга, приехавшего лечить его вывих. Он не выходит из своей комнаты на втором этаже странно пустого замка, где прислуга разговаривает теперь вполголоса. Старая горничная, к которой всегда обращаются в случае траура, дежурит у его изголовья. В утро похорон он остается один, так как все уехали на кладбище. По возвращении мать не поднимется к нему. Вид сына, оставшегося в живых, обостряет ее боль. Напротив, отец вскоре устраивается рядом с его кроватью, делает с ним летние задания, старается занять его, начав изучать с ним греческий, и тем самым тоже обретает некоторый покой. Этот нежный отец, кстати, отнюдь не снисходителен. Ребенок навсегда запомнит, как он отказался от одного из блюд, принесенных наверх на подносе (речь шла, кажется, о телячьей

зобной железе), и его на два дня подряд оставили без еды, до тех пор, пока голод не заставил его съесть до последнего кусочка кушанье, которое было ему отвратительно.

Кажется, несчастье на какое-то время сблизило супругов. Быть может, по совету врача, которого беспокоит глубокая апатия Ноэми, между ними вновь возникают интимные отношения. Через пятнадцать месяцев после несчастного случая г-жа де Креанкур в возрасте тридцати девяти лет, после двенадцатилетнего перерыва, разрешается третьим ребенком, к счастью, девочкой. «Эта крошка будет утешением вашей старости», — восклицает торжественно замечательный доктор Казнав, показывая отцу новорожденную. На сей раз предсказание сбудется. Сразу же Мишель Шарлю кажется, что в Мари он обрел Габриель: еще немного и, подобно матери в трауре из поэмы Гюго, он подумал бы, что погибшая дочка перевоплотилась в дочку родившуюся. Но он выставил бы себя на посмешище, если бы заговорил о подобных вещах. Что касается Ноэми, то такого рода причуды не задевают ее воображение.

Мари умрет в тридцать три года, насильственной смертью, как и сестра. К этому времени Мишель Шарль давно был под землей, а Ноэми дожила до того возраста, когда большинство людей уже не оплакивают умерших. Но этот трагический конец производит впечатление, как произвела впечатление трагическая смерть Габриель. В Лилле, да и в других местах немало нашлось стариков, нашептывавших всякому встречному и

поперечному, что состояние Дюфренов, основанное на несправедливо нажитом добре, принесло несчастье их потомкам. Как бы ни были люди расположены верить в таинственный механизм воздаяния по заслугам, но согласиться с подобным наказанием можно с трудом. Мишель, однако, почти что верил в это всю свою жизнь.

Были и утешения. Конечно, Мишеля Шарля наградили орденом Почетного легиона не из-за смерти Габриель, но, кажется, именно она побудила к тому, чтобы ему пожаловали наконец ленточку, на которую, по его мнению, он имел право уже много лет. «Подобное несчастье, как бы велико оно ни было, не может являться основанием для благосклонности по отношению к тому или иному чиновнику, но когда оказанные им услуги несомненны, позволительно смягчить с помощью заслуженной награды горе отца, подвергшегося столь страшному удару судьбы и лишившегося самой дорогой своей привязанности». У Империи порой бывало доброе сердце. С другой стороны, муж и жена при содействии бабки и деда Дюфренов решают выделить из своих владений на Мон-Нуар кусок земли и построить для коммуны женскую школу. Табличка из черного мрамора с именем Габриель висела там до 1914 года. Сгоревшая школа была вновь отстроена; но я не знаю, потратились ли на новую табличку. Кажется, открытие этой школы принесло Мишелю Шарлю «академические пальмы»*, их можно увидеть на его портретах между крестом за храбрость и бельгийским орденом Леопольда (не случайно же

у деда есть владения по ту сторону границы). От самой умершей, которой, казалось, все сулило счастливое будущее, осталась только ее детская фотография и большая записная книжка с велеными страницами в черном матерчатом переплете. Став подростком, она аккуратно и старательно записывала туда то с наклоном вправо, то закругляя буквы, историю мира от Адама, которую диктовал ей отец. Рассказ начинался от Сотворения мира в 4963 году до нашей эры и заканчивался битвой при Мариньяне в 1515 году. Если бы Габриель не погибла, она бы, конечно, продолжила перечень монархов и сражений до Наполеона III, а то и до Третьей республики. Почти век спустя, очарованная пожелтевшей веленью, я переписала на оставшиеся чистые страницы несколько любимых стихотворений.

* * *

Начиная с истории с маленькой гувернанткой, которую отослали, я располагаю богатым устным источником: не раз повторенными рассказами отца во время долгих прогулок по сельским местностям Прованса или Лигурии, а позже на скамейке в гостиничном саду или в швейцарской клинике. Не то чтобы он любил свои воспоминания, они были ему по большей части безразличны. Но какое-нибудь происшествие, книга, лицо, увиденное на улице или по дороге, — и начинали сыпаться осколки воспоминаний, словно он подержал в руках древние черепки, а затем сбросил их ногой

обратно в землю. Я училась у него равнодушию. Крохи прошлого интересовали его только как свидетельство некоего опыта, который не следует повторять. «Все это, — говорил он, употребляя одно из тех выражений, которые человек, прошедший армию, часто сохраняет до конца жизни, — все это зачтется в выслугу лет».

Делая в тот же вечер пометки в моих записных книжках тех лет и особенно позже, повторяя эти рассказы, которые я знала наизусть — это все равно что поставить старую пластинку, — я думала, что потихоньку-понемножку Мишель рассказал мне всю свою жизнь. Теперь же я вижу, что пробелы многочисленны. Некоторые из них (множественное число в данном случае неуместно, скорее, один из пробелов) объясняются священным ужасом и боязнью вновь открыть шкаф с привидениями. В остальных случаях ничего страшного не было: периоды незначительные просто-напросто поросли быльем. Я знаю, что тем самым противоречу записным психологам, считающим, что всякое забвение скрывает тайну: эти аналитики похожи на нас, они отказываются признать, что во всякой жизни есть никчемные пустоты. Сколько дней, не заслуживающих того, чтобы их прожили! Сколько событий, людей, вещей, которыми не стоило заниматься, тем более что мы о них вспоминаем! Многие старики, рассказывая о своем прошлом, раздувают его словно шар, прижимают к себе как старую любовницу или, напротив, плюют на него. За неимением лучшего они изображают хаос или небытие как нечто важное

и значительное. Мишель вел себя совершенно иначе, он даже не пытался подвести итоги. «Я прожил несколько жизней, — говорил он мне на смертном одре. — Я даже не вижу, что их связывает между собой». В отличие от большинства стариков он не растекался мыслью в разные стороны, память его была строга, и он говорил только то, что хотел сказать. Это и позволяет мне опираться на его рассказы.

Первый пробел касается школы, лица или коллежа. Отца они совершенно не интересовали. Для многих великих писателей, особенно в наши дни, эти годы послужили закваской, на которой взросло потом почти все их творчество. Они нашли в коллеже любовь, наслаждение, честолюбие, высокие помыслы и низкие интриги — всю жизнь в сжатом виде. Порою все выглядит так, словно потом они уже ничему не научились, словно самое главное в них умерло в двадцать лет. Из жизни Мишеля нельзя извлечь ни «Фермину Маркез» *, ни «Город, где государь — ребенок» *. Ему запомнились в общих чертах соперничество, несправедливость и козни, с которыми приходилось сталкиваться в классе, глупые шутки, непристойные выходки, грубые и жестокие игры, в которых он отличался, хотя позже у него не возникало желания похвастаться этим. Напротив, он без всякого удовольствия вспоминал о своих успехах на поприще главаря банды. Ни одного учителя, которого бы любили, уважали или ненавидели настолько, чтобы имя его запомнилось. Ни одного преподавателя, которому были бы признательны

за то, что он помог узнать или растолковать великое произведение. Ни одного приятеля или друга (за одним исключением, которое, как мы дальше увидим, не в счет). На фоне этой пустыни в качестве примера маячат два воспоминания. Вначале необузданность: молодой иезуит, ведущий в классе латынь, читает вслух переводы учеников и зубоскалит, чтобы вызвать смех. В частности, новичок Мишель, недавно изгнанный из светской школы, служит объектом насмешек.

— Вот, господа, образец лицейской латыни.

— Она позволит вам передохнуть от латыни ризничной.

Ученик хватает свою работу и в ярости рвет ее на клочки: бумажные бабочки, бывшие Монталамбером *, переведенным на язык Цицерона, кружат, подхваченные сквозняком, и садятся на парты. Молодой преподаватель решает положить конец галдежу и посылает за директором, чтобы тот принял соответствующие меры. Мишель выхватывает из кармана нож. Латинист в сутане спасается бегством, приподняв юбки, хлопающие по его худым ногам. Слышно, как с силой распахиваются, а затем закрываются двери, расположенные по периметру здания через равные промежутки, как их вновь открывают, а затем со всего размаха захлопывают преследователь и его шайка. В конце коридора зияет открытая дверь туалета. Жертва устремляется туда и под смех и улюлюканье запирается на задвижку. Ученик с ножом отчислен на следующий день.

Затем соблазн. В другой школе Мишель, плохо успевающий по алгебре, берет уроки в кабинете молодого преподавателя в сутане. Они сидят рядом. Под столом молодой священник нежно кладет руку на голую ногу ученика, поднимается чуть выше. Потрясенный вид мальчика заставляет его прекратить игру. Но Мишель никогда не забудет лица, на котором написаны мольба и стыд, не забудет выражения сосредоточенности и почти боли, вызванное желанием и недополученным удовольствием.

Ни тот, ни другой эпизод не послужили причиной для его первого побега. Скуки и отвращения к рутине оказалось достаточно. У пятнадцатилетнего Мишеля, раздобывшего Бог весть где два лудора, есть планы на будущее: пробраться в Бельгию, единственное очарование которой в том, что она находится по другую сторону границы, достичь Антверпена, наняться юнгой, мойщиком посуды или корабельным служкой на пассажирское или грузовое судно, стоящее в порту, и добраться до Китая, Южной Африки или Австралии. Он садится на поезд в Аррасе (там находилась школа) и доезжает, к тому же с пересадками, только до Брюсселя. Приехав на Южный вокзал, он узнает, что поезда на Антверпен отправляются с Северного вокзала: нужно пересечь весь город. Наступает ночь, а вместе с ней начинается холодный дождь, который кажется ему мокрее, чем в Лилле. Он вспоминает об одном приятеле-бельгийце, некоем Жозефе де Д., вернувшемся для окончания образования в Брюссель. Жозеф, отчасти по-

священный в его планы, пообещал заручиться на одну ночь гостеприимством родителей, разумеется, при условии, что Мишель ничего не скажет им о Великом Проекте. Носильщик уверяет Мишеля, что нужный ему проспект находится недалеко. Но и не очень близко. Мишель является к приятелю, когда хозяева уже выходят из-за стола. Он придумывает старую кухню, которую нужно навестить в Брюсселе и к которой он не осмеливается явиться в столь поздний час. Его кормят остатками ужина на краешке стола и отводят место в комнате, расположенной на антресолях, — не то в кладовой, не то в комнате для прислуги. Жозеф, превратившись в Бельгии и в семейной обстановке почти что в пай-мальчика, с озадаченным видом желает ему спокойной ночи. Необычного посетителя запирают на ключ, словно подозревая в том, что он намеревается украсть китайские вазы хозяина дома, крупного коллекционера, и без сомнений, завтра, хочет он того или нет, его посадят на поезд, идущий в Лилль. Прыгнуть в окно было делом нетрудным: он упал на грязную куртину. Перелезть через стену сада тоже оказалось легко.

На улице темная ночь. Он избегает уличных фонарей и редких, еще освещенных лавок, чтобы его не увидели полицейские, ему кажется, что им нет иного дела, как только арестовывать пятнадцатилетнего француза. Мальчика, знающего классиков наизусть, лабиринты улиц, по которым он петляет, заставляют вспомнить о Минотавре. На Северный вокзал он приходит совершенно продрогший и опаздывает на первый утренний поезд.

В купе третьего класса, где он наконец устраивается, он заставляет себя кое-как изъясняться по-фламандски в тщетной надежде, что так на него меньше обратят внимания.

Уличное движение в Антверпене само собой приводит его в порт. Он вскоре замечает трубы пароходов и верхушки мачт. Но никому не нужны ни юнга, ни корабельный служка. На задней палубе немецкого грузового судна здоровые мужики дурчатся, играют в чехарду, с силой хлопают друг друга по плечам. Офицер, поднимающийся на борт, отталкивает бродяжку: «Nein, nein». Толстые красные морды свешиваются вниз, громко хохочут. Мальчик петляет между скрежещущими подъемными кранами, ловко увертывается от колес товарной платформы, движущейся со страшным шумом. Эти гигантские упряжки и тонкие дрожащие мачты — единственные красивые предметы в грязно-серых декорациях. Масса лошадиной плоти скользит на мостовой, падает. Возчик поднимает ее, осыпая градом ударов кнута. Мишель дает волю чувствам, разразившись ругательствами на французском: «Мерзавец, я тебе морду набью!» Но в портовом кабачке, где он утоляет голод хлебом с ветчиной, он не решается протестовать, когда служанка, давая сдачу, обсчитывает его.

В желтом тумане уже зажигаются газовые рожки. Перед витриной табачной лавки хорошо одетый господин обнимает его за шею, бормоча на ухо предложения, которые кажутся подростку не такими уж непристойными, хотя и безумными. Он вырывается из лап антверпенского сатира, бе-

гом пересекает шоссе, отделяющее его от набережной, задыхаясь останавливается за сложенными бочонками. Страх и грубость повсюду. Может, спрятаться на ночь под брезентом? Он знает, что иным хитрецам удается порой подняться на борт отплывающего корабля, и обнаруживают их только в открытом море. Но черные молчаливые суда, привязанные к причалу простой веревкой, которая то натягивается, то ослабевает, кажутся недоступными. И что случится в море, когда голод заставит его выбраться из тайника? Он продолжает брести наугад, стараясь избегать как полицейских, так и бродяг, и доходит до более узкой части порта, где выстроились буксиры и баржи. Женщина на палубе маленького каботажника снимает забытые на веревке полотенца. Мишель окликает ее: можно ли ему за плату переночевать на борту? С фонарем выходит муж.

Его просьба вызывает у них взрыв смеха: их судно не гостиница, завтра на рассвете они отплывают в Остенде. Это пустяки: Мишель выкладывает им наспех сочиненную историю. Он из Ипра (он не осмеливается признаться, что прибыл с другой стороны границы), они с отцом провели день в городе и потерялись в толпе, он безуспешно искал отца целый день. Теперь ему придется идти пешком, потому что у него почти нет денег, но расстояние между Остенде и Ипром не так велико. Добрые люди верят ему, он ужинает вместе с ними. Когда муж и жена удаляются в маленькую кабину, где все сверкает медью, он засыпает на куче мешков, среди тюков.

Следующий день был одним из самых прекрасных дней кончающегося детства. Проснувшись серым мартовским утром на передней палубе, он наслаждается мощным течением реки. Навстречу попадают баржи, на которых вдоль бортовых сеток бегают дети; флаги на корме стелются над пеной. Ветерок разгоняет дым, и на палубу падают мелкие угольки. Чайки с жадностью хватают пищевые отбросы. Мимо проплывают большие корабли, от которых они словно чудом вовремя увертываются. Мишелю открывается вся радость жизни на воде. В устье реки они встречают рыболовную флотилию. Море беспокойно. Мальчик героически сражается с приступами тошноты. В Остенде, где они швартуются глубокой ночью, он спрыгивает на землю, не слишком рассыпаясь в благодарностях своим хозяевам. Кто знает, вдруг по доброте сердечной они решат сдать его в полицию? В кармане брюк он сжимает оставшуюся монету в пять франков, этого довольно еще на несколько дней приключений.

Но Остенде в мертвый сезон — для него город незнакомый. Большие гостиницы стоят словно пустые забаррикадированные казармы. Прохожие, от которых пахнет пивом, водкой и рыбой, сталкиваются в узких улочках. Он находит самый жалкий бар-ресторан, где сдаются комнаты. В маленькой зале под шум механического органа моряки танцуют враскачку с девицами. Хозяйка устраивает малыша (так она его называет) в комнате за кухней. Она приятная, с длинными белокурыми волосами, на розовых щеках играет

румянец. Мишель удивился бы, если б ему сказали, что ей столько же лет, сколько его матери. Она едва говорит по-французски, а он плохо понимает остендский фламандский. Она подает ему еду и снова наполняет опустевшую тарелку. Она показывает ему пальцем на дверь комнаты, находящейся наверху лестницы. Он ложится, сраженный сном, даже не заметив под стулом женские ботинки и юбку, висящую на гвозде.

Будит его скрип половиц. Прекрасная хозяйка снимает корсет, при свете свечи он видит, как она в рубашке подходит к нему, длинные светлые пряди рассыпались по пышной груди. Она смеется, она лепечет слова, понятные на всех языках. Она как раз в том возрасте, когда совсем молоденькие юноши умиляют и манят, и она умеет взяться за дело. Впервые Мишель познает жар и глубину женского тела и прелесть сна после разделенного наслаждения. В конце концов им удается даже объясниться, сливая разноязычные слова подобно тому, как сливаются воедино их тела. Утром за чашкой кофе с молоком она дает ему добрый совет:

— Твой отец, должно быть, волнуется. Ты должен послать ему телеграмму. Дать тебе денег?

Ему не нужны деньги. Отправляя телеграмму из почтового отделения на улице Белых монахинь, он чувствует, что запирает дверь, ведущую к приключениям: не завтра попадет он в Африку или Австралию. Но представятся другие возможности. В ожидании их он прожил несколько насыщенных событиями дней, он почувствовал, что существует.

Теперь он знает, что скрывается под женской одеждой, теперь ему известно, чего ждут от него девушки, встреченные на улице, и что он может им дать. Как равный, он обменивается с ними смелыми взглядами. И по крайней мере сегодняшний день еще весь принадлежит ему.

В это время на пляже уже нет фургонов. Он растягивается за холмиком, защищенным от ветра, пересыпает песок из ладони в ладонь, лепит и разрушает песочные куличики. Он набивает карманы ракушками, выбрасывает их потом в большую лужу, через которую переходит босиком. В полдень он завтракает мидиями, заправленными уксусом. Остенде станет для него одним из тех своеобразных мест, куда, в сущности, нет никаких причин приезжать, которые не так уж и нравятся, но куда попадают, словно фишка на клетку во время игры «в гуся». Ему придется еще пережить здесь зловещий октябрь, затем пасхальную неделю, чуть нежную, чуть романтическую и капельку бесстыдную. Будет еще знойный и трагический августовский день. Но то, что будет, — ничто в сравнении с тем, что было.

До вечера юноша бродит в дюнах, где теряется всякое представление о расстоянии. Он смотрит, как рыбаки, укрывшись от ветра за бортом баркасов, чинят разложенные на песке сети. Возвращаясь в свой нынешний дом, он мечтает, что, быть может, будет еще одна ночь, и тогда он поведет себя увереннее, чем в первый раз. А если отец не ответит? Он мог бы попробовать наняться на рыбацью лодку. Но мечты длятся недолго: впервые

он понимает, что мгновения свободы редки и коротки.

Мишель Шарль не промедлил. Юноша почти с облегчением видит в зале отца в добротном дорожном пальто, он делает вид, что пьет пиво, и вежливо беседует с хозяйкой. Умный отец мгновенно все понял. Но замешанная в деле особа, кажется, ничего себе: все могло обернуться гораздо хуже. При других обстоятельствах, как знать, может, он и сам попытал бы счастья с симпатичной хозяйкой. Но теперь не до пустяков. Он платит за Мишеля, которого прекрасная хозяйка называет теперь «юный господин», и уводит сына ночевать в город, в одну из гостиниц, открытых в мертвый сезон. На следующий день в поезде, везущем их в Лилль, он произносит речь об опасности случайных встреч. Он краток, за что сын ему благодарен. По молчаливому уговору между ними Ноэми ничего не узнает об уроке любви в Остенде. Но Мишель говорит отцу не все: он скрывает от него, что мечтал никогда не возвращаться домой.

* * *

Вторая империя до самого конца оставалась для Мишеля Шарля прекрасной мечтой. «Император был третейским судьей в Европе. Сельское хозяйство, промышленность, торговля процветали, денег в обращении было в избытке: их легко зарабатывали и так же легко тратили, от мала до велика все казались счастливыми. Зимой были сплошь балы и

праздники, летом морские курорты и курорты с минеральными водами были переполнены. Я помню, что одной зимой в Лилле пятьдесят восемь дней подряд каждый вечер давали бал или парадный обед то у нас, то у наших друзей, то у высших военных и государственных чиновников. Каждую неделю бывали балы в префектуре, в ставке главнокомандующего у Мак-Магона *, Ладмиро, Салиньяка де Фенелона и прочих, в казначействе, не считая праздников у крупных промышленников, негоциантов и богатых землевладельцев. Как изменились времена!» Председатель совета префектуры в департаменте, где контраст между богатством и бедностью был, пожалуй, разительнее, чем где бы то ни было во Франции, должен был видеть изнанку декораций: он же вспоминает только об огнях рампы и внешнем блеске. Годы Империи пролетают в балетных пачках, словно танцовщицы Дега. Мишель Шарль не спрашивает себя, не скрывалась ли катастрофа в зародыше в самой этой политике, основанной на пускании пыли в глаза, антраша и легкой жизни. Напротив, он всегда будет помнить о том, что орденскую ленту он получил в Тюильри из рук самого императора, что они с женой в сопровождении маленького Мишеля, едучи в наемном ландо, видели, как по дороге в Булонском лесу в сопровождении красавцев офицеров на горячих конях проехала коляска императрицы, переполненная воланами Евгении и ее фрейлин. Сама Ноэми охотно повторяет слова маленького Мишеля, сказанные им перед шикарной булочной на улице Риволи, где на витрине было написано золотыми

буквами «Поставщики их Императорских Величеств»: «Как? Император и императрица едят хлеб?»

Эти воспоминания, в которых столько места отводится имперским празднествам, обходят молчанием хаос страшного года * и роковых годов *. Мишель Шарль обронил только, что после падения режима он подал в отставку. Но вышел из игры он ненадолго. Важные особы в Лилле, которым он доверял, быстро убедили его в необходимости вернуться к своим обязанностям. Он умалчивает о том, что в «Журналь офисьель» от 1 марта 1871 года постановление председателя совета о назначении его префектом департамента Нор соседствует с постановлением министра внутренних дел, наделяющим теми же полномочиями некоего Барона, бывшего генерального секретаря префектуры. После трехнедельной административной перебранки и того и другого заменил некто Сегье, получивший более единодушную поддержку. Мой дед вернулся к прежним обязанностям, которые, если ему верить, позволяли заправлять делами департамента. Он еще в течение десяти лет занимал место «серого преосвященства» (по крайней мере оно таковым считалось), стараясь забыть, что впредь служит Республике, за которую, правда, проголосовали большинством всего в один голос.

Только в 1880 году в том же самом «Журналь офисьель» в один прекрасный день он с удивлением прочел, что ему разрешено подать в отставку. Поскольку до нужного возраста ему не хватало еще нескольких лет, скрытое уволь-

нение лишило его пенсии и всех сумм, выплаченных в ее счет в течение тридцати лет. Несправедливость наделала много шума: уверяют, что республиканцы сами являлись с соболезнованиями на улицу Марс. Поль Камбон попытался успокоить отстраненного от должности чиновника, предложив ему почетное председательство с полной пенсией. Мишель Шарль имел наглость отказаться.

Сохранились два его портрета, относящиеся как раз к семидесятым годам, они почти столь же противоречивы, как приказы и отменяющие их распоряжения, исходившие сверху. Один из них написан в торжественном стиле. «Фламандский патриций» раздался в плечах и потерял свою интересную мрачность, которую мы отмечали в 1860 году. На нем изукрашенный галунами мундир, в красивых руках треуголка. Это портрет чиновника преданного, неподкупного и властного, готового, если надо, подставить грудь под пули врагов порядка. На втором изображении — на фотографии, сделанной, несомненно, для того, чтобы избавить Мишеля Шарля от долгих сеансов позирования (поза и костюм в точности совпадают с портретом), — вид у него тоже официальный, но черты лица и бакенбарды не так отутюжены. Лукавый, почти хитрый взгляд слишком хорош для Мишеля Шарля и подошел бы, скорее, какому-нибудь кельтскому крестьянину, указывающему легионерам неверный путь через болота, или Жану Кленверку, старающемуся перехитрить Томаса Лотена. Такой человек заслуживал того, чтобы

стать жертвой: он, должно быть, частенько утирал нос префекту-республиканцу.

Для Мишеля, который в это время заканчивает выработку «своей философии», административные передраги проходят, разумеется, незамеченными. Крах империи повлиял на него еще меньше, чем на его современника из Шарлевиля, Рембо *, который, сказать по правде, находился ближе к месту катастрофы. Тем не менее всю жизнь Мишель с насмешливым презрением вспоминал царивший тогда хаос и широковещательную ложь: вошедшие в историю выражения, подлинные или мнимые, в которых отразился дух времени. Слова «Это моя война», сказанные императрицей; французская армия «готова до последней пуговицы на гетрах», эту армию Бисмарк и опрокинул, словно в трагической игре в кегли; выкрики парижских зевак «На Берлин!», подобные распеваемому хористками «Вперед!», и весь этот дешевый патриотизм на потребу официантам; лозунг «Ни одной пяди нашей территории, ни одного камня наших крепостей!», брошенный именно в тот момент, когда стало ясно, что как раз этим-то дело и кончится. Позже Мишелю покажется смешным, что трубили во все фанфары: «Вы не получите Эльзас и Лотарингию», тогда как они уже были в руках у немцев.

Но подлинное пробуждение пришло в мае 1871 года, во время подавления Коммуны. Знал ли он цифры и сопоставил ли девяносто шесть заложников, расстрелянных восставшими, и двадцать тысяч бедняг, ликвидированных версальцами? (Каждая сторона делала, что могла.) Видел ли чудо-

вишнюю фотографию, одно из первых вещественных доказательств истории, где в белых гробах, с порядковыми номерами в изножье, лежат шесть или семь расстрелянных коммунаров, злодеи и преступники, которые были, как можно догадаться, слегка рахитичными, слегка чахоточными, вскормленными на колбасе и вспоенными чистым воздухом Сент-Антуанского предместья? Во всяком случае, он видел Великий Страх богачей, которые в конце концов стали симпатизировать пруссакам, поддерживавшим порядок, за исключением тех случаев, когда те воровали настенные и каминные часы. Один из завсегдатаев вторников, ныне, увы, менее элегантных, чем прежде, приезжает в Версаль, где оказывается, если можно так выразиться, в первых рядах. Он видит сестер и жен благонамеренных законодателей, стоящих вдоль тротуара, чтобы посмотреть, как ведут пленных коммунаров, и ткнуть кончиком зонтика в лицо и глаза несчастным («Ну и поделом им»). Этот рассказ будет преследовать Мишеля всю жизнь, он не сделал из него человека левых убеждений, но помешал ему стать правым. Отцы-настоятели конфискуют у него «Оду павшим Коммуны», в которой искреннее негодование выражено заимствованными у Гюго штампами, но без вдохновения, свойственного гернсейскому старцу. Ему угрожает исключение, но накануне экзаменов недисциплинированного, хотя и блестящего ученика, к тому же происходящего из хорошей семьи, не выставят вон. Мишель с триумфом сдает экзамены на степень бакалавра.

Университетские годы сперва в Лувене, потом в Лилле (если только не наоборот) походили скорее на неистовые скачки. Мишель появляется на балах в красных каблуках и рубашках с кружевным жабо. Сестры соучеников и дочери профессоров разделяют его ненасытную жажду жизни. Атмосфера та же, что в «Любовных похождениях кавалера де Фобласа» или в юные годы Казановы до встречи с Генриеттой: все происходит быстро, легко, по-щенячьи. Радость пса, катающегося по траве. Прежде всего в Лувене, куда Мишель Шарль определил сына, конечно же потому, что доверяет известному католическому университету, под сурдинку продолжается вечная фламандская вакханалия. Юные особы, за которыми так следят, подделывают ключи и держат наготове уголки то в конюшне на охапке соломы, то в прачечной на куче белья. Снисходительные и великодушные служанки разговаривают и ведут себя, словно кормилица Джульетты *. Подобная горячность порою имеет последствия: хорошенькая девица, у которой полно поклонников, тайно рожает, ребенка относят в приют в шляпной картонке. Но все это не произвело на студента сильного впечатления: он быстро забыл имена танцовщиц.

Не помнил он и имени товарища, которого убедил отправиться вместе в Швейцарию, в Саксонле-Бен, местечко, знаменитое тогда своими игорными заведениями. Оба юноши, заранее уве-

ренные в том, что им удастся сорвать банк, были, напротив, вынуждены потихоньку покинуть гостиницу, оставив там свои чемоданы. Мишель добирается пешком до Лозанны: там его ждет почтовый перевод для востребования, посланный отцом, денег только-только хватает на билет третьего класса. На сей раз Мишель Шарль решил не утруждать себя и не двинулся с места. То была первая встреча молодого человека с демоном зеленого сукна, но он, несомненно, был страстным игроком еще со времен детских игр в шарики.

Развлечения оставляли мало времени для вещей серьезных. Студент унаследовал от отца прекрасную память: экзамены на степень лиценциата его не пугают. Несмотря на то, что по традиции из него хотят сделать доктора права, я сомневаюсь, чтобы собственные его честолюбие или уступчивость заходили так далеко. Однажды я спросила его, откуда он набрался необходимого рвения, чтобы написать дипломную работу, и сидел ли он когда-нибудь за диссертацию. Он ответил мне, что безденежных профессоров всегда хватало. Когда подумаешь о бесчисленных молодых людях, которые в XIX веке стали докторами права, не имея к тому ни вкуса, ни склонности, ни малейшего намерения хоть когда-нибудь воспользоваться своими дипломами, говоришь себе, что подобная практика, должно быть, была вполне обычной. Но легкое отношение отличает Мишеля от отца, который так гордился своими четырьмя белыми баллотировочными шарами.

Глубокое отвращение овладевает молодым Гамлетом. Ни игра, ни суетные наслаждения, ни просто наслаждения, ни университетский диплом, добытый правдой или неправдой, не приносят того, что он ожидал. Что касается такого института, как семья, то он уже усвоил привычку саркастически цитировать излюбленную сказку того времени: «Где человеку может быть лучше, чем в лоне семьи?» и отвечать со смехом: «Где угодно». Семья — это Ноэми в сопровождении старого Дюфрена и Мишель Шарль. В отце сын, ошибаясь или нет, видит только замученного, во всем уступающего мужа, он дает себе слово никогда не быть таким. Его часто посылают в Байель на воскресные обеды к бабушке. Он любит приветливую восьмидесятилетнюю старушку и двух своих теток, которые кажутся ему почти такими же старыми, как их мать. Однако он слишком мало интересуется ими для того, чтобы расспрашивать тетушек об их юности, относящейся к эпохе Луи-Филиппа, или выслушивать рассказы Рен, чьи первые воспоминания восходят к Директории. Посредственные личности, собирающиеся за обедом, портят ему удовольствие от изысканных блюд. За тридцать лет ни одна новая идея не проникла в эти узколобые головы, не отразилась на спящих физиономиях. Наследства, генеалогия и преступления Республики составляют предмет разговора. Мишель, однако, не так глуп, чтобы не оценить некоторые черты уже вышедшего из моды испанства: тетушка П., вдова депутата-ор-

леаниста, хранит сердце сына, умершего на посту консула в Китае, в хрустальной вазе с золотым орнаментом. Набожная дама превратила свой будуар в часовню, где стоит гроб. Еще более поражает честность, как бы унаследованная от золотого века и выжившая среди столкновения низменных интересов, словно целебное растение среди сорняков. Одному небогатому кузену каждое воскресенье ставят прибор, хотя и довольно далеко от хозяйки дома. Несколько лет назад, когда надо было вступать во владение наследством очень богатого родственника, не оставившего завещания, состояние покойного по праву переходило к этому кузену и Мишелю Шарлю. Было решено серебро и безделушки поделить на части, а затем вытягивать их по жребию. Мишель Шарль и Ноэми хлопотали в гостиной, кузен, человек немощный, сидел в столовой у печки и разбирал столовые приборы в ящиках, стоявших рядом. Вдруг он позвал Мишеля Шарля. Тот прибежал, и родственник протянул ему сложенный листок бумаги, найденный им под серебряным половником.

— Завещание... Ты наследуешь все.

Рассказывая эту историю сыну, Мишель Шарль подчеркивал тот факт, что в печи пылал огонь. По мнению Мишеля, наследство следовало разделить, словно ничего не произошло. Отец и Ноэми были другого мнения.

Тем временем умер добряк Анри. Поспешно исследовали его шкафы и потайные ящики. Рас-

считывали найти там эстампы и книги легкого содержания. Обнаружили же старые либеральные памфлеты против Баденге* и несколько разрозненных томов Пьера Леру* и Прудона*. В ящике, запертом на ключ, хранилась школьная тетрадь, где через всю страницу было яростно начертано: «Да здравствует Республика!» Только один Мишель, несомненно романтизируя этого сумасброда, углядел в нем человека, похороненного заживо.

Лилль для Мишеля остается городом кошмаров. Он ненавидит его черные от копоти стены, скользкие мостовые, грязное небо, насупленные ограды и ворота в богатых кварталах, запах плесени в бедных улочках и звуки кашля, несущиеся из подвалов, бледных девочек двенадцати лет, часто уже беременных, торгующих спичками и пялящих глаза на господ, достаточно жадных до свежей плоти, чтобы рискнуть забраться в эти убогие кварталы, женщин с непокрытой головой, тянущих из кабачков мужей-пьяниц, он ненавидит все то, о чем не знают или не хотят знать люди в крахмаленных манишках, с бутоньерками, украшенными орденскими ленточками. У города есть свои мрачные тайны: Мишелю было примерно лет тринадцать, когда он увидел, как открылась дверь находившегося в квартале монастыря и выбежавшая оттуда монахиня бросилась в канал. Какое отчаяние бродило под ее чепцом? Молодая или старая, красавица или уродка, жертва мелких монастырских колко-

стей, быть может, безумная, быть может, беременная, незнакомка, словно сошедшая со страниц «Монахини» Дидро, преследует его неотступно, словно султанша, утонувшая в Босфоре.

Но последнюю горькую каплю ему придется испытать в столовой дома 26 по улице Маре, в рождественский вечер. Это вновь история бедного кузена, но на сей раз со стороны Дюфренов. Вся семья сидит за столом, только что на кухню унесли разрезанную и наполовину съеденную индейку с трюфелями, как вдруг объявляют о приходе кузена Н., весьма посредственного господина, неудачника в делах, который в настоящий момент управляет католической молочной. Он не из тех родственников, которых приглашают на Рождество, и даже не из тех, кому быстренько поставят прибор. Он хочет видеть председателя Дюфрена. Амабль приказывает провести его в кабинет Мишеля Шарля и выходит с таким видом, словно ведет судебное заседание.

Дубовые двери толстые, и, хотя кабинет прилегает к столовой, ничего не слышно. Но туг распаивается одна створка, кузен, ошибаясь дверью и пошатываясь как пьяный, пересекает столовую, ни на кого не глядя. Амабль вновь усаживается за стол и принимается за английский плумпудинг. Как только лакей выходит, он вкратце пересказывает свой разговор с докучливым посетителем. У этого идиота Н., как известно, сын — лейтенант в Алжире, повеса наделал долгов. Отец, чтобы заплатить их, залез в кассу молочной.

— Я не могу тратить деньги на людей подобного сорта, — заключает судья.

Все одобряют его, и никто, кроме Мишеля, не был взволнован, когда несколько дней спустя оказалось, что кузен, несомненно страдавший острой зубной болью, принял слишком сильную дозу лауданума.

Улица Маре — тюрьма, Шекспир уже заранее ответил Мишелю, что и весь мир — тоже. Но когда удастся сменить одну камеру на другую, это уже кое-что. В данном случае есть несколько возможностей для побега. Одна из них — уйти в религию, но филистерское христианство семьи как раз является частью того уклада, от которого Мишель бежит. Об ордене траппистов он начнет подумывать, да и то не всерьез, только лет через тридцать. Второй выход — это Искусство с большой буквы, но он не верит, что из него получится великий поэт или великий художник. Путь самый удобный, по крайней мере без особого риска ошибиться, — это приключения, авантюры. Они придут, но в тот момент толчка со стороны случая не последовало: вылазка в Антверпен отбила у Мишеля охоту пытаться счастья на кораблях, отплывающих в колонии. Какой порыв или какая блажь подвигли его на военную карьеру? Может быть, не более чем пустяк: вояка, фланирующий в окрестностях крепости, солдаты, с музыкой марширующие под окнами, как во времена маленькой гувернантки-англичанки? Во всяком случае, то, что мне известно о его дальнейшей

жизни, убеждает: однажды приняв решение, он больше не подвергал его сомнению. В январе 1873 года из письма, написанного в парижском кафе на линованной бумаге грязными чернилами, Мишель Шарль и Ноэми узнали, что их сын поступил добровольцем на военную службу.

How many roads must a man walk down
Before he's called a man?..
How many years can a mountain exist,
Before it's washed in the sea?..

— The answer, my friend, is blowin' in the wind,
The answer is blowin' in the wind.

Bob Dylan.

Сколько дорог должен пройти человек,
Прежде чем сможет назваться мужчиной?..
Сколько лет простоит гора,
Прежде чем рухнет в морскую пучину?..

— Ответ, мой друг, тебе навеет ветер,
Ответ тебе навеет ветер.

Часть третья

*АНАНКЕ **

Мишель Шарль, ошеломленный, первым же поездом выехал в Париж. В семье, как мы видели, по крайней мере с момента присоединения к Франции, военной традиции не существовало. Брат Рен, погибший на службе у Наполеона, был всего лишь забытым исключением. Если бы Мишель хотя бы закончил одну из больших школ *! Отец упрекает себя за то, что не направил сына в Сен-Сир или Сомюр. Офицер, впоследствии генерал, даже на службе у Шлюхи * — это бы еще ку-

да ни шло, но все в нем возмущается при мысли, что Мишель стал простым солдатом. Едва приехав в Париж, Мишель Шарль отправляется повидать Мак-Магона. Бывший завсегда лилльских вторников сохранил добрые воспоминания об их хозяйине. Оба они католики, причем их политические убеждения прочно спаяны с религиозной традицией. Оба — реакционеры, маршал, который через три месяца станет президентом Республики, почти такой же дурной республиканец, как и председатель совета префектуры. Мишеля Шарля хорошо принимают, но когда он упоминает о решении сына, пытаясь сделать вид, что относится к нему легко, и намекает, что воспитание и достоинства Мишеля должны без лишней задержки принести ему чин, на который семья вправе рассчитывать, маршал отвечает царственным тоном: «К нему отнесутся лучше, чем к другим, если он будет вести себя хорошо, и хуже, чем к другим, если он поведет себя плохо». Можно сколько угодно любить суровость героев Плутарха, но менее резкий ответ был бы Мишелю Шарлю приятнее. Настаивать бесполезно.

Мой дед грустно бредет по улице Вожирар, вспоминая о том, каким был прилежным студентом, как послушно следовал семейным советам. Как изменился мир! И не только политические режимы... Но как знать? Может быть, армия образумит блудного сына, в конце концов, через семь лет Мишелю будет только двадцать шесть. Доброволец был зачислен в седьмой кирасирский полк и отправлен в Ниор. Мишелю Шарлю хочется по-

ехать туда и обнять сына, но подобная демонстрация нежности противопоказана. Поездки в Париж для этого провинциала обычно случай поразвлечься, на сей раз, однако, ни спектакли, ни кафе «Рига», ни красотки, встреченные на бульварах, не пробуждают его желаний. Он покупает куклу для маленькой Мари и возвращается в Лилль.

Мишелю в армии сразу же понравилось. Мы видели, что он не был страстным патриотом. Если бы разразилась война, он воспринял бы ее всего лишь как увлекательную игру, где ставкой была жизнь. Пока что армейская рутина избавляет его от всякой ответственности, за исключением простейших обязанностей. Ему нравится военная форма: сапоги, перчатки с крагами, каска и кираса, сверкающие на солнце, словно зажигательные стекла, так, что ему случилось, потеряв сознание, упасть с лошади во время парада в знойный полдень 14 июля. Он оказывается мастаком по уходу за животными и выезде и ранним утром с наслаждением едет на рысях к месту проведения маневров. Он ценит в товарищах крестьянскую хитрость и зубоскальство или развязность жителей городских предместий, их умение жить, состоящее в том, чтобы принимать вещи такими, какие они есть, ему нравятся похабные, непристойные маршевые песни. Он с удовольствием вспоминает о катании на лодках и пескарях, съеденных на берегу реки.

Другие стороны военного досуга прельщают его меньше. Ему неприятны засаленные карты и стопки грязных блюдец в кафе, избитые шуточки,

отпускаемые по адресу хорошеньких девушек, пустые пошлые разговоры, прерываемые молчанием или зевотой. Он вытаскивает из кармана Теофиля Готье или Мюссе и читает стихи товарищам, которых только что угостил. Юноши выслушивают его с вежливым вниманием, но становится ясно, что пролог из «Роллы» * ни о чем им не говорит. Мишель всю жизнь страдал от того, что энтузиазм не передается с быстротою молнии, подобно разом вспыхивающим свечам в пасхальный вечер в православных церквях, куда он полюбит потом захаживать в Париже. На своем горьком опыте он убедился, что молния далеко не всегда высекает искру, что недостаточно показать людям красивый пейзаж или хорошую книгу, чтобы они сумели их оценить. Он садится в траву и перелистывает книги любимых поэтов, глядя, как струится вода.

Капрал, взявший под опеку молодого человека из хорошей семьи, предлагает отвести его в лучший в городе дом терпимости. Мишель испытывает к проституткам отвращение; то, что он видит в гостинице провинциального заведения, не заставляет его переменить мнение: здоровенная толстуха, сияющая от радости, красивая жеманница не первой молодости, знававшая лучшие времена, крепко сколоченная кумушка, занимающаяся проституцией так, как другой бы работал грузчиком, опустившаяся пьянчужка, готовая на все и распухшая от постоянных рюмок, черноволосая андалузка родом из Перпиньяна... В то время как бригадир исчезает с одной из девиц, Мишель в за-

мешательстве признается помощнице хозяйки, что не нашел себе даму по вкусу.

— Если бы по крайней мере одна из них была похожа на вас, — галантно добавляет он.

Собеседница ловит его на слове. Если он действительно хочет, мадам охотно заменит ее на чашок-другой, остальное время она принадлежит себе. Мишелю кажется неудобным отказываться, к тому же она ему нравится: он проводит хорошую ночь. Рано утром молодой человек, по натуре своей отнюдь не Дон Хосе*, в спешке одевается, чтобы не опоздать на переключку, и перед уходом кладет на столик два луидора. Звяканье монет о мраморную крышку будит красавицу. Она видит золотые рядом с пустыми бокалами из-под шампанского, садится в кровати и осыпает своего партнера оскорблениями, смешанными с рыданиями. Он принял ее за шлюху, которой надо платить, он не понял, что приглянулся ей, он всего-навсего подлец, как и все мужчины. Стоило же быть с ним такой, какой она не была ни с кем.

Он выходит, потрясенный тем, что оскорбил женщину. На улице ему под ноги на мостовую падают два луидора. Он не поднял их, но и много лет спустя все еще вспоминал, как невольно оскорбил существо, испытывавшее к нему влечение и — кто знает? — быть может, любившее его больше, чем женщины, с которыми он жил подолгу. В этот публичный дом он больше ни разу не вернулся.

Визит Мишеля Шарля к Мак-Магону, несомненно, оказался не столь бесполезен, как пред-

ставлялось. Став капралом, а затем сержантом, молодой человек быстро сменил Ниор на Версаль. Начинается прекрасная жизнь. Мишель Шарль назначает сыну вполне приличное содержание, товарищи его по большей части иного калибра, нежели в департаменте Дё-Севр. Сын Салиньяка де Фенелона, посещавшего в Лилле салон на улице Маре, становится для Мишеля собратом по оружию. Через поколение некий Бертран де Салиньяк де Фенелон послужил, как говорят, моделью для прустовского Сен-Лу. Я спрашиваю себя, не следует ли признать в юном товарище Мишеля отца одного из персонажей романа «В поисках утраченного времени», отца, который, если верить Сен-Лу, был существом очаровательным, но имел несчастье родиться в эпоху «Прекрасной Елены» *, а не «Валькирии» *, был любезен, умел прожигать жизнь и, по какой-то причине перескочив через стену расовых и кастовых предрассудков, подружился в Нице с господином Ниссимом Бернаром. Как бы там ни было, Мишель и его элегантный приятель чувствуют себя королями молодости. Оба любят красивые упряжки, изысканные ужины, модные пьесы и модных женщин — на крайний случай можно предположить, что красавицы не продажны. Оба любят игру, а Мишель — до самозабвения. Блестящий унтер-офицер представляет новичка своим друзьям из парижского света, как это делает Сен-Лу для Марсея. Ночью, чтобы выиграть время, они возвращаются через Булонский лес. Чтобы войти через ворота, открывающиеся только

для офицеров, под сиденьем догкара они предусмотрительно прячут расшитые кепи, которые и вытаскивают в нужный момент.

Приятель ввел Мишеля в семью своих родственников, живущих в Версале. Молодая женщина отличается несколько суховатой элегантностью. Муж, среднего возраста, — страстный фотограф. Он проводит целые дни в темной комнате в окружении ванночек и подставок для сушки негативов. Дама питает к Мишелю слабость, но какая-то жесткость и напряженность этой полулюбовницы настораживают молодого человека. Однажды, будучи приглашен на завтрак, он находит господина де Н. в саду с перевязанной ногой. Вывих, обычный несчастный случай. Тут горничная объявляет госпоже, что модистка принесла для примерки шляпу, и та на какое-то время оставляет мужчин. Г-н де Н. говорит улыбаясь:

— Моя темная комната находится в подвале. Лестница там довольно опасная, а у меня есть привычка спускаться, неся в обеих руках всякие хрупкие предметы. К счастью, я всегда ставлю ногу на ступеньку с осторожностью. Вчера я оступился. Если бы по совершенной случайности левая рука у меня не была свободна, я не смог бы удержаться за перила и остановить падение. Отделался я вывихом. Но когда с трудом поднялся, то обнаружил, что на высоте щиколотки кто-то натянул железную проволоку. Нет, не думайте, что она любит вас до такой степени. У нее есть любовник, для которого вы служите ширмой.

Появляется хозяйка дома и помогает мужу, опирающемуся на трость, дойти до столовой. Завтрак проходит с соблюдением всех приличий. Визиты Мишеля становятся реже.

Небольшие суммы, которые Мишель проигрывает, неоднократно выплачивались отцом. В августе 1874 года разражается катастрофа. Мишель, торопясь заплатить так называемый долг чести, телеграфирует на улицу Марэ, рискуя при этом, что телеграмма попадет в руки матери. Во всяком случае, сумма была слишком значительна, чтобы скрыть от Ноэми эту новую выходку. В тот же вечер молодой человек получает лаконичный ответ: «Невозможно».

Больше ждать помощи неоткуда. Салиньяк де Фенелон тоже сидит на мели. В тот вечер, 17 августа 1874 года, всего семь дней после того, как ему исполнился двадцать один год, Мишель тщательно одевается в штатское, целует кирасу и каску, как монах-расстрига поцеловал бы рясу, и садится на версальском вокзале в парижский поезд, едва не оказавшийся роковым для его отца. После установления мира паспорта больше не являются проблемой. На вокзале Сен-Лазар он делает пересадку до Дьеппа и оттуда переправляется в Англию.

Настроение у него менялось быстро, и при виде высоких полисменов на набережной Саутгемптона, зеленых лугов и деревьев, проносившихся за окнами вагона, при виде огромного Лондона заботы улетучиваются. Правда, нена-

долго. Самой насущной проблемой остаются деньги. Он снимает комнату в захудалой гостинице у Черинг-Кросса, о которой слышал от лилльских коммивояжеров, «бывавших» в Англии. Лилль приучил его к саже и влажной черной грязи, но мрачный хаос закопченного Лондона превосходит все сравнения.

Впервые в жизни он совершенно одинок. Одинок, как самый несчастный и самый мятежный из людей не может быть одинок в семье, школе, полку, где его имя и лицо известны, где он вправе ждать от окружающих если не помощи, то хотя бы упрека, незлобивой насмешки, проявления дружбы или, напротив, доказательства неприязни, которой часто оборачивается неудавшаяся дружба. Даже незнакомцы в Лилле были более или менее знакомы или по крайней мере укладывались в известные ему категории. В Байёле знакомы были все. В Лувене жизнь определялась положением студента, в Ниоре и Париже — военным мундиром. Во времена юношеских побегов он изведal, пусть ненадолго, одиночество и лишения, но на другом конце телеграфной линии всегда находился отец. Теперь же все происходит так, словно Мишеля Шарля больше нет, лондонское одиночество множится на миллионы человек. Никто не беспокоится о том, найдет ли он на что жить или бросится головой в Темзу, как полугендарная монахиня во времена его детства бросилась в канал в Лилле.

После бегства из полка название одного английского торгового дома, занимавшегося импор-

том тканей, служило ему своеобразным талисманом. Дом этот поддерживал отношения с прядильными фабриками Севера. Родственник тетки П. возглавлял одну из них. До сих пор Мишель совершенно не интересовался текстильной промышленностью, но импозантный дом В. был единственным заведением, известным ему в огромном городе, не считая Тауэра и Банка Англии. Следовало попытаться счастья.

Он нашел в справочнике адрес и спросил дорогу у официанта в кафе. Со своим английским, казавшимся превосходным в университете, Мишель оказался совершенно безоружным перед уличным кокни. Погружение в Лондон измотало его, словно долгий путь в глухом лесу. Отказавшись из экономии от плотного английского завтрака в гостинице, он почувствовал голод. Он несколько раз сбивался с дороги, прежде чем прибыл по назначению. Директор не принимал. Мишель решил настоять на своем и дожидаться его столько времени, сколько потребуется. В двенадцать часов дня директор, которого можно было узнать по уважительным приветствиям служащих, вышел подкормиться в соседнюю таверну. Как по уходе, так и по возвращении он заметил молодого иностранца, не двигавшегося с места. В конце концов он принял его из любопытства.

Университетский английский Мишеля в кабинете директора помог ему лучше, чем на улице. Молодой человек сослался на кузена — владельца фабрик, которого на самом деле видел всего

два раза в жизни, и предложил свои услуги для сношений с Францией. Директор, поигрывая брелками, слушал его вполуха и быстро спровадил нежелательного посетителя.

Получив вежливый отказ, юноша на минуту присел в приемной, собираясь с мыслями и спрашивая себя, не лучше ли сразу же устроиться официантом или мойщиком посуды во французский ресторан. Тем временем к нему подошел человек с добрыми, умными глазами и задал несколько вопросов. Перед благожелательностью этого маленького смуглолицего человека, говорившего с сильным акцентом выходца из Центральной Европы, устоять было трудно. Мишель признался ему во всем, не назвав только своего настоящего имени. Маленький человек избавился от образцов тканей, которые нес в руках, и провел Мишеля в кабинет, менее внушительный, чем первый, — здесь располагался начальник рассылки. Молодого француза приняли на работу, с весьма скромным заработком, для наклейки этикеток и помощи в упаковке тканей. Мишель почувствовал себя спасенным. Между тем он с удивлением обнаружил, что место, которого в конце концов добивается человек, редко оказывается тем, к которому он считал себя готовым и где надеялся принести пользу. Пробыл час окончания работы. Мишель очутился на улице вместе со своим благодетелем, который не позволил, чтобы его благодарили, и спросил, где м-р Мишель рассчитывает поселиться. Тот не знал.

— Почему бы не у нас? Мы только что купили дом и подумали, что, взяв жильца, сможем быстрее выплатить залог. Драть мы с вас не будем.

Они заходят в гостиницу за тощим чемоданом француза. Вновь рассыпаясь в благодарностях, которые не принимаются, Мишель смотрит на маленького толстоватого человечка, который явился ему, словно архангел Рафаил юному Товии * в Священном писании. Дом находится в Патни. По дороге Рольф Нэйджел (так он представился) скороговоркой рассказывает о себе: его отец, еврей из Будапешта, покинувший страну в результате какого-то восстания, долго держал венгерскую таверну в Сохо. Рольф предпочел печке ткани, и совсем неплохо преуспел. Для этого милого анархиста, который по мере возможности устроился в лондонской торговле, тот факт, что Мишель оказался дезертиром, делает его еще более симпатичным.

Скромный кирпичный домик, увитый плющом, кажется идиллическим после Сити. Рольф представляет м-ру Мишелю свою молодую жену, которую я назову Мод, ибо отец не сказал мне ее имени. (Имя и фамилия мужа — тоже моя выдумка.) Мод красива, бледно-розова, с темно-рыжей шевелюрой. В этой хрупкой англичанке есть слегка тревожащее очарование некоторых моделей Россетти * или Бёрн-Джонса *, которых Мишель вскоре хорошо узнает благодаря олеографиям и картинным галереям. После еды они переходят в гостиную, обставленную всяким хламом. Рольф садится за пианино. Будучи не в состоянии про-

честь ни одной ноты, он тем не менее с воодушевлением наигрывает арии из модных оперетт и эстрадные песенки, напевая неразборчиво их слова. Мишель из вежливости просит сыграть какую-нибудь венгерскую песню, Рольф преобразается и с сосредоточенной страстью запекает старую арию, но заканчивает ее клоунадой. Цена пансиона, которую он назначает Мишелю, не скоро поможет ему освободиться от залога. Этот беглец из гетто Центральной Европы ведет себя по отношению к гостю с королевской щедростью.

Я не стану более томить читателя, который и так видит, куда я клоню. Меньше чем через три недели Мишель и Мод режутся вместе на большой кровати с ситцевыми занавесками, гордости Рольфа, купленной на распродаже. Робкая молодая женщина оказывается вакханкой. Каждую субботу Рольф навещает отца в доме для престарелых евреев на другом конце Лондона, таким образом даря любовникам несколько чудесных свободных часов. Сразу после его отъезда супружеская спальня превращается во владения Венеры. Зеркальный шкаф и зеркало туалетного столика отражают сцены, о которых возвращающийся вечером Рольф и не подозревает. Время от времени муж-меломан отправляется один на концерт, ни Мод, ни жилец не горят желанием сопровождать его. По воскресеньям они прогуливаются втроем по *common*¹ в Патни или добираются до

¹ Рынок (англ.).

парка в Ричмонде, где Мод любит ласкать ручных ланей. Рольф знакомит Мишеля с тем, что составляет для него поэзию Лондона: с улицами, великолепно освещенными сверкающими витринами, где можно развлечься и где расположены полушикарные торговые заведения; с девицами, подкарауливающими клиентов под бледными фонарями; маленькими театриками, в которых он непременно знает импрессарио или билетного распорядителя; хорошими недорогими ресторанами; музеем восковых фигур мадам Тюссо и фасадами тюремных зданий. Время от времени он приглашает жену и жильца на musical comedy¹. После спектакля со скидкой следует скромный ужин: мужчины платят пополам.

Доверие, которым удостаивает его Рольф, кажется Мишелю трогательным и чуточку комичным, но упреки, которыми он себя осыпает, весьма условны: не может быть и речи о том, чтобы отказаться от постельных наслаждений. Если бы по крайней мере муж, чья честь оскорблена, потребовал удовлетворения и сразился с ним на шпагах! Но Рольф, если предположить, что он о чем-то догадывается, вовсе не собирается вызывать жильца ни на дуэль, ни на рыцарский поединок. За столом, во время прогулок, за неизбежным фортепьяно Мод, чувствуя себя непринужденно, крайне предупредительна по отношению к обоим мужчинам.

¹ Музыкальная комедия (англ.).

Однако через несколько месяцев Мишелю надоедает жизнь втроем. В конце концов в разделе объявлений в «Таймс» он находит место преподавателя верховой езды и французского разговорного языка в мужском колледже. В распоряжение мистера и миссис Мишель предоставляется коттедж. Он уговаривает Мод уехать.

И вот как-то в субботу г-н Мишель Мишель окончательно прощается с тюками и этикетками. Много позже он узнал, что Мод, чтобы иметь наличные деньги, продала кое-какие скромные украшения, подаренные ей Рольфом, и часть безвкусных безделушек из гостиной. Но в тот вечер он не мог без сочувствия думать о бедном муже, вернувшемся в опустевший дом. У Мод сердце менее мягкое. Тем не менее она не пользуется, как многие женщины, адюльтерной близостью, чтобы поносить мужа. Рольф — добрый малый и всегда хорошо к ней относился. Она была ученицей модистки, когда они познакомились. Еще несколько лет занятий этим ремеслом, и она умерла бы от чахотки. Нет, Рольф не был ни противным, ни требовательным. Как она думает, он давно обо всем догадывался? О, тут никогда знать нельзя.

Они провели счастливые месяцы в Суррее, в коттедже, увитом диким виноградом, подрумяненным осенью. Чистокровные жеребцы, находящиеся на попечении Мишеля, утоляют его тягу к лошадям, которая мучает его после побега из полка. Ему нравится преподавать верховую езду и говорить по-французски с теми учениками, кото-

рые знают этот язык. С остальными он сразу же переходит на английский, не давая себе труда выслушивать их тарабарщину. Мод обладает особым, английским воображением, которое может превратить в волшебную сказку появление мыши в поисках крошек и сделать из выщербленного чайника фантастический персонаж. Она любит сидеть на свежем воздухе так, чтобы ветер играл ее волосами. Чутьочку русалка, чутьочку саламандра, она остается под дождем с непокрытой головой, хотя потом и приходится сушить волосы над огнем в кухне. Все приводит их в восторг: поздний безвременник, спрятавшийся в листве, кролики в траве, полузамерзший ручей, разделяющийся за домом на два рукава и образующий островок, на котором живут птицы. На Рождество запах свежесрубленных еловых веток сочетается с ароматом жареной индейки. Если бы счастье светилось, домик под деревьями переливался бы тысячью огней.

Тем не менее у Мод порою возникает ощущение, что колючки жалят ее исподтишка. В глазах корректных профессорских жен эта слишком хорошенькая молодая женщина не является настоящей дамой. Вокруг парочки витает смутное подозрение, что союз этот не был благословлен священником. Мишель только посмеивается над безвкусно одетыми ханжами, порою Мод вторит ему, но в конце учебного года дирекция отказывается от дальнейших услуг м-ра Мишеля.

С небольшой оставшейся у них суммой они поселяются на лето на ферме в Девоншире, где за-

дешево предлагают пансион. Еда их разочаровывает: молоко, сливки, яйца и фрукты каждое утро отправляют в Лондон, по словам владельцев, призрагивая к ним — значило бы «съесть деньги». Любовники помогают во время сенокоса и сбора яблок. Они совершают прогулки, наслаждаясь широкими просторами, перерезанными маленькими долинами, извивающимися между двумя рощами. Чувственное оцепенение, влажное тепло исходит от высоких трав. Но полковая музыка на площади маленького городка, куда они отправляются на рынок, вдруг растревоживает Мишеля. Гнев обычно является у него формой проявления душевной тоски, и он затевает ссору с Мод. Возвращаясь, по дороге они не разговаривают друг с другом.

На следующий день, когда разговор заходит о нескольких месяцах, проведенных в Суррее, Мод рассказывает, что самый дерзкий из мальчишек в колледже, услышав за чаем у провизора, как шушукались на ее счет, поспорил, что запросто добьется благосклонности незаконной миссис Мишель. Он воспользовался отсутствием преподавателя верховой езды, явился в коттедж и стал рьяно за ней ухаживать. Она сдерживала его не без труда. Мишель кричит ей, что она лжет. Они мирятся со слезами и взаимными уверениями в верности.

Но с наступлением ночи сомнения вновь овладевают Мишелем. С какой стати эта женщина, которая так любит любовь, оттолкнула красивого светловолосого юношу? Ссора вновь вспыхивает на следующий день из-за почтового перевода,

полученного Мод. Она уверяет, что деньги присланы теткой, единственной родственницей, хорошо к ней настроенной. На самом деле скромная субсидия исходит от Рольфа. Мишель складывает чемодан и возвращается во Францию и в полк.

Он был разжалован, и процедура, во время которой с него срывали нашивки и которую позже Мишель с непринужденностью сравнивал с удалением зуба, была, без сомнения, более мучительной, чем он в том признавался. Один из товарищей, вернувшийся с повинной одновременно с Мишелем, был также ей подвергнут, что облегчило положение: они вместе шутили по этому поводу. Мишель испытывает все же почти животное удовольствие, вновь оказавшись в казарме, в компании людей своего возраста и избавившись от изнеживающего присутствия любовницы. В глазах простых людей он отнюдь не теряет уважения, пережитые авантюры делают из него романтического героя. Благодаря протекции, которой отец добился на улице святого Доминика и у старика в Елисейском дворце, блудный сержант скоро вновь вернет себе потерянные галуны.

Он вынужден был помириться в Лилле с родными, ибо от этого времени сохранилась удивительная семейная фотография, сделанная в ателье фотографа, но в гостиной на улице Маре, разумеется, были аналогичная мебель и пальмы в похожих кадках. Мишель Шарль сильно состарился. Он неудобно сидит на краю стула, вытянув перед собой утратившие былую подвижность ноги, круг-

лая голова опушена седыми бакенбардами. Кажется, ему неловко на этом чинном снимке, заказанном как будто с одной только назидательной целью — опровергнуть слухи о разрыве с единственным сыном. Ноэми, держась очень прямо, сидит в кресле, затянутая в корсет черного платья с оборками, причесанная под принцессу Матильду. Но больше, чем кузину Наполеона III, она напоминает свою современницу с другого края света, вдовствующую императрицу Цыси *. В ней есть та же нерушимая прочность, та же одеревенелость идола. Сквозь полузакрытые веки она с подозрительностью смотрит перед собой, словно сквозь щель бойницы. Фотограф, рассаживая семейство, велел матери обнять за шею маленькую Мари, сидящую на ковре, скрестив ноги, и с детской непосредственностью показывающую длинные черные чулки и черные ботинки. Девочка повернула к отцу свое красивое личико послушного ребенка. Волосы ее завязаны бантом в маленький симпатичный хвостик. Мишель опирается на спинку сиденья отца. Худой, бледный, с отсутствующим взглядом, он блуждает мыслями где-то далеко. Кажется, он готов отправиться туда, куда глядят в ту минуту его растревоженные, печальные глаза, то есть в Англию.

Как только сеанс у фотографа закончен, группа распадается. Ноэми не отказывает себе в удовольствии предсказать сыну, что он кончит на эшафоте, об этом она твердит ему с раннего детства. Обидчивый молодой человек не возражает: можно многое выдержать, зная, что от-

пуск продлится всего несколько дней. Мишель Шарль доброжелателен и молчалив; что-то, чего он не может объяснить, дабы не шокировать окружающих, заставляет его думать, что место мыслящего человека не в армии: дезертирство сына в мирное время всегда казалось ему скорее необдуманным поступком, нежели преступлением, К тому же инцидент исчерпан.

* * *

Ночи Мишель проводил в Лондоне. Он почти каждый день писал Мод письма, усыпанные цитатами из английских поэтов, которых он читал с жадностью с тех пор, как их язык стал для него языком любви. Он отправлял письма в двойном конверте на адрес бакалейщика, у которого молодая женщина делала покупки. Эта предосторожность, которую посоветовала Мод, была, возможно, излишней: не было никаких доказательств, что Рольф перехватывал письма. Мод отвечала то краткими посланиями, из которых нечего было извлечь, то нежными и игривыми излияниями, полными намеков на их общую жизнь, крестиками и кружочками отмечая место поцелуя.

Наконец однажды Мишель не выдержал. Было решено, что Мод окончательно покинет Рольфа и соединится с любимым в условленный день в маленькой гостинице на Пиккадилли. (Дело происходит в марте 1878 года.) Во второй раз молодой унтер-офицер запирает в ящик тщательно сложенную форму, бросает прощальный взгляд на кира-

су, сверкающую на верху шкафа, одевается в штатское и незаметно покидает казарму. Он понимает, что тем самым рвет не только с армией, но и с родными во Франции, куда, если только не будет амнистии, он не сможет вернуться раньше, чем ему исполнится сорок пять лет.

После того как они обменялись первыми ласками, Мод сообщает ему приятную новость. Одна из ее подруг, занимающаяся коммерцией в Ливерпуле, уехала за небольшим наследством в Ирландию, где и думает обосноваться. Подруга оставила Мод на год управление своим делом. Им будет чем заняться до тех пор, пока Мишель не найдет чего-нибудь получше. Магазины, специализировавшийся на предметах туалета, косметике и духах, был расположен в серой улочке, неподалеку от театра. Клиентками были главным образом дамы легкого поведения и актрисы, приезжавшие на гастроли. Проверка имевшегося в наличии товара безумно развеселила Мод и Мишеля. Этикетки и проспекты обещали то вечную молодость, то округлые формы без излишеств, то тридцать шесть красот одалисок из сераля, губы без морщин и чистое дыхание. В достатке было и предметов интимного туалета. Мишель, который терпеть не может духи («Женщина, от которой хорошо пахнет, не пахнет ничем»), с трудом привыкает к ароматам макасарского масла и розовой воды. Он вскоре обнаруживает, что в лавке обмениваются адресами, а сводни и женщины, незаконно делающие аборты, посещают ее столь же часто, как и

коммивояжеры, торгующие духами. Тревожащий запах черноватой пасты настораживает Мишеля: Мод объясняет, что получила от владелицы строжайший наказ продавать опасное варево только тем, кто значится у нее в списке.

Кризис разражается в тот момент, когда одна из актрис, накачавшись джину, приходит за помадой для груди и, расстегнув корсаж, требует, чтобы м-р Мишель сам намазал ее увядшие прелести. Не считаясь с возражениями Мод, чувствующей себя более ловко, чем он, в этой подозрительной атмосфере, Мишель решает потихоньку скрыться.

Во время краткого пребывания в Ливерпуле молодой француз подолгу бродил по улицам и набережным. Я увидела их только после бомбардировок второй мировой войны и не могу судить о том, как выглядели они в 1878 году. Но тогда там заправляли крупные мореходные компании, процветала спекуляция в заморской торговле, царила атмосфера всеобщего возбуждения при отплытии кораблей и грусти — при их возвращении. Что-то от подростка, бродившего в порту Антверпена, возрождается в молодом изгнаннике, не признающемся в совершенной ошибке. Ему не надоедают мачты и трубы, проржавевшие и покрытые водорослями и ракушками корпуса судов, постоянный приток людей всех рас и цветов, порою в тюрбанах и босоногих (несомненно, один из них и снабжал лавку Мод черным конфитюром), скользящих в густой толпе местных жителей с красными, бледными или серыми лицами. Мишель на чет-

верть часа завязывает дружбу с людьми, которые уходят в море и, быть может, не вернуться. Поступить как они, оставить эту женщину... Он слушает, как австралийцы расхваливают Мельбурн, а янки — Нью-Йорк. Мельбурн далеко... О Нью-Йорке Мишель слышал, что там либо сразу подымаешь, либо тут же наживаешь состояние. Там все настолько уродливо, что у богатых американцев только одна страсть — Европа. Все же у Мишеля сохраняются смутные романтические представления, до него доходят обрывки зазывной информации: можно преподавать верховую езду наследникам набобов с Уолл-стрит, купить ранчо на таинственном Западе, который он с трудом нашел бы на карте, бродить из штата в штат в широкополой шляпе, выигрывая и теряя состояния в покер, выступая то здесь, то там поборником справедливости... При необходимости Мод всегда сможет устроиться на Манхэттене модисткой или горничной, а он, как многие другие, отправится собирать гуано в Южную Америку или займется контрабандой оружия в Мексике. Весьма характерно, что искатель приключений, сидящий пока на мели, берет билеты первого класса, а Мод покупает у старьевщика необходимые вечерние платья.

Путешествие было томительным. Легкомысленные туалеты Мод, ее красота привлекли внимание некоторых пассажиров, что вызвало недовольство Мишеля. Возможно, она надеялась, что он поведет себя по-другому. Отнюдь не выиграв состояние в покер, он в несколько приемов

проиграл часть тех небольших сумм, которые ему тайком посылал отец: в те времена слишком ловкие игроки были настоящей язвой трансатлантических рейсов. В Соединенных Штатах они увидели только Эллис-Айленд, ибо их сомнительное семейное положение не понравилось властям. В Англию они вернулись на нижней палубе.

Мод и Мишель весело отнеслись к своим злключениям. Увлечение Америкой прошло. Эта неудача казалась им фарсом, который они сыграли сами с собой. Мишель нашел место преподавателя в мужском колледже, котировавшемся несколько ниже, чем предыдущий. Директор, протестантский пастор, успех своего заведения строил на хорошем питании и хороших ежемесячных оценках. Круглые щеки и учебные лавры детей приводили родителей в восторг. У Мишеля и Мод вновь был коттедж, на сей раз увитый клематисом, но не такой удобный, как прежде, да и лошади были не столь горячи. Очарование английской деревни вновь преображает жизнь любовников. Мод, небрежно-красивая, возобновляет прогулки по лугам и лесам. У них появляется великолепный огненный сеттер, которого Мишель купил у крестьянина, совсем о нем не заботившегося. Ред (я сама придумала это банальное имя и много бы дала, чтобы узнать, как звали собаку на самом деле) сопровождает хозяина в его поездках верхом и спит у подножия кровати, которую привычка сделала для Мод и Мишеля супружеским ложем.

Но тоска и беспокойство, загнанные Мишелем внутрь, вырываются наружу, проявляясь в физическом недомогании. Он страдает бессонницей, у него бешеный пульс, он, так уверенно держащийся в седле, испытывает головокружение, стоя у окна второго этажа. Мишель отправляется в соседний городок проконсультироваться с врачом. Сей эскулап выступает за откровенность с больными во что бы то ни стало. Разумеется, она предпочтительнее лжи, но весьма досадно, если исповедующий ее доктор не является хорошим диагностом. Врач спрашивает о профессии Мишеля и, услышав ответ, хмурит брови.

— Надо отказаться от лошади. Где ваши родители?

Родители Мишеля во Франции.

— Немедленно предупредите их. Вы страдаете сердечной недостаточностью, которая в любой момент может оказаться для вас роковой. Отдых и постоянный уход — ваш единственный шанс продлить на несколько лет свою жизнь. И остерегайтесь сексуальных удовольствий, они могут ухудшить ваше состояние.

Расплатившись за вынесенный ему смертельный приговор, Мишель пешком преодолевает расстояние в две-три мили, отделяющее его от дома. Он ничего не скажет Мод о предсказаниях оракула. Он давно уже решил для себя, что феномен, называемый жизнью, похож на мгновенное вскипание при химической реакции. Быстро наступает момент, когда оно прекращается. Беспокоиться тут не о чем, и уж вовсе не стоит

тревожить отца. Приговор врача постепенно забылся, но порою, пытаясь объяснить безрассудную щедрость Мишеля, внезапный отказ от задуманного, стремление насладиться сегодняшним днем и пренебрежение к будущему, я спрашиваю себя, не усилила ли эти черты возможность внезапной смерти, так или иначе присутствовавшей в его сознании в течение почти пятидесяти лет.

Они находились в стадии, когда любовникам надо отдохнуть друг от друга. Мод часто проводила конец недели у тетки — персонажа не вполне ясного и призрачного, служившего ей алиби. Во время одного такого отсутствия Мишель, находивший некоторую приятность в маленькой пухленькой супруге директора, обменялся с нею не одними только приветствиями. Так же, как и Мод, жена пастора любила любовь. Чтобы насладиться обществом молодого француза без помех, она задумала спрятать его на сутки на чердаке своего дома. В воскресенье муж бывал занят проповедями и встречался с матерями учеников, занимавшихся благотворительностью. К тому же в этот день он обычно обедал у лорда Н. Служанку отпустили до понедельника. Очень рано, в тот час, когда ставни у всех еще были закрыты, влюбленная дама впустила Мишеля через черный ход. Хорошо спрятавшись под крышей, он слышит, как обманутый супруг спускается по лестнице и нежно прощается с неверной. Она запрещает Мишелю ходить по дому из опасения, как бы кто из

соседок не заметил в окне силуэт мужчины. Как в либертинских романах XVIII века, он, оказавшись в несколько унижительном положении, получает еду и утоляет свои скромные потребности благодаря пылкой, но осмотрительной любовнице. Пастор возвращается поздно и сразу же ложится спать, что позволяет англиканской Мессалине тут же соединиться со своим пленником, который, возможно, предпочел бы уснуть. Она потихоньку выпускает его на рассвете.

Но подобное распутство отдаляет их друг от друга. То ли из страха, то ли из пресыщения жена директора довольствуется тем, что приветствует издали преподавателя верховой езды, отвечающего ей в том же духе. Эта маленькая бесстыжая буржуазка (таково его несколько, возможно, поспешное суждение о ней) кажется ему менее достойной уважения и, в сущности, менее привлекательной, чем проститутка.

В тот вечер он ждет Мод на перроне вокзала, ощущая новый прилив нежности. Она спрыгивает с поезда, нагруженная свертками. Услужливый сосед подает ей в окно самые громоздкие коробки, улыбка Мод, обращенная к попутчику, раздражает Мишеля. Да, тетка здорова, они вместе сделали покупки к Рождеству — и недорого. В остальном, если остальное было, она не признается. Мод злится, что Мишель дает уроки юным особам по соседству, носящим аристократические имена и амазонки в обтяжку. В плохую погоду, когда с низкого неба льет как из ведра, миссис Мишель, улегшись на канапе, читает сентиментальные ро-

маны. Когда Мишель возвращается домой, беспокоясь прежде всего о том, чтобы высушить сапоги и переменить носки, его радостно встречает только Ред. Чашка чая приправлена горькими упреками: разве не ради него она бросила заботливого мужа с прекрасным заработком, который может стать начальником отдела или заместителем директора. В конце концов, хорошо можно жить только в Лондоне, она портит себе руки, хозяйничая за старой плитой в коттедже. Мишель вероломен как все французы, ради нее он бы и кончиком пальца не пожертвовал. Однажды он ловит ее на слове.

— Это вы так думаете, моя маленькая Мод.

Погрузившись в чтение романа, она не слышит, как он поднимается в их комнату, берет там что-то и выходит в приоткрытую дверь. Стоит мягкий серый день. Схватив валяющуюся веревку, он привязывает свою левую руку к спинке садового стула. На шум выстрела немедленно прибегает испуганная Мод. Средний палец левой руки висит, соединяясь только несколькими кусочками кожи с первой фалангой. Сквозь резное металлическое сиденье, как сквозь сито, сочится кровь. Она кое-как перевязывает ему руку. С повязкой через плечо он проходит пешком два лье до врачебного кабинета.

Он выходит оттуда после ампутации пальца, рука по-прежнему на перевязи, а культя надлежащим образом смазана йодом и забинтована. Врач принял версию о несчастном случае. Видя, что Мишель очень бледен, он настаивал на том, чтобы

раненый прилег на шезлонг в его кабинете. Но Мишелю не сидится. Он попросил разрешения унести странный подарок на память — отрезанный палец в носовом платке, ему кажется очень забавным в последний момент бросить им в маленькую служанку, открывающую ему дверь на улицу. Молодая особа падает в обморок. Мишель окликает возницу двуколки, едущей в его направлении, и взбирается на сиденье рядом с фермером. И вовремя, ибо он сам почувствовал себя дурно.

Подобный поступок стоит самых невероятных эпизодов романов Уиды. На какое-то время он оживил их любовь. Но глядя на зарубцевавшийся обрубок, Мишель порою думает, что если умереть за женщину — прекрасно, то пожертвовать ради нее двумя фалангами — глупо. Потом нежность берет верх. Маленький коттедж пропитан воспоминаниями о слишком частых ссорах. Они решают начать все заново в другом месте.

Мишель, теперь регулярно получающий субсидии от отца, предлагает Мод перебраться поближе к большому городу. Примерно за двадцать миль от их нынешнего местожительства они находят сдающийся внаем домик, расположенный неподалеку от пригородного вокзала, так что при желании можно добраться до Лондона за час. Приятно было расстаться с колледжем, приятно было перевозить в фермерской двуколке кое-какие вещи, которыми они обзавелись. До конца учебного года остается всего три недели, и Мишель в сопровождении Реда возвращается один, чтобы наблюдать

за конными упражнениями своих чересчур упитанных учеников. В последний момент Мишель принимает решение, давшееся ему нелегко: оставить Реда у соседа, симпатичного фермера. Он не представляет себе, что можно ограничить свободу прекрасного животного, привыкшего бегать по полям и лесам, стенами садика в пригороде. Но через два дня после возвращения в новый дом он слышит, как кто-то скребется и скулит у двери. Большой пес огненного цвета бросается хозяину на грудь, потом растягивается на полу, он слишком измучен, чтобы притронуться к миске с водой, и слабо бьет хвостом по полу. Ред, убежав от фермера, проделал — одному Богу известно как — двадцать миль. Мишель клянется больше никогда в жизни с ним не расставаться.

Новая жизнь оказывается приятной и не обманывает их ожиданий. Они часто ездят в Лондон: Мод бегаёт по магазинам, он покупает книги, ходит в театры и страстно увлекается Ирвингом и Эллен Терри *. Он нашел работу по утрам в соседнем манеже. Чтобы занять себя и увеличить их скудные доходы, Мод вновь берется на дому за прежнее ремесло модистки. Мишель, возвращаясь после долгих прогулок с Редом, бросает взгляд в гостиную и видит, как Мод обсуждает фасон с клиенткой. Вечером он с удовольствием смотрит, как ее красивые руки, которыми она гордится, мелькают среди лент и плетеной соломки. Но если не считать книг, а также отсутствия фортепьяно и арий из оперетт, их жизнь почти не отличается от той, что вели Рольф и Мод в Патни.

Тем временем в конверте, запечатанном семейной печатью, Мишель получает от отца письмо, сердечное и короткое, как и все его письма. Мишель Шарль чувствует себя неважно, ему всегда хотелось повидать Лондон, и он решился сделать это, пока у него есть еще желание и силы. Он останется на неделю, и ему бы хотелось, чтобы сын почти постоянно был рядом. Поскольку он не говорит по-английски, то надеется также, что Мишель встретит его на пристани в Дувре.

* * *

Едва корабль причалил к пристани, Мишель увидел, как с палубы первого класса спустился и пошел по мостику пожилой, высокий, слегка полноватый человек, в одной руке он держал вешалку, а в другой — аккуратно свернутый и перетянутый ремнем плед, из которого торчал зонтик. В поезде разговор завязался как ни в чем не бывало. Да, переезд из Кале в Дувр прошел удачно. Здоровьем Мишель Шарль не блещет: после тридцатилетней передышки он снова страдает язвой желудка, из-за влажного лилльского климата от зимы к зиме ревматизм мучает его все сильнее. Путешественник с удовольствием выпивает дымящуюся чашку чая, которую ему приносит проводник. На остановке в Кентербери он высывается из окна, пытаясь разглядеть собор. Тонном человека, возвращающегося к своим невинным причудам, он напоминает сыну, что в старые времена многие члены семьи носили имя

Томаса Бекета *, то ли из-за того, что этот прелат-мученик был очень популярен по всей средневековой Европе, то ли потому, что некогда тесные узы связывали некоторые фламандские фамилии с Англией. Чуть дальше Мишель Шарль любителю зелеными гирляндами хмельника, фестонами обрамляющего дорогу, как у подножия Мон-Нуар.

В Лондоне Мишель Шарль останавливается в прекрасной солидной гостинице, без кричащей роскоши, где прислуга вышколена как дома. Он снял для сына комнату рядом. Он заказывает в номер изысканный обед, где фигурируют английские блюда, которых ему хочется отведать. Стол накрывают перед камином, красные шторы плотно задернуты и смягчают шум лондонских улиц. Весь этот вечер будет одушевлен чувством, к которому редко обращается литература, но если оно существует, то является одним из самых сильных и полных — это взаимная любовь отца и сына.

Мишель Шарль незаметно вызывает Мишеля на откровенность. Молодому человеку уже давно не хватает собеседников. Хотя он в совершенстве владеет английским, есть мысли и чувства, которые можно выразить только на родном языке и в присутствии понимающего слушателя. В этот вечер все загнанное Мишелем вглубь поднимается на поверхность. Он даже рассказывает шутливым тоном, чтобы отец не подумал, что он принимает случившееся близко к сердцу, о своей трансатлантической эпопее. Но отрезанный палец объясняет несчастным случаем, за это время он сумел тщательно отработать все детали своей версии. Тем

не менее рассказ о происшедшем за семь лет ему самому кажется эфемерным, словно сон. Как только он начинает объяснять свои поступки, то перестает понимать их. О Мод ему сказать особенно нечего, быть может, потому, что, несмотря на долгую привычку, молодая женщина по-прежнему остается для него загадкой, а может, потому, что чувства, которые она ему внушает, трудно передать словами, или же потому, что, говоря о ней, он замечает, что, в сущности, больше не любит ее. Он протягивает отцу фотографию подруги, заметив, как это принято, что в жизни она лучше. Мишель Шарль, которого созерцание красоты делает серьезным, долго смотрит на карточку и, ни слова не говоря, возвращает ее сыну.

После обеда они закуривают сигары и отец, откашлявшись и прочистив горло, начинает:

— Ты сам видишь, что я не очень здоров... Я хотел бы, пока не поздно, увидеть, что ты прилично устроился и поселился неподалеку от меня... Я много размышлял над проблемой твоей женитьбы, которая, конечно, осложняется твоими отношениями с армией. Некоторые семьи это могло бы отпугнуть. Молодая особа, которую я имею в виду, происходит из хорошего и старинного рода в Артуа, сказать по правде, весьма небогатого. Переговоры с родителями идут своим чередом. Я видел ее однажды. Брюнетка, красива, и не просто красива, она с изюминкой. Ей двадцать три года. Верхом ездит как настоящая сорвиголова, вы сойдетесь по крайней мере в этом. К тому же, — добавляет он, обратившись к генеалогии, своему

коньку, — между ее семьей и нашей в XVIII веке уже был заключен союз.

Сдерживаясь, чтобы не сказать, что эта деталь его совершенно не интересует, Мишель замечает, что если не будет амнистии, он сможет вернуться во Францию не раньше, чем через пятнадцать лет.

— Разумеется, — говорит отец, склоняя голову. — Разумеется. Но не стоит преувеличивать трудности. Мон-Нуар в двух шагах от границы. Там все нас знают, таможенники тоже. Они закроют глаза на твои краткие визиты. Семья де Л. примерно в том же положении, их владения в Артуа находятся неподалеку от Турне. Мы устроимся так, чтобы найти вам дом на бельгийской территории.

Планы, кажущиеся отцу разумными, воскрешают в Мишеле прежнее отвращение к обеспеченному и приличному кругу, где все всегда улаживается. Именно от этого мира, непроницаемого для несчастья, он бежал сначала в армию, потом в Англию. Но рука Мишеля Шарля слегка дрожит, когда молодой человек протягивает ему стакан грога, который торжественно приносит официант. Отец вынимает из жилетного кармашка свернутую вчетверо папиросную бумажку, подносит ее к губам и высыпает в рот порошок, способствующий пищеварению.

— Разумеется, ты не можешь решиться на это сразу, — говорит он, помешивая ложкой горячий напиток. — Но у меня такое впечатление, что лучшая часть твоих приключений уже позади. Я не хотел бы, чтобы ты увязал в них и дальше... Тебе

все-таки уже тридцать... И я не могу терять время, пока не увижу собственными глазами твоего первого ребенка.

Мишелю хочется возразить, что женитьба тоже затягивает. Но что-то подсказывает ему, что и жизнь с Мод — это тупик. Кстати, Мишель Шарль не настаивает, он заговаривает о другом. Сын помогает отцу разложить вещи и удаляется в соседнюю комнату.

На следующий день речь идет только о достопримечательностях и красотах Лондона. Первая забота Мишеля Шарля — снять мерку у известного портного. Мишель провожает его на Бонд-стрит. Отец пользуется этим, чтобы обновить гардероб сына. Давняя мечта Мишеля Шарля — английский хронометр знаменитой марки. После долгих колебаний он выбирает самый дорогой: двойной плоский корпус открывается вначале на циферблате, в центре которого крохотная стрелка отсчитывает секунды; девиз «Tempus fugit irgerarabile»¹ нравится старому читателю Горация. Второй золотой диск, еще тоньше первого, сдвигающийся с помощью пружины, показывает всю сложную игру механизма, перемалывающего время. Старик долго смотрит на него, без сомнения, спрашивая себя, сколько дней, месяцев или лет эти зубчатые колесики будут вращаться для него. Покупка, сделанная с таким опозданием, есть, вероятно, своеобразный вызов или Божья милость.

¹ «Бежит невозвратное время» (*лат.*), неточная цитата из Горация (Георгики, книга III, стих 284).

В типично английской таверне, где Мишель Шарль захотел позавтракать, сын с улыбкой кладет на стол пятифунтовый билет — комиссионные, которые ему незаметно вручил ювелир, приняв его за гида, сопровождающего богатого иностранца. Щедрым жестом Мишель Шарль подвигает сыну нежданную прибыль. Надо также приобрести чемоданы хорошего качества, чтобы сложить туда новую одежду, купленную путешественником. Новая покупка и новые комиссионные. Когда Мишель Шарль выбирает в витрине магазина на Пикадилли черную вышитую шаль для Ноэми, знание уловок лондонских торговцев, которым Мишель обладает благодаря Рольфу, оказывается полезным. Мишелю известно, что товар, выставленный в витрине, бывает подчас лучшего качества, чем тот, вроде бы точно такой же, который предлагают покупателю в полутьме лавки. Он не уступает: именно выставленная в витрине шаль укроет туго затянутую в корсет грудь Ноэми.

Оставшиеся дни проходят в осмотре Лондона. Мишель боится, что посещение Тауэра будет утомительным для отца, но путешественник, интересующийся Анной Болейн и Томасом Мором *, не устает ни от винтовых лестниц, ни от парадных дворов. Они вместе любят цветниками в Хэмптон-Корте и в чайном заведении на берегу Темзы пробуют тонкие ломтики хлеба с маслом и огурцом. В Вестминстере Мишель Шарль в задумчивости останавливается перед каждым надгробьем, и сын поражается, насколько досконально отец знает любого Плантагенета

и любого Тюдора. В Британском музее старик с уважением рассматривает обломки Парфенона, но чаще всего останавливается перед греко-римскими древностями, напоминающими ему юношеские восторги, испытанные в Италии и в Лувре. В живописи, за исключением некоторых портретистов XVIII века, его пленяют только голландская и фламандская школы, и Мишель вспоминает, что когда-то посещал Амстердамский музей, держа отца за руку, и тот пытался объяснить сыну «Ночной дозор»*. Хотя оба и не меломаны, Мишель Шарль настаивает на вечере в Ковент-Гардене. Итальянцы дают «Норму»*.

При отъезде идет дождь. Мишель Шарль немного беспокоится за красивый новый чемодан. Мужчины обнимаются на перроне. Отец говорит, что по возвращении в Лилль напишет относительно проекта, о котором шла речь. Пусть Мишель пока ничего не решает, но подумает. А до той поры, быть может, ему нужны деньги?

Деньги Мишелю нужны, но из деликатности он отказывается. Мишель Шарль бормочет:

— Молодая особа... Если все устроится, как хотят твои родители... Может быть, какая-нибудь компенсация...

— Нет, — с некоторой холодностью произносит Мишель. — Не думаю, чтобы это было уместно.

Мишель Шарль чувствует, что, задев отсутствующую, ранил сына. Чтобы скрыть обиду, Мишель занимается багажом. Силуэт отца исчезает в толпе, затем появляется вновь у окна. В знак про-

щания он стучит пальцами по стеклу вагона-ресторана первого класса. Он стар и болен, об этом молодой человек до сих пор даже не думал.

В пригородном поезде, везущем его к Мод, Мишель замечает, что уже на все решился, даже не слишком размышляя о красивой брюнетке из хорошей старинной семьи. Но как приготовить Мод? Она из тех женщин, с которыми можно смеяться, плакать, заниматься любовью, но не объясняться. Приближаясь к дому, Мишель видит, что света в окнах нет. Один только Ред поджидает его в темном коридоре. Шкаф Мод открыт и пуст. К подушке приколото письмо. Она прекрасно понимает, что означает этот долгий визит отца Мишеля. Она возвращается к Рольфу, который только об этом и мечтает. У них было немало хорошего, но все должно иметь свой конец. Если Мишель вернется не сразу, домработница позаботится о собаке. По привычке она поставила кружочки на месте поцелуев под подписью.

Следующий день Мишель провел в платежах. Надо было заплатить за два месяца за дом, заплатить мяснику, зеленщику, торговцу рыбой, бакалейщику, прислуге. Поскольку Мод не вела никаких записей, проверить расходы невозможно. Оставшись без гроша, тем более что он велел лондонскому цветочнику отправить две дюжины роз в Патни, Мишель снимает в городе комнату, ожидая вестей от отца. Из экономии он питается жареной рыбой, завернутой в газетную бумагу и купленной в еврейских лавочках этого бедного квартала, или варит яйца на маленьком огоньке га-

за, освещающем комнату. Питание Реда стоит ему дороже собственного.

Письмо пришло с трехнедельным опозданием. Мишель Шарль, заболев по приезде в Лилль, не смог написать раньше. Он, несомненно, расплатился за усталость во время пребывания в Лондоне, которое было, по его словам, одним из самых приятных моментов в его жизни. Все готово для возвращения блудного сына. Пусть плывет на корабле до Остенде, оттуда его доставят в Ипр, и здесь верный человек поможет ему перейти границу. Мишель Шарль послал довольно крупную сумму для путешествия.

Мишель не смог устоять перед искушением и в последний вечер отправился побродить возле дома в Патни. Занавески были плотно задернуты. Рольф, выйдя в домашней куртке, чтобы отправить письмо, заметил молодого француза и сердечно заговорил с ним. Мишель объявил ему, что завтра уезжает из Англии. Невозмутимый Рольф предложил пойти поужинать втроем в таверну в Ричмонде, где бывали хорошие устрицы. Чувствуя, что следовало бы отказаться, Мишель соглашается. Рольф поднимается, чтобы переодеться, и оставляет его в гостинной, заставив пережить несколько ужасных минут. Наконец появляется Мод, одетая так, словно они собираются развлекаться. За ужином она говорила мало, Мишель тоже был не слишком разговорчив, но одного Рольфа хватало, чтобы было шумно и весело. Он сообщил, что с 1 января 1884 года, то есть примерно через три месяца, станет заместителем ди-

ректора, рассказывал забавные истории, приключившиеся на работе и рассмешившие его до слез, с комизмом намекнул даже на американское фиаско Мишеля и Мод. Мишель сжал кулаки, Мод не должна была рассказывать об этом. Но Рольф не настаивал: добрый взгляд его больших глаз дружески останавливался то на жене, то на Мишеле, то на сидящих за соседним столом, то на официанте в белом фартуке, то на розовощекой девице, собиравшей пожертвования для Salvation Army *. За столом Мод подняла вуалетку. Я представляю себе, как она, одетая в зеленое (любимый цвет англичанок), держит двумя пальцами у губ раскрытую устрицу, словно крошечную раковину.

Мишель смутно чувствует себя одураченным, Рольф дергал за нитки двух марионеток. Не было ли у него, случайно, любовницы? Быть может, он был рад на время избавиться от молодой жены? Может, он любит Мод почти отцовской любовью (он на пятнадцать лет ее старше)? Может, ему удался опасный опыт, состоящий в том, чтобы раз и навсегда выдать женщине полную дозу страсти и романтики, зная, что она из тех, кто в конце концов предпочтет дом в Патни и мужа — заместителя директора? Молодой человек вспоминает о почтовом переводе, полученном в Девоншире, и о визитах Мод к тетке в Лондон. Может быть, не друзья, уехавшие в Ирландию, а Рольф предложил ей управлять парфюмерным магазином в Ливерпуле? Мишель спускается глубже, к губельной бездне, представляющейся ему смутно, к бездне, опасной и смрадной, как сольфатара *. Что, если

Рольф, будучи в определенной степени импотентом, с самого начала решил предложить Мод безобидные развлечения в компании молодого иностранца? Что, если в глубине его души таились порок или мазохизм, свойственный его гонимой расе? Среди всех объяснений, которые, кстати, ничего не объясняют, Мишель не останавливается на самом необычном, но и самом простом: огромной и неисправимой доброте.

После вежливых препирательств по поводу счета, мужчины платят пополам, потом пьют за поездку Мишеля и повышение Рольфа по службе. Простятся они под фонарем.

Господин Мишель Мишель, снова став Мишелем де К. (впрочем, часто, когда у него появлялось желание, он вновь превращался просто в Мишеля Мишеля), последовал отцовским указаниям. Дважды или трижды он тайком посетил Мон-Нуар в течение осени 1883 года. Отправляясь из Ипра, Мишель пешком проделывал пятнадцать километров, и, смотря по обстоятельствам, таможенники то приветствовали его, то делали вид, что не замечают. Но игра была рискованной: если бы его узнали и арестовали, дезертиру грозили бы два года заключения в крепости. Поэтому из предосторожности Мишель Шарль время от времени закладывает коляску и едет в Ипр или Куртре повидаться с сыном. Только однажды из лихачества молодой человек пробирается в Лилль, скучный родной город, обретающий очарование запретного плода. Незадолго до Нового года Мишель Шарль, на сей

раз в сопровождении Ноэми, встречается с сыном в Турне в гостинице «Белая роза», где также останавливаются, приехав из Франции, барон Лоис де Л., его жена Мари Атенаис и та из их дочерей, что собирается выйти замуж за Мишеля. Эта официальная встреча скрепляет помолвку. Мари Атенаис, энергичная теща, сама родом из Турне, куда ее предки эмигрировали во время Революции, быстро находит в городе друга или родственника, который соглашается сдать молодой чете свой особняк на то время, пока Мишель не получит официального разрешения вернуться во Францию. Мишель Шарль обставляет дом хорошей старой мебелью, которую Ноэми держала на чердаке. Мишель женился на Берте де Л. в Турне в апреле 1884 года.

Перед этим произошла драма, запечатлевшаяся в его памяти сильнее, чем свадебная церемония, о которой, кажется, ему нечего сказать. Однажды в мартовский вечер он в последний раз перед свадьбой отправляется на Мон-Нуар с обычными предосторожностями. В тот год Мишель Шарль рано перебирается в деревню, возможно, чтобы быть ближе к сыну. Как всегда, Мишель идет пешком. Тонкий слой позднего снега лежит в голых лесах и серых полях. Ред, как обычно, сопровождает хозяина, он прыгает на дороге, ползает в зарослях кустарника, вдруг исчезая из глаз, а потом возвращается со скоростью метеора, желая убедиться, что хозяин на месте. На границе немало контрабандистов подвешивали на шею собакам пакеты с запрещенными товарами. Выдрессиро-

ванные животные сами сновали туда-обратно. В тот вечер таможенник, увидев, что на бледном фоне снега вырисовался силуэт одинокой, как ему показалось, собаки, выстрелил: звук выстрела и жалобное повизгивание заставили Мишеля добежать до ближайшего поворота. У смертельно раненного Реда едва хватило сил, чтобы лизнуть ему руку. Молодой хозяин собаки бросился на землю и зарыдал. Он поднял труп и на руках донес его до Мон-Нуар, где с почестями похоронил под деревом. Быстрая легкая собака была тяжела как камень. Пес был самым дорогим из всего, что Мишель вывез из Англии, Ред был для него не просто напоминанием о Мод: это был друг, перед которым у Мишеля были обязательства, особенно после того дня, когда тот искал хозяина до полного изнеможения сил и наконец нашел. Ред стал также жертвой преступления, которое мы все совершаем, — невинное существо верило нам, а мы не сумели защитить его и спасти. Если бы Мишель был суеверен, то это несчастье послужило бы для него предзнаменованием.

* * *

Пожелания моего деда исполнились в точности. Через год после свадьбы у молодой четы родился единственный ребенок, названный Мишель Фернан Мари Жозеф, для краткости будем именовать его Мишель Жозеф. Я не собираюсь часто вспоминать о сводном брате, который был старше меня на восемнадцать лет, но рассказ мой был бы

неполным, если бы я исключила его из повествования совсем. Кажется, немножко рановато пытаться охарактеризовать младенца, который пока пищит на руках у няни. Однако напрашивается одна цитата, я позаимствую ее у самого Мишеля Жозефа. В первых строчках коротких мемуаров, о которых я упоминала и которые он написал шестьдесят лет спустя, есть фраза, где брат говорит о своем рождении, — равной ей не найдется, пожалуй, ни в одной другой автобиографии: «Я родился в Турне, в частном особняке, мебелировка которого, согласно документу, сохранившемся в архивах, повлекла за собой расходы в двадцать шесть тысяч франков».

Я писала, что нежность в отношениях между Мишелем Шарлем и его сыном сохранилась, несмотря на проступки последнего. В следующем поколении все сложилось иначе. Не последнюю роль при этом сыграло воспитание. Ребенок, которого родители не могли возить за собой с курорта на курорт, с одного конного состязания на другое, вырос, будучи вверен то ласковым, но беспорядочным заботам бабушки, Мари Атенаис, в семейном поместье в Феесе (название я изменяю), то на Мон-Нуар, где угрюмый мальчик сходится с неуживчивой Ноэми, другой своей бабкой. Зимой он находится на попечении старого ворчуна-офицера и его жены, маленькой дамы, рисующей на фарфоре и выдающей свою продукцию за старые лилльские изделия. Последовавшие за этим неприятности, несомненно, травмировали юного пансионера супружеской четы. Позже Мари

де П., набожная сестра Мишеля, отчаявшись сладить с упрямым брюзгливым подростком, попросит брата забрать у нее племянника. Мы увидим, как он с невероятной быстротой переходит из заведения религиозного в светское, от иезуитов с улицы Вожирар в лицей в Дуэ, а оттуда в пансион для мальчиков из хороших семей на Ривьере. При этом школы отличались друг от друга лишь более или менее дурной пищей и более или менее грязными туалетами. По-прежнему расточительный, Мишель, вспоминая о сыне, а происходит это редко, осыпает его подарками, от первых оловянных солдатиков до первого мотоциклета и первой гоночной машины. Он отправляет подростка в долгие путешествия в сопровождении какого-нибудь товарища, служащего ему охраной. Я говорила уже, что иногда он приглашает сына на каникулы или попросту против всяких правил забирает его из коллежа, чтобы мальчик провел какое-то время с ним и его второй женой или одной из любовниц. Подобные вылазки часто кончались плохо.

Результатом всего этого явилась враждебность между отцом и сыном, продолжавшаяся всю жизнь. Когда подошло время, в 1906 году, сын выбрал местом жительства Бельгию, родившись в Турне, он мог это сделать. Мишель рассердился, не подумав, что его собственный статус дезертира, из-за которого родиной Мишеля Жозефа была не Франция, позволил сделать подобный выбор. Как и многие другие в его положении, юноша думал только о том, как бы избежать трех лет службы во французской армии, что не должно было

шокировать отца, который никогда не был шовинистом. Но логика не по части натур страстных: Мишель смутно чувствует, что, сменив страну, его сын отказывается тем самым от Монтеня, Расина, пастелей де Ла Тура * и «Легенды веков» *. И он в чем-то прав. Реакцию сына можно было предвидеть: он все делает не так, как отец. У Мишеля от трех жен и доброго числа любовниц было всего двое детей; Мишель Жозеф станет отцом многочисленного семейства. Сын большого книгочеха, он будет похвально своей невежественностью. Несмотря на сильную склонность к некоторым сторонам религиозной жизни, Мишель проживет всю жизнь и умрет свободным от всякой веры, Мишель Жозеф не пропустит ни одной одиннадцатичасовой мессы. Мишель — патриций, которому наплевать на предков, он не знает даже имени прадеда по отцовской линии, Мишель Жозеф увлечется генеалогией. Отец относился к сыну безразлично и легко, сын будет суров со своими отпрысками. В кратких воспоминаниях Мишель Жозеф старается как можно меньше говорить об отце, которому он противоречит во всем. Берта, которую он называет «моя дорогая мама», упоминается всего однажды, когда речь заходит о ее смерти, и Мишель как раз упрекал юношу за то, что тот не оплакал мать.

Но более всего отца и сына разделяет их отношение к Золотому Тельцу. Мишель любит деньги только потому, что их можно тратить. Мишель Жозеф дорожит ими, потому что знает: все, что для него имеет цену, — положение в обществе,

возможность удачного брака, светские успехи — все рушится без счета в банке. В детстве я постоянно слышала, как двое мужчин обменивались, словно ударами, упреками, полными ненависти: «Ты продал земли, принадлежавшие семье в течение нескольких поколений — Креанкур, Дранутр, Мон-Нуар... — Поговорим-ка о землях предков... Ты даже не являешься больше гражданином той страны, где они находятся...» Однажды я увидела, как эти споры, довольно нелепые там, где границы подвижны, закончились дракой. Из сегодняшнего дня мне трудно судить, была ли ненависть сына к отцу (вскормленная, возможно, обманутой любовью) связана с тем, что Мишель отверг все то, во что хотел верить его сын, или же попросту будущий наследник не мог простить царствующему монарху, что тот промотал целое состояние. Для тех, кто считает право наследования своеобразной инвеститурой, оба эти объяснения сводятся в сущности к одному и тому же.

Я прекрасно понимаю, что можно было бы нарисовать агиографический портрет моего сводного брата, где он предстанет как эконо́м, наследовавший транжире. Женившись и обосновавшись в Бельгии в 1911 году, Мишель Жозеф поселился в деловом и светском Брюсселе, где страсть к приобретательству и снобизм в отношении имен и титулов свирепствуют самым небывалым образом. Но будем осторожны: к страсти к деньгам мы относимся уважительно, а то и восторженно, когда речь идет об Амстердаме золотого века. Геральдическая сентиментальность и

маленькие дворянские кружки кажутся нам очаровательными при старомодных дворах в Германии XVIII века. Человек почти всегда добивается того, чего хочет, если хочет этого настойчиво в течение сорока лет. Мой сводный брат сумел войти в мир, для него наполовину новый, где он стремился занять место. Он устроил своим детям прекрасные солидные партии. После почти двадцатипятилетнего молчания с обеих сторон я вдруг получила от него в 1957 году извещение, что ему удалось добиться или подтвердить для себя и своего потомства право на титул шевалье, от которого его лилльский дед отказался как от вышедшего во Франции из моды. Я едва не рассмеялась, но сегодня замечаю, что для гражданина маленького государства, еще имеющего двор и живую активную знать, даже если эта активность поверхностна, не более абсурдно радоваться тому, что его провозгласили шевалье, чем для француза выпить шампанского по случаю получения ордена Почетного легиона.

Я пытаюсь одним взмахом кисти нарисовать этот персонаж, в контексте книги второстепенный, но тем не менее сыгравший в моей жизни свою роль. Когда я была ребенком, меня пугала его манера входить неожиданно: у этого красивого молодого человека была странная способность беззвучно проникать в комнату скользящей, слегка танцующей походкой, которую позже я заметила у профессионалов фламенко и которая заставляла поверить, что цыганская кровь, унаследованная им по материнской линии, — не просто

семейная легенда. Но юноша, охотно изображавший из себя хулигана, очень рано ухватится за правила приличия, как за спасательный круг. Его раздражало, что сводная сестра, повинная уже в самом факте своего существования, была более мечтательной, более серьезной, более спокойной, чем в его представлении должна была быть маленькая девочка, и это раздражало его тем сильнее, что ребенок с большим смеющимся ртом, каким я была, не смеялся в его присутствии. Я вспоминаю, как однажды днем на берегу моря я сидела на вершине дюны, погружившись в созерцание волн, они то вздымались, то опадали, набегая на берег сплошной длинной непрерывной полосой. Фраза, которую вы читаете, написана мною, конечно, сегодня, но неясные ощущения маленькой семилетней девочки были теми же или даже более сильными, чем у постаревшей женщины, хотя я не умела их выразить. Мой сводный брат подошел по обыкновению бесшумно и стал мрачно выговаривать мне: «Что ты здесь делаешь? Ребенок должен играть, а не мечтать. Где твоя кукла? Маленькая девочка никогда не должна расставаться с куклой». С пренебрежительным безразличием ребенка я зачислила в разряд дураков этого взрослого, который изрекал то, что мне уже казалось избитыми штампами. На самом же деле у него, как и у всех, были свои странности и свои бездны.

Малейшее ласковое слово или любезность по его адресу, цветок, оставленный ему, когда, больной гриппом, он не выходил из своей ком-

наты, трогали его до слез. Мне потребовалось много времени, чтобы понять, что эта форма нервной возбудимости часто свойственна бедным натурам, которые ничего не дают взамен и удивляются щедрости других. Вместе с тем я видела, как он может быть невероятно жестким с дорогими ему, казалось бы, существами. Он верил в «дурных мертвецов» и боялся их, воображая, что таковые были и среди его родных. Эти представления, странные для человека, считавшего, что он не одарен воображением, Мишель Жозеф унаследовал, вероятно, от бабки, Мари Атенаис, которая, как говорят, время от времени встречалась с привидениями. Как и многие ученики святых отцов, он был склонен к экивокам, которые нельзя назвать совершенной ложью: на вопрос Ноэми, заранее уверенной, что на «Де-Дион-Бутоне» * нельзя взобраться на вершину Мон-де-Ка, он отвечает, что поднялся туда на транспорте. Он имел в виду тележку, на которой перевозят сено, она подобрала его после поломки у подножия холма. Впоследствии он кичился тем, что платит по счетам в самый последний момент, чтобы не лишаться процентов с соответствующих сумм. Мысль о том, что эти задержки могут стеснять поставщиков, даже не приходят в голову. Вместе с тем он как порядочный человек почти по-рыцарски защитил права одной внебрачной дочери, которую держал в нужде родственник. При том Мишель Жозеф рассчитывал на его наследство, и тот, конечно, оставил брата ни с чем. Я с сожалением должна

сказать, что по этому случаю Мишель издевался над ним. Мы все сделаны из кусочков, как говаривал Монтень.

Между двенадцатью и двадцатью пятью годами я потеряла сводного брата из виду. В январе 1929 года из Лозанны я написала ему, чтобы позвать к изголовью умирающего отца. Я поступила так напрасно: Мишель просил меня ничего не делать. Но за два года до смерти этот уже больной человек женился на англичанке, настолько сентиментальной и соблюдавшей условности, как это может быть только в среде британской буржуазии, однако ухаживала она за ним самоотверженно. Она считала совершенно естественным, так оно и было, чтобы пасынка предупредили. Мишель Жозеф ответил, что занят строительством дома в пригороде Брюсселя, что у него нет денег на дорогу, к тому же в эту суровую зиму, в день, когда разразилась снежная буря, у его жены сделался нервный припадок при мысли, что придется ехать в Швейцарию. На самом деле защитник добрых семейных традиций боялся, что ему придется участвовать в расходах, связанных с долгой болезнью и похоронами человека, умершего в бедности и нанесшего ему ущерб.

Мне следовало бы на этом и остановиться. Но мачеха, англичанка, находившая Диккенса заурядным и мечтавшая о хороших семьях из романов Голсуорси, верила в примирение между ближними. Как и большинство небогатых англичан в те времена, она провела немало лет в семейных пан-

сионах на континенте, в частности в Бельгии. Небольшое дело, доставшееся ей в наследство в Лондоне, позволило удовлетворить ее кое-какие прихоти: она уже видела, как вернется в старые места, увенчанная титулом виконтессы. Ни мой отец, который в конце концов, как я уже говорила, позволил поставщикам именовать себя графом, ни я, подходившая к этому делу с большой точностью, так и не смогли убедить ее, что владелец земель, некогда принадлежавших виконту, не обязательно виконт, и я полагаю, что важность этого факта ускользала даже от Мишеля. С другой стороны, наследство моей матери, состоявшее из земельных владений в Эно, которое Мишель доверил каким-то непонятным управляющим, требовало забот. В течение примерно полутора лет, до тех пор пока Кристина де К., разочаровавшись в Брюсселе, не поселилась в Швейцарии, где прошли два последних года жизни ее мужа, мне неоднократно приходилось бывать в Бельгии. Я довольно часто обедала во вновь отстроенном доме моего сводного брата, сверху донизу заполненного мебелью и портретами байёльского и лильского семейств, которые Мишель, не зная, куда пристроить после продажи дома на Мон-Нуар, оставил на попечение сына в каком-то сарае. Что касается раздела имущества после смерти отца, то Мишель Жозеф придерживался простого права первородства. Скажем справедливости ради, что он продолжал думать, что Мишель перед смертью был не так уж разорен и сумел каким-то таинственным способом увеличить долю дочери.

Меня же все эти сундуки и предки в париках не интересовали.

Много говорится о том, что общество в не столь далекие от нас времена, а то и в нашу эпоху, несмотря на видимость, сознательно держит молодежь в сексуальном невежестве. Но недостаточно говорится о невероятном финансовом и правовом невежестве, в которое мы все погружены. В сферах знаний, от которых зависит наша независимость, а порою и наша жизнь, самый проницательный и образованный из нас чаще всего совершенно безграмотен. Я знала достаточно, чтобы понять, что в этой области мне одной не справиться. Поскольку жизнь моя была связана с Парижем, где только что вышла моя первая книга, я всегда покидала его с сожалением, отправляясь в Брюссель, казавшийся мне тогда столицей тупости. Я пришла к выводу, что сводный брат, живущий там и занимающийся недвижимостью, сумеет лучше меня продать принадлежащие мне земли и выгодно поместить вырученные деньги. Ни один мудрец еще не научил меня, что в подобных случаях никогда нельзя обращаться к родственникам, тем более если между вами и ими существуют трения: даже самый щепетильный человек не сможет, пусть и действуя бессознательно, избежать по отношению к вам враждебности или беззащитности. Кстати, я сомневаюсь, чтобы в моем случае были замешаны подобного рода мотивы: достаточно было безразличия. Я присутствовала при разговоре моего распорядителя с покупателем: умело торгующийся крестьянин по всем

статьям брал верх над горожанином-посредником, не знающим местности. Я должна была бы вмешаться, но знала, что на это не способна. Возможно, свою роль сыграла определенная неловкость при мысли, что я пытаюсь извлечь прибыль из угодий, уже приносивших мне и матери ренту, хотя мы ни разу не дали себе труда пройтись по этим полям или под этими деревьями. Половина денег, вырученных от постепенной продажи ферм, была вложена в дело по торговле недвижимостью, которое возглавлял мой брат, вторая половина (Мишель Жозеф даже не подумал о других вложениях, чтобы уменьшить риск) была отдана под залог владельцам гостиницы, которые собирались расширить и обновить ее. Этих людей звали супруги Ромбо, имя их пришло мне в голову тридцать пять лет спустя, когда мне надо было окрестить семейную пару из Брюгге в «Философском камне»: по вору и шапка.

От ветра американского кризиса уже начали дрожать европейские карточные домики. Банк, финансировавший операции с недвижимостью, потерпел крах, и так как дело было с ограниченной ответственностью (тогда я не знала, что значит это слово), я потеряла больше, чем вложила. Гостиница тоже, по крайней мере выражаясь языком метафорическим, рухнула: она была уже перезаложена и, как говорили, выручить деньги было невозможно. Я сделала то, что должна была сделать двумя годами раньше: позвала на помощь старого юриста-француза, который прежде уже вытаскивал Мишеля из

различных передраг. С помощью одного из своих бельгийских коллег он сумел вернуть примерно половину денег, данных в займы владельцам убыточной гостиницы. Я решила, что этой суммы, если пользоваться ею с осторожностью, мне хватит на десять — двенадцать лет свободной и обеспеченной жизни. А там будет видно. Я не замечала, что в изменившейся обстановке делала столь же рискованные расчеты, что и мои дяди с материнской стороны в 1900 году. Решение, с которым я себя поздравляю, позволило мне с весьма скудным запасом прочности протянуть до сентября 1939 года. Живя же на проценты с капитала, помещенного в Бельгии и находящегося в ведении брата, я бы оказалась связанной с семьей, с которой у меня не было ничего общего, и со страной, где родилась я и моя мать, но в нынешнем своем виде Бельгия была для меня абсолютно чужой. Крах вернул мне свободу.

Но если я довольно легко перенесла эту потерю — больше по неопытности, чем из великодушия, — то, как мне о ней объявили, меня шокировало. Мишель Жозеф всегда любил посылать наглые почтовые открытки: на обороте вида Большой площади он попросту уведомил меня, что все, что уцелело от материнского наследства, потрачено: если верить ему, мне оставалось только продавать яблоки на перекрестках (что верно, то верно, существуют и более дурацкие занятия). Я не поняла, в чем соль этой шутки, вдохновленной легендарными рассказами о плачевном состоянии на Уолл-стрит, заполнившими газеты, которых я

не читала. Тон послания показался мне неуместным со стороны человека, который сам предложил мне управлять состоянием, столь легко потерянным. Открытка осталась без ответа. Я больше не встречалась с Мишелем Жозефом, и всякое общение между нами прекратилось, если не считать геральдического извещения, полученного мною четверть века спустя и упомянутого выше.

Незадолго до этой маленькой катастрофы я увиделась с ним, не зная, что это наша последняя встреча. Во время визита в Брюссель к маме я заехала к нему, чтобы подписать кое-какие бумаги. Он отвез меня с чемоданом на Южный вокзал, я возвращалась в Париж, а оттуда в Вену. Был жаркий и влажный летний вечер, с проливными грозowymi дождями. Улицы Брюсселя, как всегда, напоминали стройку: там что-то ломали, сносили, перестраивали. Из-за объездов по грязи и заграждений мы опаздывали. На вокзал мы приехали тогда, когда мой поезд был уже далеко, следующий отправлялся только через час. Сидя рядом, ожидая передышки в бушующем ливне, чтобы выйти из машины, запертые в коробке из металла и стекла, по которой потоками стекала вода, мы разговаривали, словно двое незнакомцев в каком-нибудь баре. Он завидовал моей свободе, кстати, преувеличивая ее. Жизнь быстро создает новые связи взамен тех, от которых мы, казалось, избавились. Что бы мы ни делали, куда бы ни шли, вокруг нас нашими заботами воздвигаются стены —

сначала приют, потом тюрьма. Но и для меня в ту пору эти истины не были ясны. Человек, пожелавший стать противоположностью своего отца, чувствовал, что у него вдруг не оказалось больше выбора. «Что ты хочешь? Мы сами создаем себе окружение, нельзя же передуть их всех». Мы согласились, что подобные методы годились бы разве что для султана Мурада*. Но я впервые почувствовала в этом человеке инстинктивное стремление к свободе, не столь уж отличное от моего, подобно тому, как его страсть к генеалогии уравнивала мой интерес к истории. Мы были похожи не только формой надбровных дуг и цветом глаз.

* * *

Вернемся в настоящее, то есть в 1886 год, навестим еще раз Мишеля Шарля. Мой дед провел на Мон-Нуар осень 1885 года, свою последнюю осень. Кончилось время долгих прогулок. Он развлекается тем, что переписывает в тетрадь в красивом переплете собственные письма из Италии сорокалетней давности, оригиналы их он разорвал, вероятно кое-что подправив и приукрасив. Он составил также краткое описание своей жизни, предназначенное детям, где торжествует умеренная откровенность. События там описаны человеком доброжелательным, решившим все видеть в розовом свете. Он хвалит Ноэми за ум и даже за обходительность и светскость. Его дочь Мари, заменившая сестру, умершую теперь почти

уже двадцать лет назад, стала, как он и надеялся, утешением его старости, добрым ангелом. Он не сомневается, что дебют девушки этой зимой в лилльском свете будет отмечен самым большим успехом. Фотография Мари, сделанная в том же году, подтверждает правоту очарованного отца: хорошенькая девушка в атласном платье, серьезная, с искорками веселья в светлых глазах, обворожительна. Что касается ее брата Мишеля, то это, как уверяет отец, «горячая голова и золотое сердце». Ничего не сказано ни о двух дезертирствах и семи годах, проведенных в Англии, ни о печали, которую при этом должен был испытывать отец экспатрианта, но союз с Бертой упомянут. «Он обожал ее, и она платила ему тем же. Они подарили нам толстого мальчугана». Мишель Шарль, разумеется, был лишен радости часто видеть столь желанного новорожденного: Турне был слишком далеко от больного, а запрет по-прежнему тяготел над визитами Мишеля во Францию. Действительно ли дед верил, что молодая пара переживает медовый месяц, который продлится всю жизнь? Возможно: в этом рассудительном человеке было немало наивного. Неизвестно, знал ли он уже о приговоре медиков: язва, старая болезнь, к которой он привык, сменилась раком желудка, в то время неоперабельным, — дни его были сочтены. Но есть приговоры безмолвные, которые наше тело выносит самому себе, и что-то фиксирует их в нас. Мне представляется, что, покидая Мон-Нуар, чьи леса так красивы в эти времена — разорение их началось в годы войны, а в наши дни было

продолжено строительными компаниями, — Мишель Шарль бросил на деревья взгляд человека, вложившего в эти зеленые создания частицу своего бессмертия. Я сомневаюсь, чтобы подобная мысль посетила деда сознательно, в еще меньшей степени он мог бы ее выразить. Между тем в таком виде она витает из века в век, из тысячелетия в тысячелетие в сознании всех тех, кто любит землю и деревья.

В Лилле Мишель Шарль устраивается в своей комнате, больше он оттуда не выйдет. Окна затянуты белым гипюром, который приходится стирать каждую неделю, лилльская копоть не щадит и богатые особняки. Прислуга старается понапрасну: выпавшая с неба грязь — побочный продукт заводов и близлежащих шахт — въедается в позолоченные рамы, замутняет зеркала, делает липким черный мрамор камина. Я могла бы, как и в случае с другим моим дедом, спросить себя, о чем он думает: ласкает ли мысленно гладкий кусок античного мрамора, найденный в окрестностях Рима, или смуглую грудь красавицы крестьянки, сговорчивой с синьором иностранцем, — розовый кончик дрожит и выпрямляется, подвижностью плоти контрастируя с неподвижностью мрамора. Вспоминает ли еще о роковом майском вечере, о друзьях и гризетках, сопровождавших их в поездке в Версаль? Может быть, он ни о чем не думает, прислушиваясь только к неясным ощущениям, исходящим из желудка, где угнездилась смерть. К тому же его усталое тело — добыча ревматизма.

Он один занимает большую супружескую спальню, которую Ноэми оставила, устроившись в соседней комнате, отчасти чтобы не тревожить больного, отчасти потому, что в соседстве разлагающегося тела нет ничего приятного. В красивой комнате пахнет конюшней. Мишель Шарль внял уверениям своего кучера, что лошадиная моча — лучшее средство от ревматизма. Он велел поставить под кровать большой таз, полный пахнувшей аммиаком жидкости, и время от времени, почти тайком, окунает туда больную и неподвижную правую руку.

В эти дни у Ноэми полно хлопот. Надо посылать то к аптекарю, то к травнику, вызывать врача, если больной вдруг почувствует себя хуже, надо зайти к нотариусу, старому другу, или незаметно пригласить его в гостиную, чтобы увериться, что все в порядке, надо так же незаметно принять портниху в предвидении траура для себя и всех домашних. Но главная ее забота — надзор за монахинями, исполняющими обязанности сиделок. Нельзя позволять им проводить время у изголовья больного за перебиранием четок или чтением молитвенника и передоверять заботы о Мишеле Шарле горничным, которые и так сбились с ног. (У этих крестьянок в чепцах несносная привычка заставлять челядь обслуживать себя.) В других случаях Ноэми, напротив, беспокоит сговор между монастырем и буфетной. Под предлогом, что надо отнести или принести поднос, монахиня, случается, прошмыгивает на кухню и набивает лакомствами сумку, куда специально кладет очки,

вязание и молитвенник. Ноэми уверяет, что ей не раз удавалось выследить подобный маневр. Накрахмаленные чепцы и металлические нагрудные кресты ничуть не уменьшают ее недоверия к персоналу, а в настоящий момент монахини — персонал. За всеми заботами она забывает покрасить волосы или, используя ее выражение, сполоснуть их крепким кофейным отваром, как она это делает каждую неделю.

Мари, прирожденная сиделка, привносит в комнату больного немного веселья и бодрости своих восемнадцати лет. Она как никто другой умеет взбить подушку или убедить больного выпить глоток молока. Перед смертью отца Мишель рискнул приехать в Лилль: существует молчаливый уговор, что власти закроют глаза на это нарушение закона, никто не станет арестовывать дезертира у смертного ложа отца, пользующегося таким уважением. В последний день Мишель Шарль с трудом снимает с опухших пальцев перстень с печаткой, выгравированной на камне, доставшийся ему от Мишеля Донасьена, и красивую античную камею с изображением постаревшего Августа и вручает их сыну. Движением головы он указывает также на драгоценный хронометр, купленный в Англии. *Tempus irreparabile.*

На следующий день после смерти отца Мишель слышит, как рано утром кто-то звонит в дверь. Склонившись над балюстрадой второго этажа, наполовину скрытый шторой, он наблюдает. Возможно, это служащий похоронного бю-

ро, явившийся снять мерки. Нет, это дама из лилльского бомонда, живущая на той же улице и явившаяся спозаранку с соболезнованиями. Ноэми проходит через вестибюль, чтобы встретить ее.

— Но, бедная моя Ноэми, ты совсем поседела!

— Это горе, милая Аделина, это горе.

Мишель уехал, не дождавшись похорон. По легенде, рассказанной моим сводным братом, который, возможно, выдумал всю историю от начала до конца, Мишель Шарль завещал держать в одной из больниц Лилля кровать для больного бедняка, при условии, что в случае необходимости его сына примут туда и будут лечить до самого конца. Завещание, составленное в подобных выражениях, уместно скорее в XVIII, нежели в XIX веке. Как бы там ни было, Мишелю не пришлось воспользоваться своими правами: ему было назначено умереть в шикарной швейцарской клинике. Однако совершенно ясно, что часть наследства, оставленная блудному сыну, находилась под опекой семейного совета под председательством Ноэми и ее нотариусов. Извинением для подобной меры послужил тот факт, что Мишель еще долго не сможет вернуться на родину и, следовательно, управлять своим состоянием. Эта трудность была преодолена быстрее, чем ожидалось: в 1889 году неожиданная амнистия позволила ему официально вернуться во Францию. Но его не привлекали ни Лилль, ни Мон-Нуар, где царил Ноэми. С другой стороны, Турне был дырой, где

он поселился лишь для того, чтобы сделать приятное человеку, которого не было больше в живых. Одного сезона было достаточно, чтобы исчерпать все очарование его общества, замков и красивых особняков. Денег, которые Ноэми каждые три месяца отправляет сыну, сопровождая их язвительными письмами, молодой паре хватает, чтобы предаться страсти к перемене мест. В течение тринадцати лет, отделяющих кончину отца от смерти Берты, Мишель волей-неволей переживает период приключений.

* * *

Берта происходила из старинной семьи, корнями уходящей в легендарную древность, как говорил Мишель Шарль. Барон Лоис де Л. гордился своими дворянскими грамотами; когда было необходимо, а случалось это часто, он находил в них утешение. Нельзя было без улыбки слушать, как он рассказывал, что происходит по женской линии от Карла Великого, то есть от Большоной Берты *. Подобные улыбки бывают порою вызваны преувеличенным уважением к великим историческим фигурам: нам трудно себе представить, что потомки потомков этих личностей могут быть самыми заурядными людьми, вроде беседующего с нами господина. Правнучка первого Карла, названного великим, Юдифь Французская *, вышедшая замуж за графа Фландрского и похороненная в Сент-Омере, оставила капли своей крови в неизвестных семьях феодалов, у одних, как у барона

Лоиса, сохранились архивные документы, другие со временем слились с безымянным крестьянством. Так же обстояло дело и с Этельрудой, дочерью Альфреда, короля Уэссекса, тоже вышедшей замуж за графа Фландрского, но другого, современника нормандских завоеваний, от них-то барон Лоис и происходил в двадцать седьмом колене. Факт этот свидетельствует прежде всего о древности связей между Фландрией и Англией.

Человек, одаренный воображением, а у барона в нем не было недостатка, чувствует несомненное удовольствие от того, что через него проходит, таким образом, ось истории. Юдифь и Этельруда поддерживали его в тяжелые моменты. В частые минуты гнева Мишель упрекал тестя за то, что тот не восходит к своим предкам, а кубарем катится вниз. Но он был глубоко не прав: великим достоинством барона была, напротив, своеобразная неизменчивость. Во времена более близкие, нежели эпоха Каролингов, его прадед умер, эмигрировав в Голландию, а двоюродная бабка в возрасте четырех лет была заключена в Дуэ в тюрьму вместе с другими членами семьи по обвинению в заговоре против Республики. Ему было от кого унаследовать легитимизм. Хорошо экипированная конюшня была единственной роскошью этого человека, почти не позволявшего себе роскошеств. Его великолепные лошади всегда были наготове в ожидании чести послужить Генриху V в тот день, когда он решится отвоевать свое королевство.

Но история Франции в XIX веке так сложна, что страсть барона к белому флагу долго сочеталась с лояльностью по отношению к режиму Наполеона III. Он был поочередно гардемаринном на императорском флоте, капитаном в 48-м пехотном полку, затем командиром территориального пехотного батальона. Будучи ранен при Гравлоте картечной пулей в бедро, он с достоинством приволакивал ногу. Пришествие Шлюхи усилило его легитимизм. В Феесе ежегодный вывоз нечистот осуществлялся 14 июля, и он косо посмотрел бы на слуг и работников фермы, способных предпочесть этому грязному занятию прелесть кабачков на деревенской площади, украшенной трехцветными бумажными фонариками.

Рядом с этим маленьким человеком, вытягивавшимся, чтобы не пропал ни сантиметр роста, Мари Атенаис блистала. Я говорила уже, насколько испанство в семьях на Севере обростает легендами. Но в жилах этой высокой худошавой женщины с красивым соколиным профилем, несомненно, текла *sangre azul*. Ее прапрадед воевал на полуострове в XVII веке в ту пору, когда Шамийи то соблазнял, то бросал свою Португальскую монахиню*. Более верный, чем любовник Марианны Алькофорато, предок баронессы, напротив, привез из Севильи в качестве законной жены Марию Жозефу Ребак-и-Барка. Некоторые поклонники баронессы устремляли взоры еще южнее, к Гренаде и гротам Сакромонте, приписывая своему миру цыганских предков. Ее темперамент

оправдывал подобную гипотезу. Веком раньше другой ее предок, буржуа из Дуэ, назвался попросту Леспаньоль ¹, что позволяло сделать из него солдата, уволенного из армии Карла Пятого или Филиппа II, или же, на выбор, потомка одного из купцов-иностранцев, обосновавшихся в древней Фландрии в великую эпоху торговли льном и шерстью.

Вся эта пылавшая под пеплом испанская экзотика наградила Мари Атенаис не столько собственно красотой, сколько своеобразным животным великолепием. Мишель любил говорить, что то или иное место оказывает на людей определенное влияние. Ему казалось, что Мон-Нуар обречен на семейные раздоры и ненависть, тогда как в Фееесе, напротив, царила Венера. Сам суровый барон приносил жертвы богине. Мари Атенаис дико ревновала мужа, который, несмотря на семерых детей, казалось, так мало для нее значил. Как-то летом они пригласили кузину из Арраса, молодую вдову, чтобы развеять ее печаль. Прошло немного времени, и баронесса, войдя неожиданно в комнату гости, застала мужа в объятиях блондинки. Не удостоив любовников чести взглянуть на них еще раз, Мари Атенаис направилась к шкафу, широко распахнула его, схватила в охапку платья, туфли и шляпы и швырнула их в раскрытый чемодан сговорчивой кузины. В то время как барон потихоньку скрылся, красавица бросилась защищать

¹ В переводе с французского L'espagnol — испанец.

свое добро. В последовавшей свалке несколько предметов из несессера приглашенной вылетели в окно. Мари Атенаис позвала лакея, чтобы связать чемодан, велела запрягать и за руку довела кухню до подножки кареты, позволив ей только подобрать расческу и зеркало с серебряной ручкой, упавшие в траву.

Мишель вспоминал, как она дала оплеуху слуге, подававшему за столом с грязными руками; правда, через мгновение беднягу позвали, чтобы подарить остатки коньяка, который он мог бы распить с товарищами. Дети этой фурии любили ее, не строя на счет матери иллюзий. В один прекрасный вечер, когда в дом был приглашен сосед по деревне, Бодуэн, старший сын взял с вешалки пальто и шляпу гостя, вырядился в них и, проскользнув на террасу, куда по обыкновению удалилась Мари Атенаис, чтобы докурить сигару, нежно обнял ее за талию. Пощечину Бодуэн получил, лишь открывшись, кто он.

Две старшие дочери были, как и мать, особами яркими, но не впадали так явно в испанство. Две младшие дочери, Мадлена и Клодина, были более крестьянского типа. Клодина к тому же прихрамывала. И наконец, последняя дочь, если можно так выразиться, несерийного производства, была еще сосунком.

Барону не удалось воспитать сыновей по своему образу и подобию. Бодуэн, добрый грубоватый парень, не разделял никаких политических пристрастий отца, за исключением, разумеется, неизбежного предвзятого отношения к евреям,

протестантам, республиканцам и иностранцам, в данном случае царило всеобщее согласие. Храбрый малый — в самом широком смысле слова, — он, несомненно, блистал бы при Бувине * или в более недавние времена в 48-м пехотном полку, но, ведя жизнь помещика, постепенно погрязал в охоте, выпивках в кабачке, утехах с деревенскими девицами, правда, все без неприятных излишеств. Он славился вольностью речи. Это был один из тех людей, наиболее характерной чертой которых является рассказывание анекдотов, так что попытка обрисовать Бодуэна превратилась бы в своеобразный сборник его изречений.

Приведу только один пример, часто упоминавшийся в семье. Граф де Н., правый депутат, из свежее испеченного и, вероятно, папского дворянства, но занимающий видное положение, член административных советов различных шахт и текстильных компаний, владел неподалеку от Фесеа поместьем, которое, как писала местная газета, являлось жемчужиной края. Граф был бы не прочь выдать дочь замуж в семью барона, небогатую, но чье древнее происхождение отсветом падало бы и на него. Он пригласил Бодуэна. В великолепном поместье среди прочей роскоши значился аббат, служивший мессы в новехонькой часовне и преподававший начатки знаний графскому сыну. Аббат был человеком тонким, и хозяева сочли полезным, чтобы он деликатно разузнал о взглядах, планах и чувствах будущего зятя. Както вечером они остались вдвоем перед бутылкой старого коньяка, которого церковник не жалел

для приглашенного. После нескольких заходов аббат решил, что настал момент пропеть хвалу юной девице, ее образованности, моральным качествам и очарованию.

— О, что до меня, аббат, — сказал Бодуэн, вновь опорожняя стакан, — было бы у нее только брюхо...

Мишель видел в грубости шурина кокетство помещика, который бранится, сквернословит, дерет глотку отчасти из робости, отчасти из гордости, чтобы показать, что он скроен так и не иначе. В поведении Бодуэна он усматривал, и не без основания, философско-циничное отношение к жизни, когда человек не требует больше того, что у него есть, и живет изо дня в день, ни в чем себя не стесняя. Кстати, в семье Бодуэну было с кого брать пример. Эксцентричный дядя Идесбальд, затерявшийся в туманах предыдущего поколения, в течение двадцати лет мирно сожительствовал с крестьянкой. Его убедили сделать из нее честную женщину. В одно прекрасное утро колокол зазвонил к свадьбе. Идесбальд явился одетый и обутый так, словно собирался пройтись по грязным аллеям парка, с цветком в бутоньерке старого сюртука, предлагая руку избраннице своего сердца, красовавшейся в новом платье, сшитом в Лилле. Вокруг левого запястья у жениха был намотан тройной поводок, на котором сидели три его любимые собаки. На пороге церкви он поискал глазами среди зевак, кому бы доверить Азора, Фламбо

и Герцогиню, нашел знакомого уличного мальчишку и отдал ему поводок на время церемонии.

Вспомнив о прекрасных днях, проведенных им в качестве гардемарина императорского флота, барон послал младшего сына в военно-морское училище, отчасти для того, чтобы вырвать его из атмосферы легкости и беззаботности. Довольно плохое зрение молодого человека исключало военную карьеру, поэтому ставка была сделана на торговый флот. Но дух Венеры последовал за юношей из Фееса в Бордо, где помещалась его компания. Во время своего первого плавания в качестве капитана Фернан, отправлявшийся в Бразилию, принял на борт в качестве корабельного слуги молодую особу, переодетую в мужское платье. Из-за этого эпизода шекспировской комедии он потерял свой пост и затем долго оставался в более низком ранге. Снова войдя в милость, он командовал кораблем, перевозившим войска во время Великой войны: лавирование между островами и рифами Эгейского моря создавало у него впечатление, что он «щекочет Смерти сиськи». Но Смерть оказалась доброй девахой: в Париже, куда он приезжал долечивать малярию, я довольно часто видела в 1916 году этого мрачного приземистого человека, внешне холодного, а, точнее, замкнутого, ровным голосом рассказывавшего об ужасах Галлиполи*. После перемирия он вышел в отставку и уединился в маленьком городке на Юго-Западе вместе с кра-

соткой, давно уже очаровывавшей его во время увольнений.

Мишелю нравится в Феесе, куда в течение нескольких лет он приезжает лишь тайком, где никто не думает о том, что надо бы отремонтировать фасад, и где только барон, который любит садовничать, заботливо ухаживает за жалкими и безвкусными куртинами. Этот дом мало похож на феодальные замки, тем не менее оснащен словно крепость, где только и заняты тем, что отбивают нападающих: на веранде установлена подзорная труба. Едва в глубине аллеи засекают упряжку надоедливого соседа или соседки, все бросаются врассыпную до тех пор, пока чужаки не отправляются восвояси, оставив визитные карточки. Хорошо еще, если злополучный посетитель не слышит из-за двери нелестные замечания, а из шкафа внезапно не раздастся взрыв хохота. По утрам занимаются выездкой лошадей, предназначенных для Генриха V, а по вечерам развлекаются всякими невинными играми. Баронесса всегда выигрывает, когда надо найти спрятанный предмет. Она направляется к нему уверенным шагом, ведома, как она говорит, «кем-то». Она гадает на картах и искусно плутует, если надо избежать опасного сочетания карт.

В Лондоне Мишель с огромным интересом присутствовал на многочисленных гипнотических сеансах. Однажды вечером, когда знаменитый Питман выступал на сцене большого мюзик-холла, гипнотизер, как и принято, обратился к добровольцам из зала. На Мишеле остановился власт-

ный взгляд, и он почти автоматически поднялся по ступенькам просцениума, но дальше последовал поединок. Молодой человек почувствовал, что готов подчиниться непонятной силе: он хотел уступить, но сопротивлялся помимо воли, отвечая на пристальный взгляд гипнотизера таким же пристальным взглядом. Он уверял, что до этого вечера никогда не понимал, какова магнетическая сила глаз, не только преломляющих свет и отражающих предметы, но и свидетельствующих о тайной мощи души, которая только в них и выражается. В течение десяти минут Питман пытался побороть волю Мишеля, потом жестом отослал незнакомца:

— Не поддается. Следующий...

С тех пор Мишель заметил, что у него тоже, правда, в меньшей степени, есть дар чародея. Во время вечерних сеансов в Феесе он гипнотизирует всех, кроме барона, который никогда на них не присутствует. Мари Атенаис отказывается верить, что она поддается гипнозу. Чтобы доказать ей это, он снова усыпляет ее и заставляет снять ботинки на пятнадцати пуговицах и фильдекосовые чулки. Проснувшись и застыдившись своих голых ног, баронесса с криком убегает.

Кажется, что унаследованные от цыганских предков способности позволяют Мари Атенаис видеть призраков. По вечерам, гуляя в парке, она частенько встречает два привидения. Были ли это призраки прошлого, как она полагала, или призраки будущего, что сегодня кажется мне более вероятным? Во всяком случае, одно привидение еще могло бы испугать, но два привидения, прогуливаю-

щиеся под ручку по аллеям, вызывают улыбку, как вызывали улыбку родословные барона, хотя и подлинные. Воображение большинства людей не заходит так далеко.

Тем не менее именно в Монте-Карло, где Мишель и Берта в 1889 году снимали маленькую виллу, баронесса самым блестящим образом продемонстрировала свой провидческий дар. Она приехала туда на несколько недель навестить зятя и старшую дочь. Габриель, вторая дочь, в тот момент внушала ей серьезное беспокойство. Молодая женщина разводилась с мужем, богатым и скупым лилльцем, владельцем знаменитых теплиц, предпочитавшим цветы женщинам. Красивая и спортивная, как и ее сестра, умеющая быть элегантно и жить на широкую ногу, Габриель не нуждается в муже, который тратит на уголь деньги, предназначенные на ее туалеты. Эти новости омрачили жизнь в Феесе: барон никогда на них не намекает, Мари Атенаис, снисходительная к любовным фантазиям, тем не менее — благочестивая христианка, и развод, эта совсем еще новая форма бунта, ее шокирует. Изменяет Габриель мужу или нет, в сущности, не так уж важно, но то, что г-н М. (я изменяю его инициал) и его жена перестают жить вместе и носить одну и ту же фамилию, оскорбляет материнские чувства Мари Атенаис, она думает о Габриель с тревогой и раздражением.

Около часа ночи на вилле в Монте-Карло супруги дремлют в спальне на втором этаже. Мари Атенаис располагалась на третьем, над ними.

Скрип ступеней на лестнице будит Берту и Мишеля. Он не успевает зажечь свечу, как из-под двери уже просачивается бледный свет. Створка открывается, и появляется баронесса в длинной белой ночной рубашке, держа в руках подсвечник, над которым дрожит слабый язычок пламени. Мишеля вспоминается леди Макбет. Сомнамбула садится на край кровати и произносит бесцветным голосом:

— Габриель очень больна. Я должна вернуться домой, чтобы ухаживать за ней.

— Вам приснился сон, баронесса. Идите ложитесь спать.

Медленно, словно не слыша ответа, она поднимается и идет к выходу. Зеркальный шкаф и зеркало на камине отражают ее длинный силуэт и пламя свечи. Она аккуратно закрывает за собой дверь спальни, вновь раздаётся скрип лестницы. Потом слышно, как наверху по полу волокут что-то тяжелое и скрежещущее, слышится шум воды, наливаемый в таз, а затем разом выливаемой в туалетное ведро. Потом наступает тишина. Берта и Мишель решают заснуть. На заре он поднимается на третий этаж, там все кажется спокойным. Дверь в комнату Мари Атенаис широко распахнута. Посредине стоит наполовину уложенный чемодан, окруженный разбросанными вещами. Ведро полно мыльной воды. На кое-как заправленной кровати, покрытой стеганым покрывалом, спит одетая Мари Атенаис, держа в руках зонтик. Во время завтрака они получают телеграмму, из которой узнают, что у Габриель брюшной тиф.

Эта история поразила бы воображение куда сильнее, если бы молодая женщина умерла. Ничего подобного. Выздоровев и став свободной, Габриель приехала к Берте и зятю то ли сразу после развода, то ли за какое-то время до него. Через десять лет сестры умрут с разницей в четыре дня.

* * *

Как о семи годах, проведенных с Мод, так и о тринадцати годах новых превратностей в жизни Мишеля (пятнадцати, если считать со дня свадьбы в Турне) я узнавала от него только из намеков, в иных случаях весьма пространных, но оставлявших огромные пустоты и никогда не содержащих ни мотивов, ни дат эпизодов или происшествий. Жизнь поэтому представляла как нечто весьма плотское и прозаическое, и доискаться до причин происходившего оказывалось невозможным. В каком-то смысле впечатление мое точно. Эти годы будто растеклись беспорядочно, подобно воде, то сверкающей и быстрой, то стоячей, образующей лужи и болота и всегда поглощаемой землей.

Изгнание в Англию можно на худой конец объяснить любовной кабалой, бегством от родных или просто очарованием английской жизни, такой притягательной для вкусивших ее однажды. В последовавшие затем годы Мишель, напротив, живет впустую. Прежде всего брак, заключенный по желанию отца, не помогает ему осесть где-нибудь.

Не может быть и речи о том, чтобы создать семью, разумеется, если выражение это, подразумевающее наличие прочной социальной базы, еще что-то для Мишеля значит. Невозможно также заняться каким-нибудь делом или создать себе положение. Об умственной деятельности, которая займет такое большое место в жизни отца в зрелом возрасте и в старости, пока тоже нет речи. В течение десяти лет Мишель, Берта и Габриель будут словно скользить по ледяной дорожке под звуки модного вальса, при свете, напоминающем картины Тулуз-Лотрека. От Остенде до Швеннигена, от Бад-Хомбурга до Висбадена, до гипсовых пирожных Монте-Карло они не пропускают ни одного бала, ни одного праздника цветов, ни одного спектакля, даваемого парижскими труппами на курортах, ни одного парадного обеда, ни одного конного состязания, где Берта и Габриель, опытные наездницы, часто выигрывают, и, самое главное, ни одного вечера в залах, освещенных люстрами и украшенных присутствием крупье, где так приятно встретить принца Уэльского *, ставящего на любимое поле, и Феликса Круля *, держащего банк в баккара.

По крайней мере до того далекого еще и, возможно, уже пасмурного дня, когда ледяная красота украинской зимы острым ножом пронзила Мишеля, в памяти его не сохранилось воспоминаний о пейзажах, служивших фоном для их путешествий. Жизнь за границей, кажется, была для обеих сестер всего лишь длинной чередой шуток по поводу смешного вида местных жителей, неле-

пых женских нарядов, странностей в еде и прочих обычаях. В ход идут обычные банальности, услышанные в маленьких театриках или кафе-концертах («В Германии у них этого нет»). Ежегодные морские путешествия на маленьких яхтах — сперва на «Пери», а затем на «Бэнши» — всякий раз становятся праздником воды и чистого морского воздуха, но кажется, что путешественники не замечают ни дикой красоты голландских, немецких или датских островов — сезонных убежищ птиц, ни очарования старых маленьких фризских портов. Как-то в воскресенье трое неразлучных, к которым в том году присоединился Бодуэн, высаживаются в Леувардене. Берта и Габриель сразу же с удовольствием шокируют местных жителей то шуршанием парижских туалетов и чрезмерно пышными турнюрами, извлеченными из чемоданов, то, напротив, небрежным видом завязтых морячек. В тот день проходит сбор средств в пользу приюта для старых морских волков. Путешественников просят принять участие в благотворительной акции. Бодуэн убеждает зятя встать вместе с ним по обе стороны церковного портала в момент службы с ночными горшками в руках, он уверен, что подобное шутовство развеселит добрых голландцев и заставит их раскошелиться. И действительно, медные монеты и даже несколько флоринов доверху заполняют оба сосуда. Порою Бодуэн заключает гастрономические пари: они с Мишелем обязуются съесть на двоих омлет из тридцати яиц, что и проделывается под аплодисменты капитана яхты, матроса, юнги, шайки мужланов и двух дам.

В полусветских кругах завсегдаев казино, где играющие от безделья и играющие от порока регулярно встречаются вокруг вечно зеленого сукна, устанавливается своя иерархия: светские люди в этой сутолоке узнают и приветствуют других светских людей. Но при искусственном освещении самые настоящие гербы стоят не больше, чем принадлежности котильона, золото превращается в мишуру, а бриллианты в стразы. Берта и Габриель как свои пять пальцев знают бриллиантовые уборы, подлинные или фальшивые, других женщин. Они сверкают в Бад-Хомбурге, их можно снова увидеть в Монте-Карло, порой на другой груди. Завсегдаи гостиницы «Париж» и частного зала казино образуют аристократию в этой толпе, где смешались все касты. Дамы состязаются в туалетах, но законные жены сдаются перед броской разновидностью куртизанки, которой является крупная кокотка, находящаяся на содержании у королей или президентов. Как-то вечером красавица Отеро * вступает в борьбу с Эмильеной д'Алансон: речь идет о том, чтобы доказать, что за время своей карьеры одна из этих дам собрала больше драгоценностей, чем конкурентка. Пышная Отеро величественно проплывает между игорными столами, пальцы ее унизаны кольцами, браслеты поднимаются от запястий до плеч, на розовой, сильно декольтированной груди позвякивают друг о друга колье, а низкий корсаж так усыпан брошами, что под ними не видно материи. Поскольку нельзя все же украсить алмазами задницу, куртизанку сопровождает горничная в закрытом платье и маленьком

кружевном фартучке, увешанная бриллиантами, которые не смогла надеть ее госпожа.

Соль этой жизни — в капризах случая и почтовых задержках, в муках, которыми сопровождается конец недели или триместра и которые предшествуют получению от нотариуса запечатанного конверта, крупные проигрыши за карточным столом кажутся порою подъемом и спуском по американским горкам. Берте и Габриель случается продавать вечерние туалеты торговке платьями, с тем чтобы заказать новые или выручить старые, как только карманы и сумочки заполнятся вновь. Как-то в Висбадене, в день безденежья, неразлучная тройца решает пойти на крайние меры: обе дамы перед возвращением во Францию нашивают под оборки платьев бесчисленные пакетики с белым порошком, продающиеся на вес золота по ту сторону границы. У Мишеля в тот вечер сердце трепетало.

Когда речь заходит о том, чтобы сбыть волшебный порошок, они обращаются к трем сестрам из Лилля (а может, они уроженки Дуэ или Армантьера), которые и состряпали это дельце.

Эти Сычихи, прозаические Парки, прядущие нити многочисленных интриг и при необходимости обрывающие их, были тремя старыми девами. Одна из них, по крайней мере в незапамятные времена, была замужем. Начинали они совершенно невинно. Бывшие горничные, они дебютировали на одном из пляжей на севере Франции, где торговали дешевенькими игрушками, фрегатами в стеклянных бу-

тылках, купальными шапочками и почтовыми открытками. Сейчас у них один маленький магазинчик, торгующий предметами роскоши, в Остенде, другой — в Монте-Карло, и они вложили деньги в третий, в Висбадене. На верхних этажах лавочек они сдают комнаты. Я подозреваю, что в свободные минуты они занимались выгодной коммерцией, которая примерно в то же время обогатила миссис Уоррен Бернарда Шоу *, и подобно их английской сопернице весьма здраво рассуждали о достоинствах и недостатках профессии. Они совершают ежегодные поездки, навещая свои магазины, путешествуя в третьем классе и ночью, чтобы сэкономить на гостинице, а если случайно все же снимают номер, то довольствуются одной кроватью и спят на ней поперек, кладя ноги на три поставленные рядом стула. Страшные, как смертный грех, они воздержаны в еде и питье, по-своему честны и совершенно бессовестны. Они, кстати, не лицемерки. «Видите ли, сударь, — говорила Мишелю самая словоохотливая из старух, — чтобы заработать на жизнь, надо иметь либо хорошенькую мордочку, либо раскидывать ноги пошире, другого не дано». Вокруг них царит атмосфера, напоминающая Мишелю сомнительную лавочку в Ливерпуле, но преображенная острым и трезвым умом французских крестьянок. В случае необходимости они также дают Мишелю в долг, и он платит им потом в десятикратном размере.

Среди старушечьих плутней есть почти невинные, задуманные, так сказать, из любви к искусству, ибо они не могут принести большого дохода. Но

лучше мало, чем ничего. Сычихи доставляют на имя клиентов, занимающих лучшие номера в лучших гостиницах, коробку с дорогим бельем, где каждая вещь тщательно упакована в шелковую бумагу. Мадам, ничего не купившая в означенном магазине, говорит консьержу, что произошла ошибка. Одна из старух, будучи предупреждена, поднимается в номер, чтобы извиниться (консьерж с ними заодно), и, пользуясь случаем, расхваливает товар. Редко случается, чтобы содержимое коробки или какая-то часть его не остались у предполагаемой клиентки. Сычихи быстро заметили, что молодая и хорошенькая Габриель, прекрасно подражающая манерам живущей в бедности подручной швеи, имеет у дам, а порою и у господ, решающих, делать ли покупки, гораздо больший успех, чем они сами. Габриель оставляет на затылке выбившиеся из прически пряди, начинает говорить с тягучим акцентом и имеет вид измученной белошвейки, которую совершенно заездили Сычихи и которую к тому же бросил любовник. Предусмотрено все, даже булавки в корсаже и небрежно наложенные румяна. Чтобы убедить покупательниц, она соглашается примерить воздушные пеньюары и тонкие плиссированные блузы, которые Сычихи уступают ей в качестве комиссионных. Когда же ей случается в тот вечер ужинать в ресторане с г-жой Н., с которой Мишель и Берта только что познакомились, Габриель, тщательно напудренная, завитая, затянутая в корсет, декольтированная, с бриллиантами на пальцах и в ушах, оставшимися ей от лильского любителя садоводства, настолько меняет облик,

что г-жа Н. разве что спрашивает себя, кого ей напоминает элегантная соседка по этажу.

* * *

У Мишеля, живущего по преимуществу с женщинами и ради женщин, мало друзей-мужчин. За исключением нескольких церковников, к которым он будет привязан и которые станут для него полунаперсниками, полунаставниками, всякий мужчина, входящий в его жизнь, воспринимается как надоеда или соперник. Салиньяк де Фенелон в Версале был скорее приятелем, нежели другом. Рольф всегда ему только докучал. Любопытно, что главным и последним исключением из этого сознательного отказа от мужского присутствия снова стал венгр, хотя не было ничего общего между сыном мелкого владельца ресторана, еврея, эмигрировавшего в Лондон, и роскошным мадьяром, присоединившимся к неразлучной троице.

Барон де Галаи (имя я даю ему вымышленное) в молодости блистал в высшем свете Будапешта. Будучи на виду при дворе в Вене, он, как говорят, носил гусарскую форму, и на счету его было немало дуэлей на саблях. Но эти обычные лавры давно уже сменила сатанинская слава игрока. Он делал ставки с тем же азартом, с каким его предки бросались в бой против янычар. Во всех игорных домах и казино Европы вспоминали, как он, с карманами, набитыми золотом и скомканными банкнотами, швырял их слуге, подзывавшему для него экипаж, причем делал это совсем не из хва-

стовства и едва ли из щедрости, а потому только, что предпочитал луидоры бумажным деньгам, всегда казавшимся ему грязными. Видели также, как он разом проигрывал сумму, равную стоимости одной или двух маленьких ферм в Карпатах. За ним водился лишь один этот порок, который, должно быть, поглотил все остальные, если они у него были. Он умел пить как венгр и дворянин, никогда не пьянея. Этот блестящий кавалер относился с одинаково чопорным презрением к светским женщинам и девкам. Мишель восхищается его непринужденностью настоящего вельможи и злюки, но остатки приличия не позволяют ему вступить с бароном в соревнование. В Бадене одна немка, владелица замка, занимающаяся благотворительностью, узнает, что барон, с которым она немного знакома, накануне сорвал банк. Она находит, что момент вполне подходящий, чтобы попросить его о помощи школе или приюту. Она является к нему в гостиницу, слуга мадьяра вводит ее в малую гостиницу. Господин спит, пьет кофе, принимает ванну, но если сударыня соизволит подождать... Из-за перегородки раздается голос, что-то яростно выкрикивающий по-венгерски. Вдруг распахивается дверь, появляется совершенно голый Галаи, с него ручьями стекает вода, он склоняется, чтобы поцеловать руку Gnädige Frau ¹: «Что вам от меня угодно, сударыня?» Немка спасается бегством.

¹ Милостивая госпожа (нем.).

Двое мужчин, которые не любят нравиться, быстро сходятся. Жизнь Галаи, сосредоточенная на единственной страсти и полностью от всего отрешенная, парящая в пустоте, конечно, пленяет Мишеля. Со своей стороны мадьяр находит во французе что-то от собственного неистовства и, быть может, одиночества. Они заключают молчаливый союз. За игорным столом в случае проигрыша они помогают друг другу. Лошади — еще одна общая страсть. Галаи с пренебрежением относится к лошадям из манежа, но тройца путешествует с собственными животными. Однажды, на вокзале в Германии, служащий отдела отправки отказался прицепить фургон с лошадьми к поезду, в котором должен был ехать сам Мишель. Француз в гневе хватается чиновника за шиворот и, приподняв его над стойкой, швыряет на пол в зале. Вместе с Мишелем и то с одной, то с другой дамой Галаи совершает прогулки верхом по лесным тропам или берегу моря. Обе сестры находят, что он великолепный наездник, но конные доблести Берты вызывают у него только холодное презрение.

— Сударыня, императрица Австрии не умеет вести себя в седле. Она красавица, согласен! Считается также, что она прекрасно ездит верхом. В Англии ей с трудом нашли кавалера, который с той же отвагой брал бы препятствия. Не подражайте ей. Женщина не имеет права рисковать жизнью мужчины и лошади потому только, что ей пришла охота свернуть себе шею.

Берта сердится, тем более что Мишель согласен с венгром, но она позволяет барону резкости,

которых никогда не потерпела бы ни от кого другого.

Как-то чудесным октябрьским днем Мишель признается другу, что на ближайший триместр остался без единого гроша в кармане и сверх того задолжал ростовщикам содержание за следующие три месяца. Не стоит об этом и думать: у Галаи на Украине есть земли, доставшиеся ему от матери, по случайности он их еще не продал. Неподалеку от господского дома находится конный завод, им управляет англичанин, бывший жокей, которому венгр больше не доверяет. Пусть они втроем поселятся там на несколько месяцев до тех пор, пока Мишель не наведет порядок в денежных делах. Сам Галаи присоединится к ним в конце зимы, во время ежегодного объезда родственников, от которых он еще надеется что-то получить. (Как он сам хвастается, он уже съел двух своих теток.) Этот заманчивый проект приводит в восторг Мишеля и обеих сестер. Они бесконечно долго едут по железным дорогам дождливой Германии и уже замерзшей Польши. На Украине в вагоны, отапливаемые дровами, на остановках в приоткрытые двери врываются белые вихри. Мужики, словно сошедшие со страниц романов Толстого, помогают расчищать путь.

В Киеве они проводят несколько дней в шикарной маленькой гостинице, устроенной на французский лад, — тогда они процветали в России — которую держит бывший мажордом какого-то великого князя. Путешественники совершенно покорены. Женщины время от време-

ни отпускают шуточки из парижских газетенок, прохаживаясь на счет местных жителей, но жизнь их абсолютно изменилась и не имеет ничего общего с надоевшими кафе-концертами. Для Мишеля Россия становится открытием древнего христианского мира, горящего здесь словно светильник, давным-давно потухший на Западе. Это также граница с Азией. Словно пловец в бурю, он отдается на волю мощных волн церковного пения. Испытывая чувство обретения давно забытого образа жизни и поведения, он смотрит, как паломники целуют землю перед иконами, крестятся, что-то бормоча, в слезах прижимаются губами к ликам, выписанным на золоте, или иссохшим рукам мощей святых, выставленных в церковных склепах, перед которыми верующие проходят подобно тому, как однажды их дети пройдут перед мумией Ленина. Мишель не устает любоваться большими золочеными куполами, словно расширившимися от жара молитв, надутыми, словно привязанные аэростаты, или напрягшимися, словно груди. Обозы переправляются через замерзшую речку, на берегу которой раскинулся рынок. Мишель смотрит, как продавец держит на весу несгибающиеся рыбины, как молочник топором разрубает белую глыбу. Он не забудет ни пышную красоту евреек, ни роскошно одетых по-европейски женщин в санях с кучером в меховой шапке. В первый и единственный раз за все эти долгие годы ему запомнилось нечто иное, чем модные пляжи и игорные залы.

В поместье Галаи, находящемся в нескольких верстах от Киева, есть своя прелесть и свои неожиданности. Хорошо содержатся лишь лошади. Повсюду грязь: французы сталкиваются с косностью русского быта. Они размещаются в сравнительно пышных апартаментах хозяина (сабли, диваны и турецкие ковры) на втором этаже длинной избы, другое крыло которой занимает управляющий. Этот плут вежлив и сдержан. Мишель не сомневается, что приехавший из Киева ветеринар заодно с бывшим жокеем и что они втихую продают жеребят соседям-коннозаводчикам. Англичанин надувает крестьян, продающих ему овес, и обворовывает отсутствующего хозяина. Но стговор и невозможность заставить говорить слуг, языка которых он к тому же не понимает, не позволяют Мишелю провести расследование, правда, в любом случае оно ни к чему бы не привело. Жокей, долгое время живший в Шантии, кстати, забавный тип. В краткие дневные часы они занимаются тренировкой лошадей в бескрайних полях, которые своими размерами превосходят самые большие пашни на севере Франции. По вечерам в просторных пустынных комнатах, где ветер, дующий в щели, колеблет пламя свечей, сын привратника изощряется в игре на гитаре. Бывший жокей затевает с Мишелем партию в экарте. Они едят тяжелые, вкусные кушанья, время от времени жена управляющего добавляет к ним какое-нибудь английское блюдо, чтобы утолить непреходящую ностальгию Мишеля по Англии. По

ночам, выходя на двор, они спотыкаются о слуг, спящих на полу и храпящих в коридорах. Французы посещают баню, но горячий пар, полумрак, красные тела мужчин и женщин, нахлестывающих себя березовыми вениками, шипение холодной воды на раскаленных добела камней вызывают у них отвращение. Нищета нескольких изб, куда они случайно заходят, их ужасает: завшивленные крестьяне почти не похожи на людей. (Мишель, возможно, смягчил бы свои суждения, если бы лучше помнил трущобы Лондона и подвалы Лилля.) Уединение и монотонность жизни в тягость обеим женщинам, которые утешаются только тем, что время от времени посещают магазины в Киеве.

С приездом Галаи все меняется. Магьяр чувствует себя как дома во всех увеселительных заведениях города. Ночи превращаются в оргии с цыганской музыкой. Племя пророков, не подозревающих о том, что через пятьдесят лет их поглотят печи крематориев, танцует и поет перед богатыми помещиками, которые тоже не догадываются, что их дети кончат шоферами такси в Париже или рабочими в шахтах. Покер с соседями заменяет рулетку.

Поначалу я думала, что пребывание на Украине предшествовало поездке Галаи и его гостей в Будапешт. Но хронология рассказов Мишеля запутана. Нет никаких доказательств, что между двумя этими путешествиями они не провели несколько месяцев на Западе. Во всяком случае, в Венгрии они были недолго. Магьяр и его приглашенные

останавливаются на несколько дней в уединенном замке, стоящем на необъятной равнине, куда барон приехал, чтобы избавиться от него.

Он назначил там встречу торговцу недвижимостью. В назначенный день коляска привозит с вокзала тощего еврея в потрепанной одежде с излишне учтивыми манерами. Его поведение можно было бы назвать рабским, если бы в почтительности не сквозило спокойное безразличие. Кауниц (это имя я позаимствовала из забытого романа Стефана Цвейга, где выведен тот же человеческий тип) обходит замок, службы, парк в сопровождении барона, который в этом тщательно согласованном дуэте ведет свою партию, противопоставляя слащавой вежливости торговца сухую учтивость вельможи. Галаи был готов к тому, что его надуют. Так оно, вероятно, и было, но он был обманут не больше, чем любой другой в аналогичной ситуации, а пожалуй, даже меньше.

Еврей замечает, что в подобном случае продающему было бы выгоднее не спеша, по отдельности распорядиться серебром, картинами, старинной мебелью, заполняющими замок. Но барон не нуждается в его советах: он хочет продать все разом и получить наличными. Сумма, которую предлагает Кауниц, отражает требования барона: она не смехотворна, но и не велика, и купец первым признает это. Заключив сделку, Галаи провожает посетителя до ворот. Еврей, однако, испытывает некоторую неловкость перед человеком, разоряющим себя, а быть может, наследник

древних традиций чувствует, что с каждой бездушкой, с каждым портретом барон жертвует своими традициями тоже.

— Господин Галаи, если все-таки в доме есть семейный портрет, часы или любой другой предмет, которым вы дорожите... Ничуть не снижая назначенную цену, я был бы счастлив, если бы...

— Довольно, господин Кауниц, — отвечает Галаи, склоняясь над цветком и вставляя в бутоньерку гвоздику.

Мишель находит этот жест в высшей степени элегантным; робкое предложение торговца тоже имеет свою цену.

Если бы то, что я пишу, было романом, я бы охотно вообразила некоторое охлаждение, наступившее между венгром и французами после их пребывания в Восточной Европе. Возможно, барон, считавшийся женоненавистником, слишком понравился одной из женщин, а то и обоим сразу, или же слишком старался им понравиться, возможно, его высокомерие, напротив, их оскорбило, возможно, мужчины, будучи оба вспыльчивы и необузданны, поссорились безо всяких на то причин. Более вероятно, что гордость французов была уязвлена. Во время развлечений на Западе Галаи был им ровней, здесь же, что бы они ни делали, они в долгу у владыки, пусть и разоренного.

Во всяком случае, они возвращаются во Францию одни. Кажется, Галаи отправился предаваться своему пороку в одно из маленьких казино на

далматском побережье. Несколькими месяцами ранее, будучи с Мишелем в Аббазии, он привел друга на пустынное место на берегу, чтобы полюбоваться скалой, возвышающейся над морем. «Течение в этом месте выносит в открытое море. Если пустить себе пулю в лоб, то тело, упавшее в воду, никогда не найдут». Мишель всегда хотел верить, что конец мадьяра был именно таков, вероятно, потому, что и для него это был бы возможный выход.

Но в Вене трое путешественников снова оказываются на мели, тем более что Мишель не хотел оказываться перед Галаи в долгу, когда дело касалось шампанского и цыган. Если верить Мишелю, именно это отчаянное положение заставило их вернуться на Запад вместе с цирковой труппой, где они выступают с номером вольтижировки и помогают ухаживать за лошадьми. Я предполагаю, что свою роль здесь сыграли скорее аромат опилок, ложи, обтянутые красным бархатом, рыжие лошади, крутящие хвостом под звуки духового оркестра, запах пота и хищников. Ренуар, Дега и Мане тоже любили цирк.

* * *

И это все? Никто лучше меня не видит бессодержательности предшествующих страниц. Возможно, время, отделяющее меня от моих героев, возраст, в котором я нахожусь, когда пишу эти строки, заставляют меня забыть, что минуты веселья, дерзости, плотских и чувственных удоволь-

ствий, полета фантазии и простых радостей при-
мешивались ко всей этой шумихе и мишуре. При-
ходится, однако, признать, что почти ничего в
Мишеле, которого я узнаю через двадцать лет, не
позволяло угадать Мишеля этого безумного вре-
мени. Меж тем один возник из другого.

Думается, что самым большим препятствием
на пути к полной истине является то, что отец
понимал приличия по-своему. Как прустовский
Сван считал бы неприличным говорить о себе,
разве что чуть-чуть, с капелькой иронии, тща-
тельно избегая играть в собственном повествова-
нии выгодную роль, так же и Мишелю
случалось вспоминать о забавных эпизодах
своей жизни или упоминать, что он оказывался
в необычных или странных ситуациях. Ему как
любителю зрелищ нравилось о них рассказы-
вать, но мысль изобразить самого себя или пус-
титься в многословные объяснения не приходила
ему в голову. Все, что он испытал, пережил или
любил, осталось глубоко внутри. За тринадцать
лет на сцене почти не появляются статисты, и
мы не узнаем, что происходит за кулисами. Я
предполагаю, что Мишель читал Реца* или Сен-
Симона, пока женщины читали Вилли*, что он
отправлял Бертю с сестрой в сопровождении Га-
лаи в «Олимпию», чтобы самому посмотреть
Люнье-По в «Гедде Габлер»*, которая не интере-
совала дам. Но он об этом не говорил. И уж
вовсе не пытался определить свои отношения с
Бертю и Габриель или докопаться до причин
своего увлечения Галаи. Люди, которые долго

находятся вместе, постепенно перебирают все возможные позиции по отношению друг к другу, подобно танцорам в кадрили. Если воспользоваться сравнением менее сложным, чем это кажется на первый взгляд, можно провести параллель между людьми и звездами, ибо все мы сделаны из одной материи. Люди движутся во времени, меняя положение, словно околополярные звезды в течение ночи, или, словно созвездия зодиака, как бы скользят вдоль эклиптики, существующей только относительно нашего положения, располагаясь по отдельности или группами совсем не так, как нам это видится с земли. Астроном или астролог может заранее начертить маршрут движения, пусть кажущегося, звезд. Но даже задним числом мы не можем составить карту изменений, происшедших в отношениях между людьми за годы их жизни.

Склонность Мишеля к общению со всяким сбродом очевидна, во всяком случае ему нравятся люди более низкого происхождения, чем он сам. Ему, вероятно, кажется, что в них меньше лицемерия. Разумеется, и там встречаются притворство, распутство и подлость, но Мишель никогда не вел настолько беспутный образ жизни, чтобы уметь эти свойства распознавать. По природе он не из тех, кто может низко пасть. Следует иметь в виду его своеобразную наивность: он уверен, что ничто сомнительное не может коснуться ни его самого, ни его ближайшего окружения. Даже перестав обманываться, он воспринимает случившееся с удивлением. Он говорил мне, что доволь-

но долго прожил с одной женщиной, которую считал неспособной на всякого рода шалости и проделки. «Мы, разумеется, часто посещали игорные дома и там всегда играли по отдельности, чтобы не сглазить друг друга. Когда в конце вечера мы встречались, ее сумочка бывала полна луидорами. Она всегда выигрывала. Позже я узнал, что она покидала казино и направлялась в ближайшую гостиницу с неизвестным, который и платил ей. «Все женщины лгут, — добавлял он, опрометчиво обобщая по привычке, — нет никакой возможности читать в их глазах».

Что касается Берты и Габриель, о которых он упоминал только тогда, когда они фигурировали в одной из историй, переданных мною выше, он довольствовался тем, что отмечал их врожденную элегантность (на слово «красота» он был скуп), мягкую походку и достоинства амазонок. Ничего более. Но и когда речь заходила о моей матери, облик которой в моем присутствии он мог бы попытаться обрисовать более подробно, Мишель бывал столь же немногословен. У него не было в привычке с грустью вспоминать об ушедших. В памяти его сохранился незабвенный образ лишь одной женщины, которую он полюбит и потеряет, когда я буду ребенком, она предстанет как жизненный образец. Но до этого еще далеко.

С моей стороны было бы ошибкой пытаться, быть может неосознанно, оживить сюжет, отыскивая в поведении Мишеля до 1900 года моменты беспокойства, минуты печали. На первый взгляд у него, любителя наслаждений, их не было.

И тем не менее есть кое-какие признаки, позволяющие думать иначе. Восторг, вызванный Россией, аналогичный потрясению, которое пережил Рильке, посетивший славянскую землю несколькими годами позже, заставляет предположить, что в Мишеле жила неудовлетворенность, которую он сам осознал, лишь расставшись с давно привычными местами, где царила рутина. Еще более красноречивыми являются названия яхт, на которых он совершал морские прогулки. Первое название — «Пери», кажется, навеяно фальшивым ориентализмом в музыке той эпохи, каким-нибудь Массне или Лео Делибом или, скорее, одой молодого Гюго. Точно так же в названии яхты, купленной позже для моей матери — «Валькирия», — отразилась всего лишь тогдашняя мода на Вагнера. Но имя второй яхты, «Бэнши», отправившейся в долгое плавание по Северному морю с Бертой и Габриель на борту, заставляет задуматься. Мишель, разумеется, слышал в Англии о феях, похожих на призрачных старух, в Ирландии они плачут на пороге дома, где кто-то должен умереть. Странно, если не сказать больше, что он дал имя одной из этих мрачных провозвестниц такому хрупкому предмету, как прогулочная яхта, всегда подвергающемуся опасности.

Но из всех скурых свидетельств самыми неопровержимыми, как всегда, становятся фотографии. От тех лет у меня их всего две. Они служат противоядием против пикантности и непристойности, отличавших щеголей и щеголих конца века и так досадно проявлявшихся у жен-

щин в первых романах Колетт * и у поддельных девушек Пруста *, в наигранной романтичности герцогини Германтской и издевательской сухости ее кузины Орианы. Мишель и обе сестры, принятые в лучшем обществе, светские люди, должны были сохранить в себе этот дух времени, но на фотографиях его нет и следа. Портрета Габриель у меня нет: ее очарование и веселость исчезли навсегда. Берте на фотографии около тридцати: в закрытом платье, облегающем ее словно перчатка, прямая стройная женщина напоминает скорее королев на церковных порталах, нежели гурий 90-х годов прошлого века. Красивая крепкая рука умеет держать поводья. Завитые по моде волосы обрамляют лицо, темные глаза смотрят перед собой, а может, и не смотрят, а мечтают. На нежных, словно роза, губах ни тени улыбки. Фотография, на обороте которой написано: «Мишель в возрасте тридцати семи лет» — тоже поражает. Он выглядит очень молодо, и в нем совершенно не чувствуется мощи и энергии, которыми отмечены его портреты в зрелом возрасте. Он находится еще в стадии слабости, той слабости, которая у многих молодых людей непонятным образом предшествует силе и подготавливает ее. Вместе с тем это не портрет гуляки, усердно посещающего всякие модные места. Взгляд его мечтателен, в длинных пальцах, украшенных перстнем с печаткой, он держит сигарету, и рука, кажется, тоже мечтает. Лицо и тело излучают необъяснимые меланхолию и неуверенность. Это портрет

либо Сен-Лу в ту пору, когда он беспокоится еще о Рашели, либо господина д'Амеркёра.

Мне казалось, что от этих лет не осталось ничего, написанного самим Мишелем, что помогло бы нам понять его. Я ошибалась: на сгибе левой руки у локтя он вытатуировал шесть букв, надпись сделана, возможно, еще до свадьбы с Бертой: 'ANÁKH, Рок.

Выбор слова удивляет меня почти так же, как и сама татуировка. По крайней мере в ту пору, когда я знала отца, античное понятие Рока не находило у него никакого отклика, ровно как и бытующее в народе неясное представление о судьбе, Его собственная жизнь, казалось, управлялась скорее божеством игрока — Удачей, со всем тем, что в ней есть непрочного и случайного. К тому же это тусклое, грустное слово вряд ли соответствует темпераменту человека, способного наслаждаться быстротечным моментом. Все, чему я была свидетелем, доказывает, что Мишелю было присуще, если так можно выразиться, врожденное счастье, которое ощущалось даже в те минуты, когда тоска и невзгоды захлестывали его, подобно тому, как в затопленной местности под временно нахлынувшей водой всегда чувствуется твердая земля. И все же наполняло ли отчаяние скрытые тайники его души? Глубокое безразличие, спокойное разочарование состарившегося Мишеля могли бы заставить поверить в это и по необходимости этим и объясняться. Но если это так, то когда и в силу каких причин он почувствовал, что над ним нависает неизбежное? Рок,

'ΑΝΆΓΚΗ. Можно предположить, что студент Лилля или Лувена, прочтя «Собор Парижской богородицы» и заранее придумав себе трагическую судьбу, вытатуировал эти шесть букв, дорогих Клоду Фролло. Джордж Дю Морье * в то же время создает почти автобиографический персонаж Питера Иббетсона, которого неотступно преследует это мрачное греческое слово, вложенное Гюго в уста дурного священника. Но если не считать того, что татуировка, будучи прежде всего отличительным знаком рецидивистов и моряков, не часто встречалась в студенческих кругах в 1873 году, подобное объяснение слишком просто и ничего не дает. Дело не только в том, что Мишель, любивший, особенно в зрелые годы, поэмы Гюго (в юности он больше увлекался Мюссе), напротив, с пренебрежением, доходящим до несправедливости, относился к его романам. Если бы речь шла только о студенческой причуде, ему легко было бы с улыбкой сознаться в ней, но ничего подобного не произошло. Кстати, я никогда не спрашивала у него, какой смысл он вкладывал в эти шесть слегка угрожающих букв. Наша взаимная искренность имела определенные границы. Для него слово, безусловно, принадлежало к области чувств былых, но скрытых от других, и вторгаться туда было бы и опрометчиво и бестактно.

Скорее можно представить себе, что татуировку он сделал во время второго своего пребывания в 7-м кирасирском полку в Версале, когда, вернувшись в полк по собственной воле и согласившись лишиться погон, лишь бы вновь быть

принятым в армию, он быстро понял, что не может отказаться от Мод и готов вновь все разрушить, чтобы опять соединиться с ней. Мне, однако, не известно, встречались ли специалисты по татуировке в окрестностях казармы в Версале и не был ли этот вид украшения из тех, от которых сухопутные войска с презрением отказались в пользу флота.

Можно представить себе, как позже Мишель в одном из баров для моряков в Ливерпуле или еще позже, в таверне на набережной Амстердама, в те времена, когда на «Бэнши» вместе с Бертой и Габриель они плавали по Северному морю, аккуратно выводя греческие буквы на клочке бумаги, чтобы они послужили образцом для татуировщика, и протягивает левую руку. Ананке... В то время как человек простой выбрал бы в качестве татуировки цветок, птицу, трехцветный флаг, имя возлюбленной или грудастое женское тело, Мишель выбирает шесть букв, похожих на номер каторжника. Мы бы поняли его лучше, если бы узнали, какой оценке собственной жизни они соответствуют. Но я пишу не роман. 'ANÁTKH: Рок.

* * *

Эпизод с бродячим цирком явился бы хорошим финалом этих тринадцати лет. Разумеется, он относится к последнему периоду жизни с Бертой, но нет точных указаний на то, что шумное возвращение из Центральной Европы произошло именно в 1899 году, пагубном для всех троих, а не дву-

мя-тримя годами раньше. Жизненные катастрофы редко объявляют о себе под барабанный бой.

Во всяком случае, Остенде, город, сыгравший роковую роль в судьбе Мишеля, становится для него местом жительства. После амнистии в 1889 году, избегая Лилля и Мон-Нуар, он поселился в Феесе. Возможно, после развода Габриель принимали там менее тепло, а Берта и Мишель, одобрявшие ее поступок, чувствовали себя там менее уютно. Это всего лишь гипотеза. Проще было бы предположить, что с годами очарование Фееса несколько поблекло. В 1894 году Мишель, приписанный теперь к территориальной армии, дал знать военным властям, что снова проживает за границей. Он обосновался в Остенде, где снимает квартиру на Российской улице. Проживет он там недолго. Но все же это местопребывание, считавшееся постоянным, имеет два достоинства: азартные игры и море.

Мы не знаем, прожили ли они там все лето 1899 года или же в предыдущее лето Мишель удачно играл на бирже, совершил несколько морских прогулок либо на «Бэнши», если она все еще у него была, либо на рыбацких судах, часто приглашая Генри Артура Джонса, посредственного, но модного тогда английского драматурга, в компании которого он упивался лондонскими воспоминаниями. Он вынужден был порой наезжать в Лилль, где ему охотно давали займы суммы, которые надо было вернуть по смерти матери («Жизнь на широкую ногу» требовала подобных финансовых операций). Как-то раз Берта, у кото-

рой закружилась голова, попросила разрешения присесть на порог виллы, одиноко стоявшей в дюнах; тогда-то они и познакомились с ее владелицей, баронессой В., любезной старой дамой, любившей музыку и книги. Она стала часто приглашать трех французов на чудесные прогулки в ландо. Светский парад во время «сезона» бывал особенно блестящ: аристократы-иностранцы, светские люди, финансисты, красавицы из окружения Леопольда II*. Берта и Габриель показываются на прогулках в воздушных белых туалетах с шарфами и развевающимися на ветру юбками, придерживая рукой большие соломенные шляпы. Сестры любят одеваться одинаково, отличаясь только цветом пояса и камнем в пряжке, кольце или броши. Именно в квартире на Российской улице Берта умрет 22 октября 1899 года, через четыре дня за ней последует Габриель. Им было соответственно тридцать восемь и тридцать три года.

За исключением двух-трех малозначащих замечаний, о которых будет упомянуто в надлежащем месте, Мишель никогда ничего не рассказывал мне об этой тягостной неделе. В «Воспоминаниях» моего сводного брата, опубликованных после его смерти в «Тетрадах», которые его сыновья издавали в течение нескольких месяцев и которые предназначались для семьи и близких друзей, можно прочесть, что Берта и Габриель скончались от последствий «легкой хирургической операции». Неясно, знал ли Мишель, а тем более одобрял ли то, что теперь кажется поступком опрометчивым, или же он

вдруг столкнулся с непоправимым. Сезон давно закрылся, возможно, они так задержались в Остенде из-за любви Мишеля к осенним штормам. Так что смерть обеих сестер произошла, когда над бурным морем свистели пронзительные ветры. Разумеется, они «знали всех» на этом модном курорте, но, в сущности, друзей у них не было. Только баронесса В., любившая задерживаться на своей вилле в дюнах после закрытия сезона, присутствовала при кончине сестер. Мне хочется верить, что она, как умела, помогла растерявшемуся Мишелю, позже она пыталась устроить его жизнь, познакомив его с Фернандой де К. де М., ставшей моей матерью.

Я представляю, как Мишель метался между двумя комнатами, где агонизировали Берта и Габриель, лишенные после стольких лет, проведенных вместе, даже слабого утешения — возможности ухаживать друг за другом. Жена некоего доктора Хирша, виновника несчастья, как будто исполняла обязанности медсестры, может быть, для того чтобы скрыть следы ошибки или небрежности со стороны врача, может быть, соблазнившись барышами, которые могли бы принести бдения у изголовья умирающих. Кажется, исчезли какие-то ценности, несомненно, кольца или серьги, оставленные на туалетных столиках.

«Твоя мать не получила того лечения, в котором нуждалась женщина в ее состоянии», — много лет спустя я слышала, как Мишель говорил это сыну, осудив тем самым доктора и гос-

пожу Хирш, но очевидно и то, что Мишель, видимо, не обратился к другим врачам. Позже он порицал сына за то, что в эти скорбные дни тот проводил время у игровых автоматов на плотине и посещал тир и аттракционы на ярмарке. Подобные упреки означали, что отец совершенно не понимал, как может выражаться тоска у четырнадцатилетнего мальчика. Мишель, без сомнения, достаточно мучился сам, чтобы не заниматься страданиями сына.

Что касается слуг, то их роль во время драмы неясна. Возможно, они скрылись, прихватив столовое серебро или шелковые платья хозяек. Какое-то молчание и полнейший беспорядок сопровождают смерть обеих сестер. Меблированная комната, которую Мишель снимал на год, находилась, вероятно, в одном из тех домов, где на лето поселялись богатые иностранцы. В эти октябрьские дни дом, должно быть, был почти пуст, но управляющий или владелец, безусловно, боялись слухов о болезни и смерти, которые могли обеспокоить последних клиентов. Даже в мертвый сезон на водах или морских курортах умирают за кулисами.

Надеюсь, перед самым концом Габриель не узнала, что сестра уже умерла. Теперь Мишелю предстояло заняться только одной умирающей. В последние часы молодая женщина попросила религиозного утешения. Приходские кюре и викарий, к которым отправился Мишель в поисках священника, отказались двинуться с места. Было известно, что Габриель разведена, и этого, безус-

ловно, достаточно, чтобы объяснить подобную суровость в эпоху, когда непримиримость церковников была куда сильнее, чем в наши дни. Мишель так и не смог простить двум священникам их варварский отказ.

Он рассказал мне также (это третья и последняя деталь, которую я от него узнала), что барон де Л., приехавший сам, чтобы сопровождать тело Габриель в Феес, казалось, больше всего был озабочен неожиданными расходами: для человека, вечно стесненного в деньгах, в этом не было ничего удивительного. Берту похоронили в семейном склепе в Байёле. По случайности до меня дошли обе открытки «На молитвенную память» *, отпечатанные фабрикантом с площади Сен-Сюльпис *. О смерти Берты, украшенная «Mater Dolorosa»¹ Карло Дольчи, банальна: такую в тот год в католическом писчебумажном магазине Лилля мог купить любой вдовец, чтобы помянуть усопшую. Там обычно восхваляют терпение, проявленное покойницей во время последней болезни, и уверяют, что она будет любить близких и на небесах. Открытка, относящаяся к Габриель, более примечательна. На обороте «Христа» Гвидо Рени мы читаем: «Бог провел ее через долгие страдания и, очистив ее, нашел достойной себя». Эта библейская цитата, содержащая в себе скрытое порицание и высокомерную уверенность по отношению к тому, что делает и чего не делает Бог,

¹ Скорбящая Богоматерь (*лат.*).

кажется, была выбрана не Мишелем, он нашел бы ее оскорбительной для покойной, к тому же в ней звучала излишняя уверенность в божественном правосудии.

Ни на одном из листков нет обычного, даже если оно бывало ложным, указания на то, что обе женщины умерли, получив напутствие святой церкви. От кого бы ни исходило подобное решение — от Мишеля или барона, их правдивость заслуживает уважения.

В данном случае менее, чем когда-либо, я склонна утруждать читателя гипотезами. Конец второй или третьей жизни Мишеля (железный занавес опускается, и вот-вот начнется новое существование) слишком близок к абсурду, слишком необъясним, чтобы были оправданы какие бы то ни было комментарии. Следовало бы знать (а мы этого не знаем), каковы были подлинные отношения Мишеля с обеими женщинами, степень верности обоих супругов, какие чувства, вероятно разнообразные и противоречивые, нахлынули на оставшегося в живых в присутствии двух умирающих. Можно предположить, что сестер связывала глубокая взаимная привязанность, иначе нельзя объяснить их долгое проживание вместе, что, кстати, не исключало ни соперничества, ни мимолетной ревности. Можно также отчасти угадать тоску и страдания, которыми сопровождался их конец, но уважение к человеческой личности не позволяет нам предаваться игре воображения. Все происходит так, словно на наших глазах две амазонки исчезают в пропасти (в обоих случаях всад-

ница — душа, а тело — лошадь), налетев на невидимое нам препятствие. Что касается историй, рассказанных в этой книге, начиная с раннего детства Мишеля, главную и чаще всего единственную информацию я получала от него самого. Там же, где он решал промолчать, я могу только зарегистрировать его молчание.

Но в тот момент, когда я пишу эти строки, меня вдруг потрясает мысль о том, что именно внезапная смерть Берты сделала возможной год спустя женитьбу Мишеля на Фернанде и четыре года спустя — мое появление на свет. Именно это несчастье, как бы ужасно оно ни было, позволило мне существовать. Так между мной и Бертой устанавливается некая связь.

* * *

В другом месте я говорила, что смерть Берты подействовала на Мишеля, но не опечалила глубоко: тщательно исследовав вновь немногие известные мне факты, я пришла к выводу, что он все же был потрясен. Во всяком случае, кажется, он вернулся на Мон-Нуар с намерением прочно там обосноваться, что для него было равносильно признанию в поражении. Он выбирает местом жительства Сен-Жанс-Каппель, маленькую деревушку, расположенную внизу, за парком. Он будет там жить и в год моего рождения, и гораздо позже, до продажи Мон-Нуар в 1912 году, когда вскоре после смерти Ноэми расстанется с этими местами, которые так и не сумел полюбить. (Я

прошу прощения за эти скудные крохи информации: только они и могут помочь мне обозначить дату или уточнить место действия в те беспокойные годы.) С наступлением зимы Мишель перебрался с матерью в старый дом в Лилле.

Мне бы хотелось побольше узнать об этих холодных серых месяцах, узнать, что он читал, о чем думал (или отказывался думать), о пеших или конных прогулках, о том, что так или иначе занимало этого потерявшего себя человека. Возможно, время от времени он заходил в музей Лилля, где хранился прекрасный восковой бюст Неизвестной, который Мишель любил. Тогда он считался погребальным изображением молодой римлянки, сегодня же его с большим основанием относят к эпохе Возрождения. Без сомнения, это было единственное воплощение женской прелести, представшее ему в ту зиму. Любопытная вещь, мадам Ноэми почти тотчас же взялась за дело, решив женить вдовца на богатой наследнице, происходившей от члена Конвента, знаменитого своей жестокостью. В сущности, она попыталась воспроизвести в следующем поколении собственный брак с Мишелем Шарлем. Сын ответил ей категорическим «нет». Много лет спустя в Париже, в ресторане гостиницы «Лютеция», он показал мне глазами сидящую у окна даму, такую богатую вдову, завтракавшую под предупредительным оком метрдотеля. Мишель порадовался тому, что у него хватило ума не пойти у матери на поводу. Жизнь в лице Фернанды предложила ему нечто лучшее.

В марте он получил от баронессы В. приглашение провести у нее в Остенде Пасху. Старая дама хотела познакомить его с молодой девушкой из хорошей семьи, бельгийкой двадцати семи лет, чья культура и склад ума должны были ему понравиться. После пяти печальных месяцев Мишель, соблазнившись, принял приглашение. Я удивляюсь, что он так поступил: мне казалось, что этот город, эта плотина должны были остаться у него в памяти как кошмар. Но призраки и наваждение не имели над ним власти. Не уверена, что он дал себе труд пройти под окнами дома на Российской улице, чтобы воскресить в памяти две зыбкие тени, которые, быть может, ушли не объяснившись. Несколько дней Мишель провел на вилле баронессы или на еще пустынном пляже рядом с молодой женщиной, чей душевный настрой ему был близок. Мишель и Фернанда расстались, сговорившись совершить вместе путешествие в Германию как жених и невеста. Они поженились 8 ноября 1900 года.

Среди тех, кто знал все о переживаниях отца и событиях мучительных октябрьских дней 1899 года, была моя мать. Мишель, несомненно, почти сразу же все рассказал ей, если только еще раньше этого не сделала баронесса. Я как-то уже приводила письмо, написанное Фернандой будущему мужу 21 октября 1900 года, накануне мессы на Мон-Нуар в связи с годовщиной смерти Берты, на которой Мишель присутствовал. Быть может, стоит вновь привести несколько строк. У Фернанды были свои недостатки, я их не скрываю, но то, что было в ней трогательного, выразилось в этом письме. Ког-

да знаешь, как прожил Мишель этот трудный год, ее нежная забота о человеке, прошедшем сквозь испытания, о которых ей было известно, видна яснее, словно под воздействием кислоты проступают побледневшие буквы.

«Мой дорогой Мишель,

Мне хочется, чтобы завтра ты получил от меня весточку. Этот день будет для тебя таким печальным. Ты будешь так одинок...

Видишь, как глупы приличия... Было совершенно невозможно мне поехать с тобой, а между тем что может быть проще — прижаться друг к другу и помочь любимому человеку... Отныне забудь о прошлом, дорогой мой Мишель. Ты же знаешь, что говорит о времени добрейший господин Фуйе: прошлое лишь тогда действительно становится для нас прошлым, когда оно забыто¹.

И потом, верь в то, что обещает будущее, верь в меня. Я знаю, что этот тусклый серый октябрь — всего лишь облако между двумя просветами — нашим чудесным путешествием в

¹ Прочитывая первый раз в «На молитвенную память» письмо Фернанды Мишелю, я по ошибке прочла «добрейший господин Фейе» и понапрасну расспрашивала, кто был этот Фейе, которого занимали проблемы Времени, — старый друг или сосед по деревне. Неизвестная корреспондентка любезно указала мне, что речь, без сомнения, идет о профессоре философии Альфреде Фуйе, ныне основательно забытом, но тогда хорошо известном и бывшем для образованных людей своего времени тем, чем стали позже Ален или Жан Гренье*. Как видим, Фернанда читала серьезные книги.

Германию и нашей будущей жизнью... Там, в поездке, под ясным небом мы вновь обретем нашу веселую беспечность, атмосферу любви и близости, которая была нам так сладка.

Я очень счастлива, что осталось всего три недели... В эти два дня я не скажу тебе: не грусти, я скажу: не грусти сильно. Жду тебя вечером во вторник, после твоего возвращения...»

Есть что-то трогательное в этих утешениях и обещаниях, сделанных хрупким человеческим существом другому, едва оправившемуся от ран. Фернанда сдержала обещание, насколько это было в ее силах. Будущее, о котором она говорила, продлилось чуть больше трех лет, если считать предсвадебное путешествие. Три года медленного вальса по Европе, Европе музеев, королевских парков, лесных и горных троп, три года разговоров и чтения, три года любви и счастья, разумеется, не свободного от недоразумений и ссор между быстро теряющим терпение Мишелем и легко ранимой Фернандой. Но все-таки счастья, ибо Мишель на обороте извещения о смерти молодой женщины велел написать, что вместо того, чтобы оплакивать ее исчезновение, надо радоваться тому, что она была. Он добавил, и эта похвала более сомнительна, что она «старалась сделать все, что могла». Письмо, написанное Фернандой накануне поминальной мессы, показывает, что она действительно старалась. Прошлое было если не уничтожено (это невозможно), то все же на какое-то время изглажено

из памяти. Что-то они значат, эти три года почти полного счастья рядом с не похожей на него женщиной, жизни при ином освещении, три года близости, словно наполненных музыкой Шумана, что-то они значат для сорокашестилетнего мужчины, много и неистово жившего.

Между тем мне случилось дважды, с интервалом в несколько дней, столкнуться с вдруг ожившими призраками прошлого. Мне было двадцать три года. Мы были с Мишеlem на Юге, и, как обычно, игорные залы Монте-Карло влекли его к себе, если не каждодневно, то довольно часто. В тот день я ждала его у выхода из казино. Мой возраст позволял мне войти туда, но мною владел юношеский пуританизм. Я сочла бы недостойным проникнуть в пещеру, где бледные мужчины и наруганные женщины рисковали не только излишками своих доходов, но часто и самым необходимым с помощью целлюлоидных жетонов, заменивших прежние золотые монеты. (Я думаю, что именно эта замена, равно как и почти полное разорение, во многом умерили страсть Мишеля к игре: золотые луидоры были одновременно символом Богатства и его реального присутствия, придавая выигрышам и проигрышам интенсивность жизненных баталий. Они растаяли в горниле первой мировой войны, унесшей с собой и Их Высочеств.) К тому же, как почти всегда, со мной была собака, а собаки не допускаются в священные места, какими бы они ни были. Не помню, где находилась верная англичанка, на которой через полгода же-

нился Мишель. Думаю, из-за очередной мигрени она осталась у себя в комнате.

Вдруг со ступеньки крыльца, где я стояла, я заметила Мишеля в своего рода прозрачной клетке, служившей прихожей Храму Случая и закрывавшейся снаружи стеклянными дверями, выходящими на улицу, а изнутри ограниченной другими такими же дверями, позволявшими видеть сквозь них центральный вестибюль святилища, в свою очередь соединявшийся с игорными залами. Отец собирался выходить, когда столкнулся с входившей дамой и узнал ее. Никто бы не взглянул на нее дважды. Это была пожилая, полная женщина, слегка оплывшая, в одежде хорошего качества, но весьма посредственного вкуса, одна из тех дам с претензиями, которые откладывают небольшую часть своей ренты или пенсии, чтобы время от времени испробовать в Монте-Карло «систему». Мишель говорил ей что-то, точнее кричал, заблокировав дверь и нисколько не заботясь о том, что поток слов, сыпавшихся словно удары, производил впечатление скандала. Свет электрической люстры освещал их, словно на сцене. Обезумевшая дама думала только о том, как бы бежать, что ей и удалось; вместе с вновь прибывшими она прорвалась сквозь стеклянные внутренние двери.

Портье, несомненно видевшие и слышавшие и не такое, открыли тамбур, выходящий наружу. Мишель вышел, те, кто мельком заметили сцену между пожилыми господином и дамой, едва взглянули на него. На самом деле ссорился только

Мишель, дама ему не отвечала. Вид отца меня испугал: он покачивался,

Один из экипажей, которые в те годы еще придавали очарование курортным городам (при условии, что лошади не были слишком истощены и не страдали от солнца и мух), стоял свободный у подножия крыльца. Мы сели в него. Не скажу, что я помогла ему сесть, ибо никогда не играла рядом с ним роль Антигоны *.

— Что случилось?

— Это госпожа Хирш, вдова врача, лечившего Берту и Габриель. Не задавай больше вопросов.

Как в дурном сне, та же сцена с небольшими вариациями повторилась дней через десять. Мы бродили по Ницце вдоль улицы, где дверь в дверь чередовались антикварные лавочки самого разного пошиба. Мишель не был любителем редкостей: слишком мало значили для него дом и оседлая жизнь. («Мы здесь не задержимся, мы уезжаем завтра».) Но он любил взглянуть на собрание разношерстных предметов, комментируя их достоинства и недостатки, любил порассуждать о случае, который свел их вместе. Я же находила прелестной игру, состоявшую в том, чтобы выбирать, что мы могли бы купить, если бы были покупателями, еще приятнее было уничтожать взглядом все то, что не покупалось. Гравюры Ландзеера и фотографии Бугро, Ганимед из слоновой кости — безделушка, воспроизводящая мраморную скульптуру Бенвенуто

Челлини, шахматная доска с клетками из перламутра и черного дерева, выщербленный фаянс из Мустье запечатлелись в моей памяти благодаря следующему случаю.

Часть товара, продававшегося в лавках, была выставлена на улице. Женщина с непокрытой головой сидела в кресле перед витриной своего магазина. Увидев нас, она встала и скрылась в лавке. Но Мишель немедленно узнал ее, как это произошло несколько дней тому назад, несмотря на то, что за двадцать семь лет она должна была измениться. Он пошел за ней в магазин, оставив приоткрытой дверь, от малейшего движения которой почти комично трезвонил колокольчик. Узкая комната была завалена стульями, поставленными друг на друга, часами, показывавшими разное время и громоздившимися на буфетах Людовика XIII, псевдорочко и псевдокрестьянского стиля. Женщина отпрянула к задней стене и оказалась зажатой между столом, перегруженным посудой, и столиком на одной ножке, где возвышалась лампа. Мишель жестикулировал, подняв кулаки, словно угрожая и этим хрупким предметам, и бедной распухшей женщине, несомненно еще более уязвимой, чем саксонский фарфор и жирандоли. Я услышала крики: «Жена убийцы! Воровка! Убийца!», и словно пузыри зловонного воздуха вдруг вырвались из подвалов разрушенного дома: «Грязная жидовка!»

Я знала, что Мишель, как и я, не любивший Ветхий завет, книгу-утешительницу для одних, не-

навистную или отвратительную для других, испытывал, напротив, инстинктивную симпатию к разбросанному по миру, преследуемому и непонятому еврейскому народу. Он доброжелательно относился к евреям, богатым или бедным, банкирам или портным на дому, представителям расы, одаренной гениальностью и почти всегда человеческим теплом. Но, выходя из себя, Мишель употреблял ругательства, достойные Дрюмона * или презираемых им в юности дрейфусаров, подобно тому как разъяренный прохожий хватает валяющийся в грязи нож.

Гнев его утих. Я взяла его под руку, казалось, что в этом большом теле не осталось ни капли сил. К счастью, гостиница наша находилась совсем рядом. Мы сели в лифт, и, едва войдя в комнату, Мишель рухнул в единственное кресло. Он сорвал с себя галстук, расстегнул ворот рубашки. Крупные капли пота стекали на голую грудь с мертвенно-бледного лица. Я испугалась: в прошлом году после нашего посещения монастыря в Байесе, позже, на одной из улиц Женева, он вдруг почувствовал себя плохо, кажется, это была сердечная слабость. Я позвала соседку, она вошла, ласково захлопотала, заказала чаю. Магический напиток, как всегда, оказал свое живительное и успокаивающее воздействие. Немного погодя Мишель достаточно овладел собой, чтобы развернуть «Тан», лежащую на столе. Больше о случившемся речь никогда не заходила.

В июле 1903 года господин, одетый во все черное, в котором носильщики и контролер без труда узнали господина де К., сошел на перрон в Лилле и сел в местный поезд, идущий до Байёля, где его ждали лошади мадам Ноэми и кучер Ашиль. На сей раз господин де К. не привез с собой гроб: Фернанда осталась в Бельгии, у родных. Но потребовалось немало времени, чтобы собрать на перроне Байёля сундуки, чемоданы, подставки для зонтов, шали, заколоченные ящики с книгами. Господин де К. держит на поводке таксу Трие, память о Фернанде, собаку он купил в Германии во время предсвадебного путешествия. Позади шагают две дамы, тоже в черном, — предмет забот Мишеля. Наметанный глаз служащих маленького вокзала быстро признает в них прислугу. Одна из них — Барб или Барбра, как я буду звать ее позже, свежая двадцатилетняя девица в новеньком костюме британской nurse¹, купленном в «Old England»². Другая — сиделка, мадам Азели, которая с помощью Барбры ухаживала за Фернандой и согласилась приехать на лето на Мон-Нуар, чтобы обучить начаткам ухода за младенцами молодую горничную, недавно получившую повышение и ставшую гувернанткой. Мадам Азели несет на руках малышку, лежащую на подушке в белой наволочке, для большей безопасности младенец

¹ Гувернантка (англ.).

² «Старая Англия» (англ.) — название магазина.

привязан к подушке атласными лентами, завязанными в банты.

Господин де К. садится в экипаж на переднее сиденье, чтобы оставить места в глубине для двух женщин с их ношей. Между ног он усаживает Трие, пес недоволен тем, что ничего не видит, без конца вылезает из своего укрытия, встает на кривые лапы, тычется длинной мордой в дверцы коляски и лает на деревенских собак и кротких коров.

Они сворачивают с дороги, окаймленной гирляндами хмеля, которые, должно быть, часто наминали Мишелю Шарлю, а теперь, возможно, и Мишелю виноградники Италии. По обеим сторонам деревенской дороги, пролегавшей под просторным северным небом с круглыми облаками, запечатленными на картинах Ван дер Мелена*, через одиннадцать лет от Байёля до Касселя двойными рядами будут лежать мертвые или агонизирующие лошади с животами, вспоротыми снарядами. Несчастных животных оттащат в ров, чтобы дать дорогу ожидавшимся английским подкреплениям. Экипаж уже поднялся на холм, над которым простирается черная тень елей, давших имя поместью. Через двенадцать лет, принесенные в жертву богам войны, они превратятся в дым, в дым превратятся и мельница наверху, и сам замок. Но чего пока нет, того нет. Они едут по аллее отцветших рододендронов и останавливаются на гравиевой дорожке у крыльца. На верху лестницы, как всегда язвительная, их поджидает Ноэми. Это возвращение,

несомненно, напоминает ей другое, более мрачное, четыре года тому назад. Впрочем, приехавшие — в трауре, и хотя, как и подобает вдове, мадам Ноэми одета в черное и на ней украшения из гагата, она ненавидит все, что напоминает ей смерть. Обеих женщин с ребенком спешно отправляют в большую комнату в башенке: это первое жилье, которое я помню. Господин де К. поднимается на третий этаж и вновь располагается в комнатах, где прошлым летом жил с Фернандой.

10 августа Мишелю исполнится пятьдесят лет. Ему предстоит прожить еще треть жизни. Будущее бережет для него самую большую любовь, любовь к женщине, достойной нежности, единственной, кому он посвятит несколько прекрасных, сохраненных им стихов. Будет также странная привязанность, возможно, без примеси чувственного, к одной взбалмошной больной, которая поможет господину де К. пустить на ветер остатки его состояния. Будут связи с милыми более или менее доступными женщинами, они будут очаровывать его вплоть до самой старости. Будет, наконец, третья жена, которая окажется преданной и несколько блеклой подругой его последних дней. Будет игра, осторожная, благоразумная, ставшая банальной и методичной, как и все старые пороки. Будет увлечение автомобилем, сперва переживаемое как искусство, наука. Новая страсть на какое-то время сблизит Мишеля с сыном, потом он вдруг

забросит ее, как забросит, тоже внезапно, сигареты и женщин.

Но наступающий возраст приносит и свои радости. Мишель осуществил наконец давнюю мечту — он будет жить в солнечной стране, вдали от людей, у которых надо было бывать непонятно почему. Будет еще несколько путешествий, будут долгие прогулки по дорогам Прованса рядом с девочкой-подростком, которая увлечет его своими планами и несбыточными мечтами, это я, его дочь. Будут вечера, когда мы станем читать и перечитывать вслух великих поэтов, вечера, напоминающие чудесные сеансы с вращающимися столами, когда вызывают духов. Будет бедность, по-прежнему имеющая вид богатства, и будут преимущества того и другого. Будет смерть в Лозанне, медленная, не мучительная, почти безмятежная.

Ребенку примерно полтора месяца. Как и большинство человеческих детенышей, девочка похожа на старушку, которая станет молодеть. Она и в самом деле очень стара: то ли по крови и древним генам, то ли по не поддающемуся анализу элементу, который мы по прекрасной античной традиции называем душой. Малышка пережила века. Но она об этом ничего не знает, и тем лучше. Ее головенка покрыта черной шерсткой, словно спина у мыши. Сжатые пальцы кулаков, когда их разжимают, похожи на нежные усики растений. Ее глаза рассматривают вещи, хотя никто еще не назвал и не описал их ей: пока что она только существо, сущность и

субстанция, слитые в нерасторжимом союзе, который просуществует в этой форме почти три четверти века, а, может, даже и больше.

Времена, которые ей предстоит пережить, будут худшими в истории человечества. Она увидит по меньшей мере две войны, которые назовут мировыми, а вслед за ними вереницу других конфликтов, вспыхивающих то здесь, то там, увидит войны национальные и гражданские, войны классовые и расовые, и даже в одной или двух точках земного шара — явление анахроническое, доказывающее, что ничто еще не кончилось, — войны религиозные. Каждая из них таит в себе достаточно искр, чтобы вызвать взрыв, способный смести все на своем пути. Пытка, казавшаяся давно забытой принадлежностью живописного средневековья, вновь станет реальностью. Быстрый рост населения земного шара обесценит человеческую личность. Средства массовой информации, поставленные на службу более или менее замаскированным интересам, распространят по миру столько иллюзорных представлений и слухов, прольют такой ядовитый опиум для народа, какой никогда не сумела бы пролить ни одна религия. Ложное изобилие, скрывая растущее убывание ресурсов, обернется все большим количеством продуктов-суррогатов и все более стадными развлечениями, *panem et circenses*¹ общества, считающего

¹ «Хлеба и зрелищ!» (*лат.*), возгласы римской толпы.

себя свободным. Скорость, отменяя расстояния, отменит также и различие между странами, увлекающая жаждущих удовольствий в погоню за одними и теми же достопримечательностями и памятниками, которым в наши дни угрожает такая же опасность, как слонам и китам, — разваливающийся Парфенон, который предлагают накрыть стеклянным колпаком, Джиральда*, небо над которой уже не так синее, Венеция, разъедаемая химическими осадками. Сотни видов животных, которым удалось выжить с начала юности мира, в течение нескольких лет будут безжалостно уничтожены из соображений наживы. Человек вырвет собственные легкие, огромные зеленые массивы лесов. Вода, воздух и защитный слой озона — уникальное чудо, позволившее зародиться жизни на земле, — будут осквернены и растрочены. Говорят, что в определенные эпохи над миром танцует Шива, уничтожая формы жизни. Сегодня над миром танцуют глупость, жадность и насилие.

Я не делаю из прошлого кумира: познакомившись с некоторыми семьями нынешнего Севера Франции, мы увидели то, с чем столкнулись бы в любом другом месте, иными словами, сила и ложно понятые интересы правили почти всегда. Во все времена человек делал мало добра и много зла. Механические и химические средства воздействия, которыми он сейчас обладает, рост их негативных последствий в почти геометрической прогрессии сделали это зло необратимым. С другой стороны, ошибки и преступления, не заслужи-

вавшие внимания, пока люди были на земле лишь одним из многочисленных видов живого, стали смертельными с тех пор, как человек, охваченный безумием, поверил в свое всемогущество. Кленверк в XVII веке должен был забеспокоиться, видя вокруг Касселя дым от бомбард Месье, брата короля, сражавшегося с принцем Оранским. Воздух, которым будет дышать дочь Мишеля и Фернанды, донесет до нее дым Освенцима *, Дрездена * и Хиросимы *. Мишель Даниель де Креанкур, эмигрировав, нашел убежище в Германии, больше надежных убежищ нет. Мишелю Шарлю были безразличны нищенские подвалы Лилля. Новорожденная же однажды ощутит на себе тяготы всего мира.

Девочка, только что приехавшая на Мон-Нуар, относится к числу привилегированных. Такой она и останется. Ей не пришлось испытать по крайней мере до того момента, когда пишутся эти строки, голод и холод; ей не пришлось, по крайней мере до сегодняшнего дня, перенести пытку; ей не придется, за исключением семи-восьми лет, «зарабатывать на жизнь», если иметь в виду ежедневный монотонный труд. Ей не придется, как миллионам современников, пройти через ужасы концлагерей, не как другим миллионам, считающим себя свободными, быть придатком машин, занятых серийным производством бесполезного или губительного — игрушек или пушек. Она не будет страдать, как

миллионы женщин в наши дни, оттого, что она женщина, может быть потому, что ей в голову не пришла мысль о том, что она должна от этого страдать. Контакты с людьми, примеры, милости (как знать?) или сцепление обстоятельств, от нее не зависящих, позволят ей мало-помалу составить более полную картину мира, чем та, которую ее маленькая тетка Габриель в 1866 году оставила в своей толстой тетради. Она упадет и встанет с расцарапанных колен; не без труда она научится смотреть, а потом, как ныряльщики, держать глаза широко открытыми. Она попытается с грехом пополам справиться с тем, что ее предки называли «веком», а современники зовут «временем», единственным временем, которое для них важно, волнующейся поверхностью, скрывающей в себе неподвижный океан и пересекающие его течения. Она попытается отдаться на волю этих течений. Ее личная жизнь — насколько этот термин вообще имеет смысл — сложится довольно удачно. События этой жизни интересуют меня прежде всего как свидетельства того, как повлияли на нее те или иные испытания. По этой и только по этой причине, возможно, я когда-нибудь расскажу о них, если мне позволит время и если у меня появится желание.

Но пока говорить о девочке слишком рано, если предположить, что можно говорить без любования и ошибок о ком-то, кто нам так необъяснимо близок. Оставим ее спать на коленях мадам Азели, на террасе, затененной липами,

пусть новым взором она следит за полетом птицы или солнечным лучом, трепещущим в листве. Все остальное, быть может, менее важно, чем кажется.

ПРИМЕЧАНИЯ

Страницы, посвященные истории семьи К. де К. до Революции, основываются на документах, находящихся в семейных архивах, и нескольких работах по генеалогии, почти не доступных, среди которых следует назвать «Генеалогию семьи Кленверк де Креанкур», написанную моим сводным братом Мишелем Жозефом (1944), впоследствии дополненную различными трудами и изысканиями его сына, капитана Жоржа де Креанкура, которому я приношу благодарность за его любезное содействие. Другой труд, «Семья Бисваль» Поля Бисваля (1970), содержит некоторые главы, по своему интересу во многом превосходящие обычную генеалогическую перепись, и является ценным подспорьем к экскурсу в историю маленького городка на севере Франции при королевском строе.

Начиная с юности моего деда, Мишеля Шарля, часть сведений почерпнута мною из его собственных рассказов сыну Мишелю. Тем не менее я попыталась воссоздать облик деда, основываясь

главным образом на его записках, и вновь должна поблагодарить Жоржа де Креанкура за предоставленные мне фотокопии путевых дневников Мишеля Шарля, а также записей, касающихся его семьи или отдельных эпизодов его жизни (катастрофа на железной дороге в Версале в 1842 году, революция 1848 года в Лилле, несчастный случай, послуживший причиной смерти его дочери Габриель в 1866 году). Господину Рене Робине, директору Архивов департамента Нор, я обязана передачей нескольких важных документов, касающихся Мишеля Шарля и его тестя Амабля Дюфрена.

Я приношу особую благодарность госпоже Жанне Карайон и руководству Архивов Версаля за многочисленные официальные документы, касающиеся железнодорожной катастрофы 1842 года и позволившие мне дополнить записки моего деда.

Все, что мне известно об отце до его второй женитьбы, основывается исключительно на его воспоминаниях, собранных мною во время наших бесед в последние годы его жизни. Несколько случайно уцелевших писем, пожелтевшие странички военного билета, надписи на обороте старых фотографий позволили мне установить даты, в отношении которых отец редко бывал точен. Наконец, опять-таки благодаря Жоржу де Креанкуру мне удалось познакомиться с полным собранием фотографий, репродукций семейных портретов, разбросанных ныне среди потомков моего сводного брата и часто упоминающихся или описанных в этой книге. Лишь немногие названия мест или имена лиц были мною изменены.

СОДЕРЖАНИЕ

С. Ю. Завадовская. Глядя на мир открытыми глазами 5

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

НОЧЬ ВРЕМЕН.	33
СЕТЬ.	55

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

МОЛОДОЙ МИШЕЛЬ ШАРЛЬ.	115
УЛИЦА МАРЕ.	175

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

АНАНКЕ.	264
Примечания.	388
Комментарии.	391

Комментарии

С. 33

Рококо — изящное, грациозное декоративное направление в архитектуре и искусстве, господствовавшее в первой половине XVIII века в Европе. В Льеже, третьем по значению городе Бельгии, готическая архитектура, архитектура Ренессанса заслоняются многочисленными зданиями, отделанными в стиле рококо.

С. 34

...был частичкой испанских Нидерландов... — Нидерланды находились под испанским владычеством дважды: в начале XVI столетия (при Карле Пятом и Филиппе Втором), а затем в течение XVII века (начиная с 1621 года).

Интиме — персонаж, из комедии Жана Расина (1639 — 1699) «Сутяги», 1668 год.

С. 36

...солдат Цезаря. — Об этом упоминается в «Записках о галльской войне» Гая Юлия Цезаря (102 или 100 — 44 до н. э.).

С. 40

...в преданиях раввинов говорится ...а арабские сказки уверяют... — Здесь автор намекает в первом случае на древнееврейские мистические предания из книг Каббалы; имеется в виду сотворение не первого чело-

века, Адама, а Голема, то есть человека, созданного магическим путем, не с благой целью. Во втором случае автор явно путает источник легенды, ссылаясь на сказки, в то время как речь идет о Коране и послекоранских преданиях, где рассказывается, как после грехопадения Адама и его жены Хаввы они устыдились своей наготы, а животные испугались их. В основном источнике арабских сказок, сказках «Тысяча и одна ночь», некая благочестивая Таведдуд упоминает о сотворении Адама, но без особых подробностей.

...микеланджеловского Адама... — Имеется в виду изображение Адама на росписи свода Сикстинской капеллы в Ватикане, выполненное Микеланджело Буонаротти в 1508—1512 годах, где, как известно, Господь Бог передает Адаму животворную энергию касанием перста.

С. 41

Антонио де Пизанелло ди Черрето (1395—1455), прозванный Пизанелло — итальянский художник и график эпохи Возрождения; *Эдгар Дега* (1834—1917) — известный французский импрессионист. У обоих художников, так же как у наскальных живописцев доисторического периода, наблюдается одинаковое стремление запечатлеть движение (этюды животных у Пизанелло и изображения танцовщиц у Дега).

С. 42

Омэ — персонаж романа Гюстава Флобера «Мадам Бовари» (1857), напыщенный резонер.

С. 43

...человека из *Толлунда*... — В 50-х годах XX века близ Толлунда (на территории Бельгии) были обнаружены останки человека эпохи раннего неолита, пора-

зительно сохранившиеся благодаря торфяному болоту, в котором они пролежали. находка вызвала сенсацию и широко комментировалась в европейской прессе.

С. 45

Задушенный Верцингеториг и казненная... Эпони-на... — исторические лица, упоминаемые в «Записках о галльской войне», так называемых «Комментариях» Юлия Цезаря. В конце XIX века под влиянием националистических настроений их роль была сильно преувеличена, они стали символами сопротивления галлов нашествию римских легионов. Возглавлявший восстание на территории Овернской области муж Эпонины, Юлий Сабин, сражался в Шампани. Потерпев поражение, он девять лет скрывался в подземелье, куда его верная жена приносила ему еду. Когда их обнаружили, он был убит, а Эпонины, так же как Верцингеториг, была увезена в плен и казнена в Риме в конце 70-х годов первого столетия.

...моринами из Теруана... менапиями из Касселя... — древнейшие народы, населявшие бельгийскую территорию Галлии; они были покорены Цезарем около 55 года до н. э. В своих «Записках» Цезарь говорит об отчаянном сопротивлении, которое менапии оказали нашествию римских легионов.

...Греция и Рим времен Геракла и Эвандра. — Имеются в виду IV и III века до н. э.

...в Египте времен Птолемеев... — Династия Птолемеев представлена пятнадцатью македонскими властителями, которые правили Египтом с 323 по 30 год до н. э.

С. 46

Атребаты — небольшой народ, населявший бельгийскую Галлию, область Артуа. Покорены Цезарем в 56 году до н. э.

С. 47

...об эмигрантах 1793 года... — год якобинского террора, когда многие дворяне эмигрировали из Франции.

Юлий (Клавдий) Цивилис (I век до н. э.) — возглавил восстание германских и галльских племен против римлян. Юлий Сабин был некоторое время его союзником. Однако после поражения последнего Цивилис заключил с римлянами мир.

С. 48

...хозяин вернулся в Италию... — Имеется в виду Юлий Цезарь.

С. 49

Тевтат и *Беленос* — древние галльские боги. Тевтат — бог племени, рода. Римляне уподобляли его Марсу или Меркурию. Беленос — бог источников, святилищ, пользовался славой целителя. Римляне заменили его культ культом Аполлона.

С. 50

Святой Иероним (347—420) — один из отцов церкви (см. о них ниже). Большую часть жизни прожил в Сирии, умер в Вифлееме, где основал множество монастырей. Главным делом его жизни был перевод Евангелия на латинский язык, так называемая «Вульгата».

...камни Карнака и монолитные портики Стоунхенджа... — Карнак находится на территории полуострова Бретань (Франция); известен своими мегалитическими памятниками, относящимися к III веку до н. э. В Стоунхендже, на территории Южной Англии, возвышаются концентрическими рядами многочисленные менгиры от 3 до 6 м высотой, относящиеся, по-видимому, к бронзовому веку (2000—1500 до н. э.).

Ле Корбюзье (наст. фам. *Жаннере*) *Шарль Эдуар* (1887—1965) — известный французский архитектор.

С. 51

Ордалии — древний жестокий обычай «Божьего суда», согласно которому побежденного казнили.

С. 52

Лары — божества, которые наряду с Пенатами считались в Древнем Риме хранителями домашнего очага.

Изида — богиня древнеегипетского пантеона, известная в мифологии как сестра и жена Осириса; ее мистический тайный культ получил широкое распространение по всему древнему миру.

Гарпократ — греческое название бога Гора, в древнеегипетской мифологии бог солнца, покровитель власти фараона, земное воплощение Осириса; изображался в виде сокола.

Митра — бог солнца в древних восточных религиях. Его культ распространился в эллинистическом мире во II—IV веках. Митраизм был одним из главных соперников христианства.

С. 53

Нагорная проповедь. — Согласно Евангелию (от Матфея, гл. 5, I), Иисус Христос, взойдя на гору, произнес перед народом проповедь, в которой он изрек так называемые «заповеди блаженства»: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся» и т.д.

С. 54

Галлиена Тацита, *Аврелиан Кауракус Гальба* — имена простых римских граждан; взяты с погребальных стел.

Курульное кресло. — Должностным лицам высшего ранга полагалось особое кресло, украшенное инкрустациями из слоновой кости; верховные судьи впоследствии получили название курулов.

С. 55

Хиеронимус Босх (ок. 1460—1516) и *Питер Брейгель* (ок. 1526—1569) — известные нидерландские живописцы; *Иоахим Патинир* (ок. 1475—1524) — выдающийся нидерландский пейзажист.

Мальтийский орден — мистический духовно-рыцарский орден, основанный крестоносцами в Палестине в XIII веке в доме для паломников-иоаннитов (или госпитальеров). В XVI веке орден переселился на остров Мальта, просуществовал до конца XVIII века. В настоящее время его резиденция находится в Риме, но титул рыцаря Мальтийского ордена стал чисто символическим.

С. 56

Жаклина Ван Кастр де Рубенс — первая жена Питера Пауля Рубенса (1577—1640), фламандского художника, писавшего в стиле барокко.

С. 57

«*Философский камень*» — название романа М. Юрсенар «*L'Oeuvre du poir*» (1968) в русском переводе. Это символическое название требует небольшого пояснения. Ради получения философского камня или, как его еще называли, красной тинктуры, способного превращать в золото любые металлы, средневековые алхимики должны были пройти длительный период обучения и нравственного усовершенствования. Этот период делился на три этапа, или, точнее, три магистерииума: предварительный магистерииум, в ходе которого

алхимия изучалась «начерно» (название романа соответствует именно этому этапу), затем следовал малый магистериум, ограничивавшийся нахождением белой тинктуры, способной превратить в серебро все неблагородные металлы, и лишь после этого адепты приступали к великому магистериуму, или непосредственно к нахождению философского камня.

С. 58

Карл Орлеанский (1391—1465) — французский поэт, герцог Орлеанский, был внуком Карла V и отцом Людовика XII. Автор известных лирических стихов и баллад.

С. 60

Вильгельм Оранский (1533—1584) — Вильгельм I Оранский и Нассауский, нидерландский принц, возглавивший оппозицию испанскому владычеству; был убит испанским агентом.

С. 61

Компостела — Сантьяго-де-Компостела, город в Испании, в Галисии; центр паломничества христиан, так как здесь по преданию был погребен апостол Иаков.

С. 63

Салический закон. — У древних франков, живших на берегу реки Салы (ныне Иссель), существовал закон, запрещающий передачу земель в наследство по женской линии. Этим законом воспользовалась французская королевская династия, чтобы воспрепятствовать восхождению на престол женщин. С XVI века салический закон был введен в общий свод законов Франции.

...во II году... — Имеется в виду второй год революционного календаря, то есть 1790 год.

С. 66

в драме *Марло*. — Имеется в виду историческая драма английского драматурга Кристофера Марло (1564 — 1593) «Эдуард II» (1593).

...во время войны Двух Роз... — гражданская война в Англии (1455—1485) между наследниками двух королевских династий, домом Ланкастеров (эмблемой которого была Алая Роза) и домом Йорков (Белая Роза), в ходе которой власть перешла к Йоркам, но феодальным формам правления был нанесен значительный ущерб.

С. 67

Зенон Лигр — имя главного героя романа М. Юрсенар «Философский камень».

С. 70

Людовик Любимый (Великий) — Людовик XIV (1638—1715), был королем Франции с 1643 по 1715 год

С. 71

Шуаны — контрреволюционные мятежники, действовавшие на северо-западе Франции в 1792 — 1803 годах.

Елизавета (Елизавета I) *Тюдор* (1533—1603). — Став королевой Англии в 1558 году, она сумела полностью восстановить позиции абсолютизма.

С. 75

Позже, при французах... — В XIV—XV веках территория Бельгии находилась почти целиком (за исключением «вольных городов») под владичеством герцогов Бургундских, то есть французов.

С. 76

Сен-Симон, Луи де Рувре, герцог (1675—1755) — автор «Мемуаров», в которых подробно описано царствование Людовика XIV.

Александр Фарнезе, герцог Пармский (1545—1592) — был с 1577 года губернатором Нидерландов, прославился взятием Антверпена (1583—1585).

С. 77

Габсбурги — династия, с XIII века правившая в Австрии, а затем (1867—1918) в Австро-Венгрии.

Карл V (1500—1558) — император Священной Римской империи из династии Габсбургов. После поражения в борьбе с немецкими князьями-протестантами отрекся от престола (1555).

С. 78

Жан Батист Люлли (1632—1687) — французский придворный композитор.

Утрехтский мир. — Под этим названием имеют в виду ряд мирных договоров (франко-германских, франко-пруссских и др.), завершивших войну за испанское наследство (1713).

Жан де Лабрюйер (1645—1696) — французский писатель, автор книги «Характеры, или Нравы нашего века» (1688), в которой он сатирически описал нравы высших сословий.

Франсуа Фенелон (1651—1715) — архиепископ, французский писатель, проповедовал идеи просвещенной монархии.

С. 79

Панглосс — персонаж философа-резонера из сатирической сказки Вольтера «Кандид, или Оптимизм» (1759).

С. 82

Геба — в древнегреческой мифологии богиня вечной юности.

Жан Марк Натье (1685—1766) — французский живописец, известный изящными портретами, в которых он стилизовал свои модели под мифологические персонажи.

С. 83

Франческо Приматиччо (1504—1570) — итальянский художник и декоратор эпохи Возрождения, прибыл во Францию по приглашению Франциска I и оказал существенное влияние на придворные вкусы. Прославился созданием декораций для празднеств в садах Фонтенбло.

«*Отплытие на остров Киферу*» — известная картина Антуана Ватто (1684—1721), изображает придворный праздник в саду Фонтенбло, где участники отплывают на мифический остров Любви.

Янсенизм — религиозное течение в католицизме, выступавшее против иезуитов; янсенисты были поборниками аскетизма и суровых моральных запретов. Свое название получили от имени основоположника течения голландского богослова Янсения (XVII в.). В XVIII веке янсенизм был осужден католической церковью.

С. 84

Антуан Арно (1612—1694) — богослов, глава французских янсенистов, автор многих ученых трактатов, долгое время жил в аббатстве Пор-Рояль, где воспитывался юный Расин. Вынужденный бежать от преследования во Фландрию, он продолжал переписку со своим учеником, ставшим знаменитым, обращаясь к нему не столько как к поэту, сколько как к придворному историку.

С. 85

...над святой Кунегундой и святым Кюкюфеном... — Согласно средневековой традиции, над святой Кунегундой посмеивались, ибо она, вступив в брак, так и осталась девственницей, а святой Кюкюфен созвучием своего имени напоминал о непристойной части тела.

С. 87

Асмодей, Вельзевул, Астарот, Люцифер — имена дьяволов; согласно средневековой науке «демонологии», существовала строгая иерархия дьявольских чинов; во главе их стоял падший ангел Люцифер, или Антихрист.

С. 89

Лесной царь. — Легенда о Лесном царе принадлежит немецкому фольклору, ее приводит Гердер в сборнике народных песен, а затем Гёте в известной балладе 1782 года, переведенной на русский язык Жуковским. Франц Шуберт переложил ее на музыку (1815).

Дьявольская скачка. — Эта тема перешла из немецкого фольклора в романтическую традицию (Берлиоз, Гюго и др.).

С. 90

«Молот ведьм» — средневековый трактат Якоба Шпенгера и Генриха Инститориса, соединяющий богословское рвение с судебной жестокостью ради так называемой «охоты на ведьм»; одно из наиболее мрачных порождений безумия ведовства.

С. 92

Агриппа фон Неттесхейм, Генрих Корнелиус (1486—1535) — врач, алхимик и философ, уроженец Кёльна. Был обвинен в пристрастии к черной ма-

гии и умер в тюрьме. В своем труде «Об оккультной философии» излагает основы алхимии.

Теофраст Ренодо (1586—1653) — уроженец Лудена, врач и попечитель бедноты, Ренодо стал также первым французским журналистом; основал издательство «Меркюр де Франс», которое существует и поныне, в нем с 1631 года выходила «Газет де Франс». В память о его гуманизме и либеральных взглядах было решено в 1925 году назвать его именем литературную премию, которая присуждается ежегодно за роман или новеллу на французском языке, отвечающие этим идеалам. Премия Ренодо присуждается в один день с Гонкуровской премией.

Луденские монахини. — В монастыре св. Урсулы во французском городе Лудене состоялся процесс над монахинями, в которых якобы «вселился дьявол», обвинению подвергся также и их духовник Урбан Грандье, которого сожгли на костре в 1634 году. Процесс был предан широкой огласке и вызвал бурные возмущения общественности. Стал одним из последних процессов над «ведьмами».

С. 94

Ван Эйк — нидерландские живописцы братья Хуберт (1370—1426) и Ян (1390—1441); здесь, очевидно, имеются в виду полотна Яна Ван Эйка.

Ширван (Ширванское ханство) — находился на территории нынешнего Азербайджана и славился своими коврами.

Вермер — Ян Вермеер (1632—1672), голландский живописец, работавший в Дельфте.

С. 95

Господин Журден — персонаж из комедии Жана Батиста Мольера «Мещанин во дворянстве» (1670).

С. 99

Огюст Ренуар (1841—1919) — французы называют его «живописцем счастья»: несмотря на ревматизм, поразивший его руки в старости, он продолжал писать свои юные модели как воплощение радости бытия.

С. 101

Шарль Бодлер (1821—1867) — известен не только как поэт, но и как критик искусства, «Салоны» (1845, 1846, 1859).

Царь Кандаул. — Легенда о царе Кандауле (VII в. до н.э.) написана греческим историком Геродотом. Согласно преданию, царь был убит своим фаворитом, которому он разрешил полюбоваться исключительно красотой своей супруги в момент, когда она мылась в ванне. Возмущенная царица заставила фаворита убить царя и впоследствии вышла за него замуж.

С. 106

Франсуа Жоаким де Пьер де Бернис (1715—1794) — либертинец, типичный представитель «светского» духовенства; завоевав благосклонность мадам де Помпадур, фаворитки Людовика XV, благодаря изящным стихам и искусству светской беседы, он сделал головокружительную карьеру, став министром иностранных дел. Во время Революции благополучно отсиделся в Риме в качестве посла.

Переждать грозу — намек на Французскую революцию 1789 года.

С. 107

Антуан Жозеф Сантер (1752—1809) — известный деятель Французской революции, участник всех уличных боев. Избранный главой Национальной гвар-

дии Парижа, он лично охранял Людовика XVI и его семью в тюрьме Тампль и повел его «под грохот барабанов» к эшафоту.

С. 110

Нивоз — четвертый месяц республиканского календаря, соответствовавший 21 декабря — 19 января.

Жозеф Фуше (1759—1820) — был министром полиции Франции; создал разветвленную систему политического сыска. Служил то Бурбонам, то Бонапарту, продавая всех поочередно.

С. 112

«Процайте, розовые юбки...» — слова из песенки Пьера Беранже (1780 — 1857), французского поэта, прославившегося своими сатирическими куплетами против дворянского сословия.

Вдова Капет. — Так революционные власти называли после казни Людовика XVI (21 января 1793 г.) его супругу Марию-Антуанетту, казненную в свою очередь 16 октября 1793 года.

Шарлотта Корде (1768—1793) — деятельница Французской революции; проникнув в дом к Ж. П. Марату, заколола его кинжалом; была казнена.

«Вязальщицы». — Так презрительно прозвали дворяне представительниц низших сословий, «женщин из народа», которые присутствовали на заседаниях Революционного трибунала с неизменным вязанием в руках и, зевая, слушали объявления смертных приговоров.

С. 115

Легитимистка. — Так называли сторонников старшей ветви династии Бурбонов, лишившейся престола в 1830 году.

С. 116

«Раздумья». — В 1820 году *Альфонс де Ламартин* (1790—1863) выпустил первый сборник своих стихотворений *«Первые раздумья»*. В 1823 году вышел в свет второй сборник, *«Новые раздумья»*.

«Восточные мотивы», *«Песни сумерек»* — сборники стихотворений *Виктора Гюго*, выпущенные в 1828 и 1830—1835 годах.

Огюст Барбье (1805—1882) — известен как автор сборника сатирических поэм *«Ямбы»* (1831).

Казимир Делавинь (1793—1843) — французский поэт и драматург, наиболее известное произведение — *«Марино Фальеро»* (1829).

«Песни» Беранже — были изданы в составе четырех сборников (1815, 1821, 1828, 1830).

С. 117

Фредерик Моро — герой романа *Гюстава Флобера «Воспитание чувств»* (1869).

С. 118

Диана де Кадиньян, *Эстер*, *Вотрен* — имена персонажей из *«Человеческой комедии»* *Оноре де Бальзака*: *«Блеск и нищета куртизанок»* (1839, 1840), *«Утраченные иллюзии»* (1837—1842) и др.

С. 119

Гийом Дююитрен (1777—1835) — хирург *Людовика XVIII*, основатель патологоанатомии. Музей его имени был основан *М. Орфила* в 1813 году. В заспиртованном виде здесь можно было увидеть различные патологические последствия венерических заболеваний.

С. 126

Жюль Себастьян Сезар Дюмон Дюрвиль (1790—1841) — французский мореплаватель и открыватель новых земель.

С. 128

Приап — в античной мифологии бог плодородия, изображался с чрезмерным фаллосом в состоянии эрекции. Приапические культы сопутствовали Дионисийским оргиям.

С. 130

Дурга или Кали — индусская богиня, одна из жен Шивы. Изображается в виде черной и устрашающей «прародительницы», ей приносились кровавые жертвы.

С. 132

Бальзак в «Поисках Абсолюта»... — Роман написан в 1834 году и входит в разряд «Философских этюдов» Бальзака; дом Клаасов, описанный в нем, представляет собой, по словам автора, «истинно фламандский дом».

С. 134

Поль де Кок (1793—1871) — автор водевилей, модных песенок и популярных романов слегка фривольного толка ("Девственница из Бельвиля", 1824 г., и др.).

С. 136

...один король Франции... — Намек на исторические события Ста дней (с 20 марта по 22 июня 1815 г.), когда Наполеон Бонапарт, бежав с острова Эльба, временно захватил власть. Король Франции Людовик XVIII вынужден был бежать и оказался во Фросдорфе (Бельгия).

...год Ватерлоо... — Имеется в виду 1815 год — год окончательного поражения Бонапарта после Ста дней.

Артур Веллеслей Веллингтон (1769—1852) — генерал и политический деятель Англии, один из победителей битвы при Ватерлоо.

С. 138

...очаровательный уголок... — Промывального устройства в туалетах еще не было, обычно пользовались горшками, которые ставили на скамейку, водопровод служил для мытья рук.

...дочери Марии-Терезии... — Имеется в виду Мария-Антуанетта (1755—1793), дочь императора Франца I и Марии-Терезии Австрийской (1740—1780).

С. 139

Максимильен Робеспьер (1758—1794) — деятель Французской революции, руководитель якобинцев, был казнен термидорианцами.

Огюстен (1763—1794) — брат и сподвижник М. Робеспьера, казнен.

...четыре белых шара... — Для того чтобы стать магистром (доктором наук), требовалось, согласно правилам, получить при голосовании белый шар от экзаменационной комиссии по следующим четырем предметам: литература, философия, римское право, каноническое право. Черный шар, соответственно, означал, что экзамен не сдан.

С. 140

Франсуа Гизо (1787—1874) — глава правительства, свергнутого Революцией 1848 года, консерватор.

С. 143

Цирцеи и Калипсо. — Намек на путешествие Одиссея: волшебница Цирцея обратила в свиней спутников Одиссея, а его самого удерживала на острове Эя в течение целого года. Нимфа Калипсо приютила его после кораблекрушения, но не отпускала в течение десяти лет.

С. 149

Антуан Дезожье (1772—1827) — водевилист и песенник, сын известного композитора Марка Антуана Дезожье (1742—1793).

Жак Превьер (1900—1977) — французский поэт-песенник.

Эдит Пиаф (1915—1963) — французская эстрадная певица (настоящее имя Джиованна Годиссон).

С. 150

Meta Sudans — название придорожного столба в Риме, который одновременно служил фонтаном (на него сверху капала вода, брызги которой напоминали капли пота; буквально: «потеющий столб»), от него брали начало все римские дороги.

С. 151

Лоренцо Бернини (1598—1680) — итальянский архитектор, прославившийся строительством колоннады по обеим сторонам собора св. Петра в Риме (1657 — 1663).

Памятник Виктору Эммануилу — находится в самом центре Рима, был построен в 1885—1911 годах архитектором Саккони в честь Виктора Эммануила II (1820—1878), первого короля объединенной Италии. Ныне там находится могила Неизвестного солдата и «Алтарь Родины». Громадный и помпезный монумент.

мент, построенный в неопределенном стиле, считается образцом безвкусицы.

Джузеппе Джоакино Белли (1791—1863) — итальянский поэт, писал на римском диалекте. С ним встречался в Риме Гоголь, назвавший Белли «настоящим народным поэтом».

С. 152

...воды Клитумна, столь милые белоснежным быкам Вергилия... — река в Южной Умбрии, берега которой славились породой белых быков; у истоков ее находился храм Клитумна.

«Утро», «Ночь» — известные статуи Микеланджело Буонаротти, входящие в композицию выполненных им надгробий. «Утро» (или Аврора) — женская фигура, вместе с «Закатом» украшает надгробие Лоренцо, герцога Урбино (1519). «Ночь» — тоже женская фигура; вместе с «Днем» (мужская фигура) украшает надгробие Джульяно, герцога Немурского (1516).

...вторую часть «Фауста»... — Первый вариант «Фауста», так называемый «Urfaust», был написан Вольфгангом Гёте (1749—1832) еще в молодости, до 1775 года. Над «Вторым Фаустом» поэт работал с 1826 года до самой смерти, доведя его до совершенства.

Фридрих Гёльдерлин (1770—1843) — немецкий поэт-романтик. В 1804 году заболел душевной болезнью и умер в безумии.

Жерар де Нерваль (1808—1855) — французский писатель и поэт-романтик. Страдал приступами бреда, покончил жизнь самоубийством.

Жорж Морис де Герен (1810—1839) — французский поэт, автор поэмы в прозе «Кентавр», опубликованной посмертно в 1840 году.

С. 153

...о *вилле Адриана*... — Римский император Адриан (76 — 138), жизнеописанию которого Юрсенар посвятила свою книгу «Воспоминания Адриана» (1951), был известным путешественником. Свое имение («виллу Адриана» близ Рима) он украсил мраморными репродукциями тех скульптурных памятников, которые наиболее поразили его воображение во время путешествий по Элладе и другим областям античного мира. Развалины виллы Адриана — один из наиболее интересных памятников римского искусства.

Джанбаттиста Пиранези (1720—1778) — итальянский архитектор, был восхищен виллой Адриана и предложил проект ее реставрации.

«*История Августов*» — собрание сочинений позднеимператорских римских историков III—IV веков н. э. (шесть авторов). В него вошли жизнеописания императоров от Адриана до Нумериана.

С. 154

Жак Бенинь Боссюэ (1627—1704) — французский писатель, епископ, имевший дар проповедника. Будучи воспитателем Дофина, герцога Бургундского, внука Людовика XIV, Боссюэ пишет для его назидания «Рассуждение о всеобщей истории» (1681), попытку философского осмысления истории с точки зрения ее соответствия божественным помыслам. Упомянув императора Адриана, Боссюэ сделал намек на любовную связь между ним и его воспитанником Антиноем, после смерти которого Адриан насаждает в Риме некий мистический культ погибшего юноши.

С. 155

...женских *фигур с корзинами на головах*... — Имеются в виду канефоры, в Древней Греции девы, несущие

корзинки с жертвенными дарами, участницы Панафиной — процессий в честь Деметры — Цицеры и Диониса — Вакха.

Киклады — памятники кикладской культуры; относятся к эпохе бронзы (3—2 тысячелетие до н. э.) и находятся на островах Наксос, Андрос, Милос, Тинос, Парос и др., входящих в Кикладский архипелаг на юге Эгейского моря.

С. 159

«Антиной» Альбани. — На своей вилле в Риме кардинал Алессандро Альбани (1692—1779) собрал значительную коллекцию античных скульптур и предметов, в том числе и статую Антиноя.

Иоган Иоаким Винкельман (1717—1768) — немецкий историк и археолог; в противовес моде на стиль рококо был поборником возврата к образцам античной классики, особенно греческой. Много работал в Ватикане, в том числе и на вилле кардинала Альбани, где помог ему в классификации его коллекции. У Винкельмана была обширная нумизматическая коллекция, которая прельстила его убийцу, шулера Аркангели.

Лорето. — Описание паломничества в Лорето имеется в «Дневнике путешественника» Монтеня. Он совершил его в 1580 году во время путешествия в Рим, Северную Италию и Германию.

С. 160

Лорензаччо. — В пьесе Альфреда де Мюссе (1810—1857), написанной в 1834 году, молодому патрицию Лоренцо дают уничижительное прозвище Лорензаччо, так как он, борясь за реставрацию Республики, объединяет вокруг себя флорентийских изгнанников и выступает с резкими нападениями против правящей династии

Медичи, во главе с Александром, а затем с Козимо. Намек на «ученический плагиат» связан с тем, что Мюссе воспользовался вольным переводом «Флорентийских хроник» Варки, сделанным Жорж Санд. Кроме того, многие монологи Лорензаччо, как заметили критики, напоминали шекспировские.

С. 161

...случилось *это в Венеции и Вероне*. — М. Юрсенар стала свидетельницей роста фашистских настроений в Италии. В 1922 году Муссолини и Чиано (см. о нем ниже) организовали так называемый «Поход на Рим».

С. 162

...война в *Эритрее*. — В 80-е годы XIX века Италия начала борьбу за колонии. Эритрея была окончательно присоединена в 1820 году. Эфиопию присоединить не удалось, войска под командованием Баратьери потерпели поражение в Адуе в 1896 году.

Тройственный союз — союз, заключенный в 1882 году по замыслу Бисмарка в Вене между Германией, Австрией и Италией. Франция в него не входила, и отношения между Францией и Италией ухудшились, особенно из-за уничтожения таможенных правил в Италии. Чтобы их наладить, потребовались усилия политиков-националистов, призвавших к единению «сестер», принадлежащих, как одна, так и другая, к древней латинской культуре. Тройственный союз окончательно распался в 1914 году.

Капоретто. — Югославская деревня Кобарид (Капоретто) в долине реки Изонцо в прошлом входила в состав Италии. При попытке вновь присоединить Капоретто к Италии итальянская армия потерпела сокрушительное поражение от австро-венгерских войск (24 октября 1917 г.).

Галеаццо Чиано граф Кортиллаццо (1903—1944) — политический деятель времен фашизма в Италии, был женат на дочери Муссолини. Был министром прессы и пропаганды (1934), затем министром иностранных дел (1936). Подписал договор с Гитлером («Ось Рим — Берлин»), а в 1939 году так называемый «Стальной пакт» о дружбе и сотрудничестве Италии и Германии. Обеспокоенный ходом событий, Чиано был против вступления Италии в войну (июнь 1940 г.). Начиная с 1942 года Чиано выступал за подписание договора с союзниками и требовал смещения Муссолини. Последний расстрелял его за измену.

Аппиева дорога — римская дорога, соединявшая Рим с Бриндизи. Начата была при Аппии Клавдии (около 312 до н. э.), завершена при Августе. Вдоль дороги, которая частично сохранилась до наших дней, до сих пор можно увидеть древние памятники и надгробия.

С. 164

Эмпедокл из Агригента (490—430 до н. э.) — древнегреческий философ, врач и политический деятель. Мишель Шарль не читал его произведений, однако, по всей вероятности, читал «Смерть Эмпедокла», трагедию Гёльдерлина (1798—1800). Немецкого поэта заинтересовали причины смерти философа, который, по преданию, бросился в горящий кратер Этны.

С. 167

Ustrinum — устрина (лат.); сжигание покойников производилось только язычниками, христианство уничтожило эту традицию.

С. 168

Демофон. — Согласно античному мифу, Демофон, сын елевсинского царя Келея и Метанеры, был вскор-

млени *Деметрой*, богиней земледелия, культ которой был весьма распространен. Желая сделать своего питомца бессмертным, Деметра клала его тайком от матери в огонь. Метанира застигла Деметру во время обряда («Елевсийские таинства»), ее крики помешали Демофону обрести вечную жизнь. Позже сложилось предание, что Демофон сгорел во время обряда.

С. 170

Бернардино Луини (ок. 1480—1532) — итальянский художник эпохи Возрождения, испытал сильное влияние Леонардо да Винчи, работал преимущественно в Милане.

Остров Пустынных гор — остров Маунт-Дезерт, где жила М. Юрсенар с 1950 года до самой смерти, расположен на северо-востоке США (Нортист Харбор).

С. 173

Лидо — пляж вблизи Венеции; упоминается в стихотворении Альфреда де Мюссе «Венецианская ночь» (1830).

Жюли д'Этанж — героиня романа Жана Жака Руссо «Жюли, или Новая Элоиза» (1761).

С. 174

Эжезипп Моро, наст. имя Пьер Жак Руйо (1810—1838) — французский поэт-сатирик, участник Июльской революции 1830 года.

С. 175

...государственная колесница... плывет по вулкану... — Писатель Анри Бонавантюр Монье (1799—1877) вложил эту фразу в уста своего комического героя, Жозефа Прюдома, имя которого стало нарицательным для невежественного и тупого буржуа.

«*Офисьель*». — Имеется в виду «Журналь офисьель», газета, в которой печатались все государственные указы и назначения; существует и поныне.

С. 176

Генрих V — Генрих Бурбонский, герцог Бордоский и граф Шамбор (1820 — 1883), последний представитель старшей ветви королевской семьи Бурбонов, которого легитимисты прочили на французский престол. Имя Генриха V было присуждено ему в 1836 году, после смерти Карла X, однако до 1871 года он не востребовал своих прав. Борьба за французский трон разгорелась между двумя партиями, орлеанистами и легитимистами, но из-за крайней неуступчивости Генриха V ему так и не удалось добиться цели. После его смерти «орлеанская ветвь» окончательно взяла верх.

С. 181

Отцы *церкви*. — К ним исторически причисляются древнейшие деятели-организаторы христианской церкви (со II по VIII век). Среди них Амвросий Медиоланский, Августин Пероним, Григорий I, а также православные святые Василий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст.

С. 188

Луи Эжен Кавеньяк (1802—1857) — французский генерал, министр эпохи Реставрации, жестоко подавил июньское восстание 1848 года. После прихода к власти Луи-Наполеона в результате переворота 2 декабря 1851 года был арестован. Во время Второй империи ушел в отставку и отказался от всякой государственной деятельности.

Никола Ан Теодюль Шангарнье (1793—1877) — французский генерал, командующий королевской

гвардией Людовика XVIII. Был участником ряда военных экспедиций: войны с Испанией (1823), завоевания Алжира (1830—1840). Ярый орлеанист, он при Луи-Наполеоне вынужден был уйти в отставку.

С. 191

Титул шевалье — давался кавалерам некоторых рыцарских орденов. Ниже М. Юрсенар перечисляет всех шевалье, прославившихся доблестными делами или авантюрами.

Шевалье де Лоррен — упоминается аббатом Брантомом в его произведении «Жизнь знаменитых людей и великих капитанов» (1665), речь идет о Франсуа де Лоррене, рыцаре Мальтийского ордена и герцоге де Гизе (1519—1563). Он носил прозвище Меченый, так как имел шрам на лице, полученный им во время осады Булони. Один из прославленных капитанов своего времени, известен победой над флотом в Кале и над испанской флотилией в Тионвиле (1558). Погиб от выстрела из пистолета, сделанного гугенотом Польтро де Мерэ.

Шевалье д'Эон, Шарль де Бомон (1728—1810) — был тайным агентом французского правительства. Прославился тем, что, воспользовавшись своей женственной внешностью, выдал себя за женщину и смог выполнить тайное задание Людовика XV, проникнув ко двору русской императрицы Елизаветы в качестве чтицы. Затем, тоже в женском облике, жил в Лондоне, исправно донося то, что ему удавалось разведать. Вернувшись во Францию, продолжал по приказу короля носить женское платье. Несмотря на многочисленные споры вокруг его настоящего пола, большинство историков считают, что он, несомненно, был мужчиной.

Шевалье де Ла Барр, Жан Франсуа Лефевр (1747—1766) — жертва церковного деспотизма. Будучи обви-

нен в том, что не снял шляпы при виде церковной процессии и нанес повреждение распятию, был приговорен к пыткам и сожжению на костре. В ходе процесса благодаря своему титулу шевалье добился смертной казни перед сожжением. Вольтер поднял общественное мнение против столь жестокого судебного процесса и неоднократно возбуждал дело о посмертной реабилитации де Ла Барра. Она состоялась лишь в 1793 году, во время правления Конвента.

Шевалье де Сенгальт, Джованни Джакомо Казанова (1725—1798), присвоивший себе титул рыцаря Мальтийского ордена и имя де Сенгальт, — знаменитый итальянский авантюрист, автор двенадцатитомного сборника «Мемуаров», в которых он рассказал о своих похождениях в ряде стран Европы. Встречался с Вольтером, был тайным агентом, имел ряд любовных приключений, в том числе и с шевалье д'Эоном.

Шевалье Адриен де Валуа (1607—1692) — историкограф Людовика XIV, специалист по истории Галлии, описан Вольтером в его историческом труде «Век Людовика XIV» (1739—1769).

Шевалье де Туш — герой романа Жюль Барбье д'Оревильи (1808—1889) «Шевалье де Туш» (1864), один из руководителей контрреволюционного мятежа шуанов во времена Французской революции (1793). Де Туш отличался почти женской красотой и крайней жестокостью.

С. 192

Графиня дю Барри, Жанна Бекю (1743—1793) — фаворитка Людовика XV.

С. 195

Уолтер Джон де Ла Мар (1873—1956) — английский писатель и поэт, известен своими фантастически-

ми рассказами на грани реальности и сновидений. Рассказ «Тетушка Ситона» входит в состав сборника «На берегу» (1930).

С. 197

Король-гражданин — так называли Людовика XVIII.

С. 203

«*Tremulat sub lumine*» (лат.) — «Дрожит при свете (луны)», так начинается одно из стихотворений Вергилия из «Буколик» (37 до н. э.).

«*Семейный круг*» *Виктора Гюго*. — Одно из стихотворений Гюго начинается словами: «Когда появляется дитя, семейный круг ему рукоплещет...» (сборник «Искусство быть дедушкой», 1877).

С. 206

«*Госпожа Бовари*». — Как известно, Гюстав Флобер подвергся судебному преследованию за оскорбление общественной нравственности своим романом «Госпожа Бовари» (1857), однако сумел выиграть процесс благодаря своему адвокату Сенару, который без труда уничтожил все доводы общественного обвинителя Пинара, доказав всю меру его лицемерия и лживости. Шарлю Бодлеру, который был в том же году обвинен по тому же поводу в связи с публикацией «Цветов зла», этого не удалось. Из второго издания (1861) ему пришлось изъять шесть стихотворений, подвергшихся запрету.

Эвоэ — ликующие возгласы вакханок на празднествах в честь Диониса.

С. 209

Ренан и Тэн — Жозеф Эрнест Ренан (1823—1892), французский писатель, автор «Истории происхождения христианства», пытался объяснить историю

христианства, устраняя из него все сверхъестественное; Ипполит Тэн (1828—1893), французский литературный критик и историк, родоначальник культурно-исторической школы.

Этьен Бонно де Кондильяк (1715—1780) — французский философ-просветитель. Сотрудничал в «Энциклопедии». Развил сенсуалистическую теорию познания. Тэн испытал на себе его влияние.

«*Девушка Элиза*» — натуралистический роман Эдмона Гонкура (1822—1896), вышедший в свет в 1877 году, описывает жизнь проститутки, которая становится преступницей.

С. 211

Донья Соль — героиня нашумевшей драмы Виктора Гюго «Эрнани, или Кастильская честь» (1830).

С. 214

Компъень — любимая резиденция Наполеона III, который устраивал балы в замке XVIII века.

Седан — здесь 2 сентября 1870 года произошел разгром французской армии под командованием Мак-Магона, после чего Наполеон III вынужден был капитулировать и сдаться в плен немцам.

Графиня Кастильоне — Виржини Ольдоини (1837—1899), фаворитка Наполеона III.

С. 215

Сольнес или Росмер — персонажи из пьес норвежского драматурга Генрика Ибсена (1828—1906) «Строитель Сольнес» (1892), «Росмерсхольм» (1886).

С. 216

Жан Фуке (1420—1481) — французский художник-миниатюрист; *Роже де ла Пастюр* — француз-

ское имя фламандского художника Ван дер Вейдена (1400—1464).

С. 218

Аричи — город в области Лацио, стоящий на Аппиевой дороге, ныне Ричча.

С. 222

«В хмуром Лондоне ночью туманной» — цитата из стихотворения Гийома Аполлинера «Песнь несчастного в любви» (1909), перевод М. П. Кудинова.

С. 228

Лорелея — название скалы у правого берега Рейна (высота 132 м). С нею связана легенда о русалке Лорелее, заманивавшей рыбацкие лодки, которые разбивались о скалу. Генрих Гейне посвятил ей свое стихотворение «Лорелея» («Книга песен», 1817—1826).

С. 238

«Академические пальмы» — две скрещенные пальмовые ветви, знак отличия, выдаваемый во Франции лицам, имеющим выдающиеся заслуги в области образования или искусства.

С. 241

«Фермина Маркез» — роман французского писателя Валери Ларбо (1881—1957), вышедший в свет в 1911 году. В нем с исключительной свежестью описываются переживания группы учеников иезуитского коллежа в связи с приездом Фермины Маркез, девочки из Перу, присутствие которой воспламеняет умы романтически настроенных юношей.

«Город, где государь — ребенок» — пьеса французского писателя и драматурга А. де Монтерлана (1896—

1972), написана в 1952 году. Здесь, как и в «Фермине Маркез», показана атмосфера закрытого религиозного учебного заведения, где разгораются юношеские страсти; но у Монтерлана страстные чувства, охватывающие шестнадцатилетнего Андре Севрэ, блестящего первого ученика, его друга Сержа Сандрие, четырнадцатилетнего лентяя, которого многократно грозились выгнать из коллежа, и их наставника аббата Прадта полны смятения и недосказанности.

С. 242

Граф де Монталамбер, Шарль Форб (1810—1870) — французский публицист, представитель либеральных католических кругов.

С. 251

Патрик Мак-Магон (1808—1893) — командовал армией, разгромленной под Седаном, затем войсками версальцев, подавивших Парижскую коммуну. В 1873—1879 годах был президентом Французской Республики; как легитимист, участвовал в 1877 году в подготовке сорвавшегося монархического переворота.

С. 252

«*Страшный год*» — сборник стихов Виктора Гюго, опубликованный в 1872 году. «Страшным годом» поэт назвал период с августа 1870 по июль 1871 года, когда «французская нация испытала горечь и стыд поражения».

«*Роковые годы*» — сборник стихов Виктора Гюго, опубликованный в 1898 году. «Роковыми» поэт называет период французской истории, «когда Францией правит тиран» — Наполеон III.

С. 254

Артур Рембо (1854—1891) — родился и вырос в Шарлевиле, с января 1871 года город был оккупирован немцами.

С. 256

«Любовные похождения кавалера де Фобласа» — роман Жана Батиста Луве де Кувре (1760—1797), написанный между 1787 и 1790 годами. Юный Фоблас, благодаря многочисленным переодеваниям, погружается в таинства любви как дам, так и кавалеров, в лучших традициях Боккаччо.

Джюльетта — главный персонаж порнографического романа Донатьена Альфонса Франсуа маркиза де Сада (1740—1814) «Джюльетта, или Благодеяния порока» (1797). Кормилицей Джюльетты была аббатиса, воспитавшая ее при монастыре и направившая на путь порока. Уйдя из монастыря, Джюльетта попадает в дом терпимости, где со сладострастием предается разврату.

С. 260

Баденге — имя рабочего-каменщика, в одежду которого переоделся Луи-Наполеон Бонапарт при побеге из форта Хам (1846), куда он был заточен после неудавшегося переворота в Булони (1840). Позже, когда он стал императором Наполеоном III, его противники в насмешку называли его Баденге.

Пьер Леру (1797—1871) — французский писатель и политический деятель, проповедовавший идеи социализма и сен-симонизма. После переворота 2 декабря 1851 года был вынужден эмигрировать в Англию.

Пьер Жозеф Прудон (1809—1865) — деятель французского социалистического движения, анархист.

С. 264

Ананке — в древнегреческой мифологии божество, олицетворявшее Судьбу, Необходимость, в отличие от Мойры, олицетворявшей Рок.

...закончил одну из больших школ! — К ним причисляются во Франции Высшее политехническое училище, Высшее военное училище (в Сомюре или Сен-Сире), так называемый ЭНА — Высший институт управления, и некоторые другие, дающие по окончании доступ к руководящим постам.

Шлюха — так монархисты презрительно называли Республику.

С. 267

«Ролла» — поэма Альфреда де Мюссе (1810—1857), изданная в 1833 году.

С. 268

Дон Хосе — персонаж пылкого героя-любownika из новеллы Проспера Мериме «Кармен» (1845).

С. 269

«Прекрасная Елена» — оперетта Жака Оффенбаха (1819—1880), поставленная в 1864 году.

«Валькирия» — вторая часть музыкальной трагедии немецкого композитора Рихарда Вагнера (1813—1883) «Кольцо нибелунга» («Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид», «Гибель богов»), написана в 1854—1874 годах.

С. 275

...архангел Рафаил юному Товии. — Как сказано в Библии (Книга Товита), Товии (или Товию), сыну Товита, архангел Рафаил помогает изгнать дьявола из Сары и затем отдает ее ему в жены.

Данте Габриель Россетти (1828—1882) — английский живописец и поэт, основатель «Братства прерафаэлитов», прибегал к стилизации образов в духе итальянской живописи эпохи Возрождения.

Эдуард Бёрн-Джонс (1833—1898) — английский живописец-прерафаэлит, изображал в виде итальянок XV века дам лондонского светского общества.

С. 282

Цыси (1835—1908) — маньчжурская императрица, фактически стоявшая у власти в Китае с 1861 по 1908 год.

С. 293

Генри Ирвинг, наст. имя Джон Генри Бродрибб (1838—1905), английский актер и режиссер. Вместе с актрисой *Эллен Терри* (1847—1928) руководил театром «Лицеум» в Лондоне с 1878 по 1898 год. Известен постановками пьес В. Шекспира.

С. 295

Томас Бекет (1118—1170) — архиепископ Кентерберийский с 1162 года. Противник политики Генриха II, направленной на подчинение церкви светской власти. Был убит по приказу короля.

С. 299

Анна Болейн (1507—1536) — вторая жена английского короля Генриха VIII. Была казнена по обвинению в супружеской неверности.

Томас Мор (1478—1535) — английский гуманист, государственный деятель и писатель. За отказ от присяги королю был обвинен в государственной измене и казнен.

С. 300

«*Ночной дозор*» — название известной картины Рембрандта Харменса ван Рейна (1606 — 1669), написанной в 1642 году.

«*Норма*» — опера итальянского композитора Винченцо Беллини (1801—1835), написана в 1831 году.

С. 303

Salvation Army — Армия спасения (*англ.*), была основана в 1865 году Вильямом Бутом (1829—1912), пастором методистской церкви. В 1878 году приобретает черты военизированной организации с благотворительными целями. Во главе Армии стоит Генерал, избранный Советом. В настоящее время организация существует в 92 странах, в нее входит около двух с половиной миллионов человек.

Сольфатара — вулканическая земля сернистого состава.

С. 309

Жорж де Ла Тур (1593—1652) — французский живописец, испытывал влияние караваджизма, но сумел создать своеобразный строгий, сдержанный стиль.

«*Легенда веков*» — сборник поэм Виктора Гюго, написанный в 1859—1863 годах.

С. 313

«*Де-Дион-Бутон*» — один из первых автомобилей высшей марки типа «роллс-ройс», ныне не существует.

С. 320

Султан Мурад IV (1609—1640) — глава Османской империи, известен своей жестокостью во время захвата Багдада у иранцев (1638).

С. 326

Большеногая Берта — мать Карла Великого (известна лишь дата ее смерти, 783 год), жена Пепина Короткого, героиня средневековой поэмы-легенды «Роман Большеногой Берты».

Юдифь Французская (800—843) — вышла замуж за графа Фландрского, поэтому ее называли Французской, у французов же она, напротив, получила имя Юдифи Баварской. Она была матерью Карла Лысого.

С. 328

Португальская монахиня. — Речь идет о «Письмах португальской монахини», опубликованных в Париже без имени автора. Они были якобы написаны монахиней Марианной Алькофорадо, которая адресовала их покинувшему ее возлюбленному, шевалье де Шамийи. Истинного автора «Писем» так и не удалось установить, хотя, по всей видимости, им был переводчик Гилларг, воспользовавшийся подлинными письмами своего времени.

С. 331

Бувин — битва при Бувине (1214), победа французов под командованием Филиппа Августа над войсками коалиции в составе войск Иоанна Безземельного, Отгона IV Брунсвикского и Рено, графа Булонского. В этой битве впервые проявились национальные чувства жителей Франции.

С. 333

Галлиполи — полуостров в европейской части Турции. Во время первой мировой войны на Галлиполи проводилась Дарданелльская операция, особенно кровавой была битва на Кара-Кале (25 апреля 1915 г.) между англо-французскими войсками (совместно с ав-

стрийскими и новозеландскими подразделениями) и турецкими войсками под командованием Энвер-Паши.

С. 339

Принц Уэльский — титул, придуманный в 1911 году для наследного принца Эдуарда VIII, который из-за того, что состоял в морганатическом браке, вынужден был отказаться от английского престола. Принц Уэльский известен как законодатель мод и страстный игрок.

Феликс Круль — известный авантюрист и картежный шулер того времени.

С. 341

Красавица Отеро — известная в то время содержанка, дама полусвета.

С. 343

Миссис Уоррен Бернарда Шоу. — Речь идет о пьесе Бернарда Шоу «Профессия миссис Уоррен» (1894). Миссис Уоррен по сюжету пьесы была содержательницей дома терпимости, что приносило ей немалое богатство.

С. 355

Кардинал де Рец, Поль де Гонда (1613—1679) — французский писатель и политический деятель. Автор «Мемуаров» (1671—1675).

Вилли — псевдоним французского писателя Анри Готье-Билегара (1859—1931), известного юмористическими фривольными романами, пользовавшимися успехом в начале века. В 1893 году женился на писательнице Колетт (см. ниже), которая издавала свои первые романы под тем же псевдонимом.

Люнье-По в «Гедде Габлер»... — Орельен Люнье (1869—1940), известный под именем Люнье-По, был

актером и режиссером, директором труппы «Свободного театра». Поставил на парижской сцене несколько иностранных пьес. Был новатором в своей области. «Гедда Габлер» (1890), пьеса норвежского драматурга Генрика Ибсена, в постановке Люнье-По пользовалась особым успехом у знатоков.

С. 359

Сидони Габриэль Колетт (1873—1954) — писательница, признанный мастер современной французской прозы. В ее первых автобиографических романах из серии «Клодин в школе» (1900), «Клодин в Париже» (1901) и др. показаны женщины, стремящиеся к эмансипации.

...у *поддельных девушек Пруста*. — Намек на то, что прототипами некоторых женских персонажей, описанных Марселем Прустом в его многотомном романе «В поисках утраченного времени» (1913—1927), были мужчины, например Альбертина на самом деле была Альбертом.

С. 361

Джордж Дю Морье, наст. имя Луис Памелла Бассон (1834—1896) — английский писатель, выходец из семьи французских эмигрантов. Его роман «Питер Иббетсон» (1891) содержит автобиографические эпизоды.

С. 364

Леопольд II (1835—1909) — король Бельгии с 1865 года, из Саксен-Кобургской династии.

С. 367

...открытки «*На молитвенную память*»... — В первой части своей автобиографической трилогии «Лабиринт»

ринт мира», которая называется «На молитвенную память» (1974), М. Юрсенар подробно останавливается на объяснении этой почти забытой теперь традиции: дать в память о скорбном дне или о церковном празднике поминовения открытки, на которых были изображены религиозные сюжеты, куда вписывали имена тех, кого следует помянуть, и те или иные религиозные изречения.

Площадь Сен-Сюльпис. — В Париже, возле собора Сен-Сюльпис, и поныне существует множество лавочек, торгующих всякого рода религиозными сувенирами не всегда безупречного вкуса; автор упоминает Сен-Сюльпис не без иронии.

С. 372

Ален — псевдоним Эмиля Шартье (1868—1951), философа и педагога, оказавшего влияние на многих своих учеников, ставших впоследствии известными писателями (например, Андре Моруа). *Жан Гренье* (р. 1898) — философ, автор ряда философских эссе. Был преподавателем Альбера Камю; оказал на него существенное влияние.

С. 376

Антигона. — В греческой мифологии Антигона, дочь царя Фив Эдипа, стала поводом к своему отцу, когда он ослеп.

С. 378

Эдуард Дрюмон (1844—1917) — один из яростных обвинителей А. Дрейфуса (антидрейфусар), офицера французского Генерального штаба, еврея по происхождению, в государственной измене в пользу Германии. Дрюмон, журналист-католик, издавал националистическую антисемитскую газету «Свободное слово» (1892), где не стеснялся в подборе слов.

С. 380

Адам Франсуа Ван дер Мёлен (1632—1690) — фламандский художник-баталист.

С. 384

Джиральда — памятник испано-мавританской культуры XII века в Севилье (Испания), минарет высотой 97 м, был в XVI веке украшен скульптурой, которая, несмотря на значительный вес, вращается, как флюгер.

С. 385

Освенцим — один из самых крупных концентрационных лагерей на территории Польши; сооружен фашистами в 1940—1945 годах. В его газовых камерах погибло около 4 миллионов человек.

Дрезден. — После бомбардировки Дрездена англо-американской авиацией в феврале 1945 года было уничтожено 250 000 человек и все памятники эпохи барокко, которыми славился город.

Хиросима — город в Японии, на который 6 августа 1945 года американской авиацией была сброшена первая атомная бомба. Погибло более 100 000 человек, город был полностью разрушен.

СОДЕРЖАНИЕ

С. Ю. Завадовская. Глядя на мир открытыми глазами 5

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

НОЧЬ ВРЕМЕН.	33
СЕТЬ.	55

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

МОЛОДОЙ МИШЕЛЬ ШАРЛЬ.	115
УЛИЦА МАРЕ.	175

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

АНАНКЕ.	264
Примечания.	388
Комментарии.	391

М. Юрсенар

СЕВЕРНЫЕ АРХИВЫ

Редактор *Е. К. Солоухина*
Художник *В. А. Пузанков*
Художественный редактор *Г. Л. Семенова*
Технические редакторы *Е. В. Левина, А. М. Токер*
Корректор *В. В. Евтюхина*

ИБ 19269

Фотоофсет.

Подписано в печать 25.09.92. Формат 70х 100 ¹/₃₂.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Условн.печ.л. 17,49.
Усл.кр.отт. 17,65. Уч.изд.л. 15,33. Тираж 5000 экз.
С 174. Заказ №1868. Изд. № 48501

А/О Издательская группа «Прогресс», «Литера»
119847, Москва, Zubovskiy bulvar, 17

Отпечатано с оригинал-макета
на Можайском полиграфкомбинате
Министерства печати
и информации Российской Федерации
143200 Можайск, ул. Мира, 93